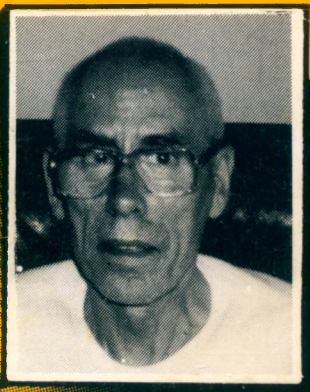
№3 (63) 1989 г.

Стрелец

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ









«СТРЕЛЕЦ» • №3(63) 1989

СТРЕЛЕЦ

№ 3 (63) 1989 г.

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»



Главный редактор — АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Зам. главного редактора — БОРИС ТИРАСПОЛЬСКИЙ
Технический редактор — ВИКТОР ДОБРОВ

Редакционная коллегия:
Василий АКСЕНОВ, Владимир АЛЕЙНИКОВ,
Дмитрий БОБЫШЕВ, Георгий ВЛАДИМОВ,
проф. Ренэ ГЕРРА, Вадим КРЕЙД,
Виктор КРИВУЛИН, Юрий КУБЛАНОВСКИЙ,
Генрих САПГИР, Сергей ЮРЬЕНЕН

Publishers:
Third Wave Publishing House, a project of
C.A.S.E. (Committee for the Absorption of Soviet Emigres)
80 Grand Street, Jersey City, NJ 07302

Адрес редакции в США:

Alexander Glezer,
286 Barrow Street, Jersey City, NJ 07302 USA

Адрес редакции во Франции:

Alexandre Gleser
215 Rue du Faubourg St.Honore, 75008 Paris, France

Цена номера: 25 амер. долларов, 150 фр. франков
Подписчикам журнал доставляется за счет редакции

**Committee for the Absorption
of Soviet Emigres. All rights reserved.**

**Library of Congress Catalog Card No. 84-8582
ISSN: 0747-7287**

ОТ РЕДАКЦИИ

В этом номере альманаха наряду с произведениями давних авторов «Стрельца» (Борис Фальков, Михаил Лемхин, Сергей Юрьенен, Марина Темкина, Вадим Крейд и др.), вы встретитесь с вещами дебютирующих в альманахе москвичей: поэтов Игоря Холина, Петра Вегина и Ильи Кутика, литературоведа Михаила Эпштейна, прозаика Валерии Нарбиковой, принадлежащей к так называемой новой или другой литературе, о которой вам рассказал во втором номере «Стрельца» писатель Евгений Попов, а также живущего в Мюнхене прозаика Эдвина Минке.

В прошлом номере альманаха мы интервьюировали литераторов, а в этом предлагаем вашему вниманию беседу с московским художником Владимиром Янкилевским.

Мы хотим также сообщить вам, что в 1990 году выйдут в свет два номера альманаха «Стрелец». Уже сейчас на них объявляется подписка. Стоимость подписки на два номера — 50 долларов или 300 французских франков. Пересылка за счет издательства. Для подписавшихся до 15 января 1990 года устанавливается льготная цена — 45 долларов или 270 франков. До новых встреч, друзья, в следующем году!

В интервью с Генрихом Сапгиром ("Стрелец" №2) шла речь о лианозовской школе поэзии и живописи, о ее патриархе Е.Л.Кропивницком, о барачных стихах Игоря Холина.

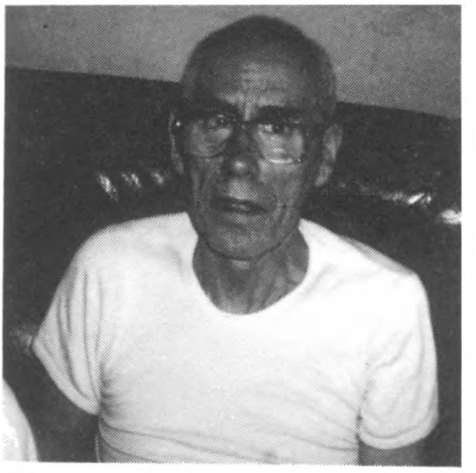
Недавно семидесятилетний поэт побывал в Париже, благодаря чему мы имеем возможность предложить вашему вниманию подборку стихотворений Игоря Холина. В виде врезки к ней мы предпосылаем отрывок из статьи Гали Маневич, написанной ею в Тарусе в этом году.

"В самом конце 50-х мне зачитали строчки, написанные в традиционном ритме частушки:

На днях у Сокола
Дочь
Мать укокала.
Причина скандала –
Дележ вещей,
Теперь это стало
В порядке вещей

и сообщили, что их автор – поэт современного литературного "подполья" – Игорь Холин. Немного позднее стихи этого, возмущающего общую атмосферу общественного оптимизма сочинителя, прозвучали на странице московской газеты, украшая ее фельетон "Жрецы помойки № 8", обязанный своим названием одноименной картине художника Оскара Рабина, единомышленника и друга поэта. В пору хрущевской "оттепели", когда вся страна "обгоняла и перегоняла" Америку, эти двое были творцами оппозиционной, получившей название "барачной" культуры. В основе своей она представляла некий антипод парадной, официальной, связавшей себя принципами социалистического реализма.

В ближайшем предместье Москвы, на станциях Долгопрудная и Лианозово, и зародилась эта новая барачная поэтическая и художественная школа. Ее вдохновителем был отец жены О.Рабина – поэт и художник Евгений Леонидович Кропивницкий".



Игорь ХОЛИН

БАРАЧНЫЕ СТИХИ

Жители барака

+++

Кто-то выбросил рогожу,
Кто-то выплеснул помои,
На заборе чья-то рожа,
Надпись мелом: "Это Зоя".

Двое спорят у сарая,
А один уж лезет в драку...
Выходной. Начало мая.
Скучно жителям барака.

+++

На кухне две соседки
Вели заядлый спор.
Одна кричала едко:
"Твой муж, Андрюшка – вор!"

Другая тотчас метко
На это ей в ответ:
"А у тебя, соседка,
И вовсе мужа нет!"

+++

В метро не пустили: заметили – пьян.
На улице быстро сгущался туман.
Он лег на асфальт у кирпичной стены.
А ночью с него были сняты штаны.

+++

Сегодня суббота,
Сегодня зарплата,
Сегодня напьются
В бараках ребята.

Сегодня суббота,
Сегодня, однако,
Ребята не пьют,
Не галдят у барака.

Ребята торчат
У ворот комбината:
Сегодня опять
Задержали зарплату.

+++

В пивной галдёж и едкий
Махорки вьется дым.
В пивной на табуретке
Сапожник Галкин Клим.

В пивной на табуретке
Уснул сапожник Клим.
Галдеж в пивной, и едкий
Махорки вьется дым.

+++

В коридоре спорят двое.
Так себе, обычный спор.
Кто-то выплеснул помои
Из квартиры в коридор.

– Посмотри, нашли помойку,
Это Семкина опять!
– Вот бы ей головомойку
Стерве этакой, задать!

+++

В квартире у Зои
Цветные обои,
На койке перина,
На окнах гардины.

Халатик на Зое
Из ситца в полоску.
Она продавщица
Пивного киоска.

+++

Пролетело лето,
Наступила осень,
Нет в бараке света,
Спать ложимся в восемь.

Пролетела осень,
Наступило лето,
Спать ложимся в восемь –
Нет в бараке света.

+++

Умерла в бараке 47 лет.
Детей нет.
Работала в мужском туалете...
Для чего жила на свете.

+++

Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы.
Сараи – могилы различного хлама.
Сияет небес голубых глубина.
Бараки. В бараках уют. Тишина.
Зеркальные шкапы. Комоды. Диваны.
В обоях клопы. На столах тараканы.
Висят абажуры. Тускнеют плафоны.
Лежат на постелях ленивые жены.
Мужчины на службе. На кухнях старухи.
И вертятся всюду назойливо мухи.



Борис ФАЛЬКОВ

УРОКИ ПАТАНАТОМИИ

Повесть

Во Франции, сказал я, это устроено лучше.
(Л.Стерн. «Сентиментальное путешествие»)

Они жили... и умерли почти в один день.
(А.Грин. ...)

– Клара, со мной случилось нечто необыкновенное!
– Что у тебя стряслось?
(К.Чапек. «Как делается театр»)

1.

Он так неловко притормозил, что остановился посреди лужи.

«Во Франции это делают не так», подумал он привязавшейся чужой фразой. «Ну а я – как раз так...» Он повернул голову, чтобы подать назад, но опоздал: она уже открывала дверцу. И конечно – её новенькие туфли заскользили по жёлтой глине, всосали мутную жидкость... Ей было на то наплевать. К тому же она, разумеется, недостаточно

пригнула голову и стукнулась макушкой о низкую крышу.

– Поистине – самая выдающаяся часть лица затылок, – сказала она, плюхаясь на сиденье. Он посмотрел на ее туфли: глина облепила их, как пластилин, и на только что отмытом резиновом коврике размазывались жирные комья.

– Но... не пора ли вам менять машину?

– Привет, – сказал он с искусственным ироническим оттенком. – Машину не я меняю, её МНЕ меняют. Когда сроки приходят.

– Но и я про то же. Они что, укладываются в свои сроки?

– У меня уложатся, – пообещал он ожесточенно. – У меня они уложатся.

Она с усмешкой глянула на его вдруг сжавшиеся челюсти. Выражение обреченной решимости вдруг проявилось в его лице, для чего еще больше впали щеки и выкатились – и без того выпуклые – бело-голубые глаза в красных прожилках. В профиль он был похож на измученную голодом птицу, безбровую, с большим покатым лбом. Спереди же, треугольное, расширенное кверху и суженное книзу, как перевёрнутая груша, лицо его напоминало сердце, треугольное нарисованное на ветхом заборе сердце, острые углы которого могут уколоть зрителя – в его собственное сердце. Иначе говоря – в фас он был похож на самого себя, Ефима Борисовича Пятакова, известного в городе патанатома, сына известного педиатра, и так далее. И прочее. Глубокие морщины не столько старили лицо Ефима Борисовича, сколько придавали ему жизненности, и привлекательности, будто в них отпечатался рассказ о хозяине такого лица, повествующий... нет, с пафосом декламирующий всем, и ей, подсевшей в машину – тоже, и всегда: а, этот человек... о! это человек... ну ясно – это сильный человек.

– И опять у вас будет такой же клоп, – сказала она. – Эта тарахтелка высасывает из вас больше крови, чем вы из нее пользы.

– Других не дают, – возразил он, но уже помягче. – Однако, если за ней следить... Куда едем?

– А, всё-равно, – сказала она.

Он глянул в зеркальце над лобовым стеклом и увидел то, что уже много раз в нём видел: сизые, подкрашенные чернилами волосы, прищуренный зеленый глаз и краешек

тугой круглой щеки. Она улыбалась, эта щека.

Он попытался плавно прижать рычаги акселлератора на баранке и, когда машина дёрнулась, подумал: «а во Франции это делают не так».

– Тьфу! – сплюнул он. – Привязалась.

– Это вы обо мне? – со значением сказала она.

– Конечно нет! – в его голосе снова зазвенели металлические нотки: шестеренки, пружинки. – Разве ты вообще способна привязаться? Да еще ко мне...

– Вы кокетничаете, – подтвердила она. – Или действительно не хотите поверить, что это, – тут она коснулась пальцем желтого треугольника с буквой «Р» на лобовом стекле, – и вот это... – теперь тот же палец уперся в его правое бедро, – не имеет для меня никакого значения? А если имеет – то наоборот. Впрочем, я понимаю. Если не кокетничать, то как еще можно употребить эти ваши заслуги? Вот разве что на получение этого клопа, да пайка на две недели...

– ТАМ я о пайках не думал.

Не сомневаюсь! Потому что вы ни о чем там не думали. И меньше всего о том, что вас всех туда просто на убой, как стадо, чтобы немецкие гусеницы, перемалывая вас, хоть на минуту замедлили свой ход. Чтобы вы, вот как эта грязь под ногами, как резиновый коврик...

Она почему-то говорила так, будто всё это было сегодня утром.

– Ты ничего об этом не знаешь, – примирительно сказал он. – Тебя тогда и на свете-то не было.

– И слава Богу, – отрезала она. – Тем проще мне поверить в заградотряды.

– Чушь все это, – не слишком убежденно проворчал он. Так куда же мы едем, Райка?

Он замедлил ход перед перекрестком.

– Направо, – сказала она, поправляя волосы. – На берег. В такую погоду там никого. Кстати, как в прошлый раз – обошлось?

– В общем-то да, – сказал он. – Полночи допрашивала, но ведь доказательств-то нет!

– Я ей не завидую, – сказала она.

– И правильно, – сказал он, сворачивая вправо.

– Нет, неправильно, – возвразила она. – У нас все вполне невинно. И будет вполне невинно.

– Совсем не так... во Франции, – хмыкнул он.

– Вы там не были, и не будете, – продолжала она. – Вы были только под Москвой. И если вас допрашивают по ночам – то вы сами и виноваты. И неудивительно, что вы так изможденно выглядите. Особенно если учесть, что такое продолжается уже двадцать лет.

– Но мы с тобой знакомы только два года! – возразил и он.

– Со МНОЙ, – подтвердила она. – А ДО меня?

Он промолчал.

– Да, – продолжала она, будто выговаривала приготовленное дома задание. Он все это слышал не в первый раз. – До меня. Иначе – чем объяснить, что на выпускном вечере она так на меня накинулась, будто уже застукивала нас раньше? Чутье? Не верю. Опыт! А может и ее личный, так сказать, опыт?

– Не городи глупостей, – сказал он. – Просто раньше я никогда не ходил на выпускные вечера. И она тоже. А тут она увидела вас всех, студенточек, веселых, хорошеньких. А среди них – меня...

– Петушка, – сказала она. – Руководителя.

– Хватит об этом, – решил он. – Сюда?

– Еще правее, – сказала она. – И себе поэтому я тоже не завидую.

– А на самом деле это мне нельзя позавидовать! – вскинулся он и неосторожно выпустил из рук баранку, пытаясь провести ребром ладони по горлу. Жест этот пришлось прервать – акселлератор хрюкнул – и схватиться снова за проклятые рычаги. – Вот где у меня все это. Разве только ночью? И утром, и по телефону – непрерывное это, преследование, идиотские реплики, фанатичный взгляд сыщика, шмыганье носом... Эти обвислые щеки... Во что превратился я сам? Достаточно любого шмыганья, храпа, чтобы я завелся и пожелал бы ей... Чего только я уже ей не желал. А ведь раньше никогда, никогда даже в мыслях – не спускал себя с цепи. Но главное, я всегда с ней один. С тобой иногда

тоже, но с ней – всегда. Одиночество, и из него полная безысходность. Впрочем, ты не знаешь, что это такое...

– Со мной, значит, тоже, – сказала она.

– Ну – с тобой, – пожал плечами он. – Здесь?

– Угу, – сказала она. – А ваши друзья, популярная в городе личность, а ваши школьные друзья? А эти... товарищи по оружию, родственники, наконец? Ах нет, товарищей я снимаю: оружие было, кажется, не у всех у вас. Кстати, у ВАС оно было?

Все это делалось со знанием дела: она давила на таки имевшуюся мозоль.

– А что – родственники? – уклонился он в очередной раз – Я их и сам за три версты обхожу. Особенно московских. Не могу забыть, когда еще был студентом, они ночевать меня к себе не пускали. Когда я по общежитиям, на костылях... Костыль – мое оружие! Проклятая Москва! Но я сказал: хватит об этом.

– Остановите, – сказала она. – Но все же – это еще нельзя назвать одиночеством.

– А как? – с привычной иронией спросил он, останавливаясь. – Как назвать?

Она открыла дверцу и достала из сумочки сигарету. Он взял из ее пачки одну и, когда она щелкнула зажигалкой, наклонился к огоньку. Огонек она услужливо поднесла ему, но сама при этом отклонилась. Он усмехнулся и прикурил. Из открытой дверцы наружу выкатились два дымных кольца.

– Нормой, – сказала она.

– Дрянь сигареты, – поморщился он.

– Курите свои, – сказала она и отвернулась.

В ее легкие вместе с табачным некрепким дымом просочился привкус осени, будто она съела что-то чавкающее и горькое. Полуоблетевшие деревья стояли над рекой, и с прижатого к земле неба на голые ветки скатывались маленькие капельки. На том берегу, на пляжах, лежали плоские облака. Справа и слева позиция замыкалась черными скалами. Позади них блестели крыши. Как обувь, смазанная свежей ваксой – жирно.

– Городок наш ничего, – сказала она. – А день...

День сегодня, да, какой-то... – подхватил он, – какой-то со всех сторон...

– Ну, какой же?

– Круглый, – сказал он.

– А что – во Франции иначе?

– Говорят, там все делается лучше, – наконец вспомнил он, как эта фраза была построена на самом деле. – Там это все делается гораздо лучше.

2.

Кирпичный одноэтажный барак, в котором находились морг и лаборатория, стоял на отшибе: у каменного, окружавшего территорию больницы, забора. Перед его крыльцом тоже была лужа, а вокруг нее – непролазная грязь. «А во Франции...» подумал он, ступая в эту грязь.

– Ефим Борисович, – сказала лаборантка. – Вас главврач вызывает. Срочно.

– Говори – главврачиха, Егоровна, – проворчал он, переодеваясь. – Работать за меня, конечно, будет именно она.

Он снял пиджак и рубашку, подумал – снял и майку, и на голое тело надел халат завязками назад. Потом, когда он завязал тесёмки, спина его оказалась открытой: были видны рельефные мышцы и впалый позвоночник. Когда при ходьбе он налегал на палку, мышцы красиво напрягались. Он это знал.

– Приготовь пока препараты, Егоровна, – сказал он, – я скоро буду.

– Ага, – подтвердила лаборантка скептически. Он сделал вид, что скепсиса не заметил.

Перед главным корпусом гудели тополя. И гул этот, мощный и низкий, наполнял собой весь двор, будто издавали его и корпуса больницы, и забор вокруг нее, и то, что было за забором: улицы с домами, город, и даже люди. И тучи гудели, вибрируя, и из них вываливалось вязкое темное содержимое. Ветер усиливался.

Пятаков повел лопатками: две капельки упали ему на спину. И открыл дверь в приемную главврача.

– Опаздываете, – сказала секретрша, невзрачная и неодобрительная. – Быстро проходите!

И Ефим Борисович прошел в кабинет.

– Что, дождь не перестал? – спросила Наталья Семеновна, главврач, отворачивая в сторону свои глаза.

– Разверзлись фляги небесные! – бодро ответил Пятаков, озирая компанию, собравшуюся в кабинете, четверых мужчин. Троих он видел впервые, но не обрадовался этому, так как лица их были мрачны и отчужденны. Он сразу понял – какая-то кляузная комиссия. А четвертый был начальник облздравотдела Мишкин, и его лицо не было мрачным, а совсем наоборот – веселым, что еще дальше увело Пятакова от удовольствия чему-нибудь порадоваться. Настолько увело, что он почувствовал небольшое эдакое стеснение в груди, чуть повыше желудка. И потому он присосал язык к передним зубам и понятул воздух.

– Тс-с-сц!.. – вышло у него.

И все услыхали это, и переглянулись. Пятаков же виновато улыбнулся, будто сделал какую-то неловкость, и улыбка, как всегда, вышла кривая – будто ироническая. А между тем он без всякой иронии, всегда так улыбался, при любых обстоятельствах, на одну сторону – по привычке.

– Чему же вы так улыбаетесь, Ефим... Наумович? – спросил человек из комиссии, который был помоложе других. – И так... столь неуместно: с насмешкой? Что вас в нас веселит?

– И к тому же неприлично языком щелкаете, – вставил Мишкин.

– Это не в насмешку, – возвразил Пятаков. – Это у меня привычка: парадонтоз. У меня половины зубов нет.

– И вы это скрываете, – улыбаетесь на другую половину, – сказал второй член комиссии, по возрасту – средний, – чтобы студенткам не разонравиться, а?

Наталья Семеновна еще больше отвела глаза в сторону.

– Может быть... вы мне сесть предложите! – вскипел Пятаков. И для обоснования своего кипенья пристукнул палкой по полу. Все уставились на эту палку, будто только что узнали про нее. – И объясните: чему обязан?

– Конечно, конечно, – вздохнул тот из комиссии, который был постарше. – Садитесь, Ефим Наумыч. А обязаны вы только самому себе.

– Я не Наумыч, – возразил Пятаков, усаживаясь, – я Борисович. И я вас слушаю.

– Слушать будем мы вас, – опять вставил Мишкин.

– Бори-исович, – недоуменно протянул старший член комиссии, видимо – главный, поскольку именно перед ним лежали какие-то бумаги. – Не может быть! Что же тогда тут у нас...

– Это не важно, – гнул свое Мишкин. – Ну напутали, так что ж? Мелочь.

– В нашем деле мелочей нет, – сурово сказал главный. – Однако – поехали.

Ефим Борисович пошевелился на своем стуле и явственно проскрипел протезом. И опять все уставились на него, теперь – на его правую ногу, будто раньше никто не знал о его хромоте.

– Поступил сигнал, – подумав, сказал главный. – То-есть письмо. Мы приехали, чтобы разобраться.

– Я понял, – сказал Пятаков. – Что за сигнал? Давайте скорей, у меня препаратов куча. Кто за меня их работать будет, облздрав?

– Незаменимых у нас нет, – сказал Мишкин. – И кроме того – где, где работать?

– Да, вот с этого и начинается сигнал, – сказал главный, прошуршав бумагами. – Это ведь правда? Ну, то, что вы работаете сразу в четырех местах...

– Я с разрешения, – пожал плечами, и с явным облегчением, Ефим Борисович. И даже снова показал свою кривую усмешку. – Я работаю на четверть ставки в областной и третьей больницах, и по полставки в детской и тубдиспансере, то-есть здесь, у уважаемой Натальи Семеновны. Итого – полторы ставки. Ну и что?

– А то, что если это правда – а вы сами только что подтвердили – то и остальное имеет шансы подтвердиться, – сказал главный. – Ведь это только начало.

– Но что остальное! – вскинулся было Пятаков, и снова было пристукнул по полу палкой.

Но тут Наталья Семеновна быстро глянула на него и незаметно для других вытянула губы трубочкой, подмигнув при этом так, что стало ясно: поспокойней, поспокойней!

«Из всего нашего класса», подумал Пятаков, «может быть единственная порядочная женщина. Хоть и не единственная дура». И поуспокоился на самом деле.

– Указывают на ваше моральное, а вернее – на аморальное ваше поведение, товарищ Пятаков, – с каким-то сожалением продолжал главный. – Будто бы вы женаты, утверждают, а с женой – не очень. Будто бы вы также нарушаете... вообще-то субординацию со студентками мединститута, кстати, ведь вы и там работаете?

– Почасово, – уточнил Пятаков.

– А все равно – странно: умолчали. Да, и что будто бы на одном выпускном вечере разыграли скандал...

– Нелепость, чушь! – профыркал Ефим Борисович.

– Вот, – сказал Мишкин. – А отрицать нечего и нечем, понял?

– Это все не твое дело, Топтыгин! – рявкнул Пятаков. – Ты сам разрешение на совмещение подписывал, и на том две ставки сэкономил. И если мы с тобой в одной школе учились, то это не значит. Я ДАЛЬШЕ слушаю!

– Однако, подтверждается... – с некоторым изумлением покачал головой главный. Наталья Семеновна сделала то же, нос укоризной. Остальные члены комиссии как-то тоже поучаствовали в этом. – Дальше – хуже, Ефим... Борисович. Видите ли, тут не только про вас пишут, тут пишут, что вы, как последняя инстанция в делах человеческих, покрываете поголовные махинации других. Что они, другие Наумовичи – по выражению авторов сигнала – залечивают больных туберкулёзом, а вы потом выдаете поддельные акты о причинах их смерти. И мало того, оные Наумовичи НАМЕРЕННО умерщвляют несчастных, а вы их подстраховываете и даже подсказываете, ибо являетесь прекрасным специалистом. А они, как понятно, нет. Нет, нет!.. я не очень, мы не очень хотим верить во все это, но сигнал!.. И потом, сейчас только: вы сами подтвердили все первые пункты!

Пятаков напряг челюсти так, что щеки, провалившись, чуть не коснулись друг друга, а на висках вздулись вены: пропала улыбка. Он вскочил на ноги и, гремя протезом, прошелся вдоль стола:

– Подтвердил, ага. И вы надеетесь, что я вам и это ПО-

СЛЕДНЕЕ подтвержу?

– А можете? – лукаво осведомился Мишкин. – Но это ведь и не последнее.

– А не написано ли там, в сигнале, – Ефим Борисович согнулся перед комиссией вдвое, таким способом изображая повышенную иронию, – зачем это нам, то есть мне лично нужно? А? Не написано?

– Представьте – написано, – старадальчески поднял брови главный. – Написно, что вы, товарищ Пятаков, страдаете как бы... несколько, извращениями. Сказано, что вы имеете честь, то есть несчастье сожительствовать с трупами. Пишут конечно – про женские. Но это уж вообще-то слишком, а?

И главный возмущенно пожал плечами.

Ефим Борисович, таким последним оглушенный, брякнулся обратно на свой стул и очень неловко: протез под ним подвернулся, палка вылетела из руки и вместе с этим стулом он грохнулся на пол. Загремели железные его оковы, простучала резиновым набалдашником палка, с ручкой, отполированной его натренированной ладонью, охнули даже молодые члены комиссии – и надо всем этим, как флейта над оркестром, пронзая уши пронесся звук всасываемого языком Пятакова воздуха: тс-с-сц!..

Первой опомнилась Наталья Семеновна, и бросилась подымать Ефима Борисовича. Самый молодой член комиссии – за нею. В итоге Пятаков снова сидел на стуле, и даже улыбался своей половиной лица:

– О чем, дескать, – еще сигналят?

– Всё, всё это, – с облегчением сказал главный. – Всё.

– Вам мало? Вы что-то добавить желаете? – спросил Мишкин.

– Достаточно, – сказал Пятаков. – А что теперь?

– Будем разбираться, – опередил Мишкина главный, сравнивая, наконец, величину орденских колодок на своей груди и на груди завоблздравом. Сравнением нельзя было быть довольным: у него, главного, колодок было поменьше. Зато можно было получить удовольствие от единственной планки на груди Пятакова. – Но вы, товарищ, должны считать себя предупреждённым: нам придется вес-

ти пристрастное расследование сигнала, вашей биографии, и вы не можете жаловаться – что все это пройдет за вашей спиной.

Пятаков невольно повел голыми лопатками.

– Биографии, – хмыкнул Мишкин. – Его с треском выкинули из экспертизы, и партбилет хотели отнять, вот его биография!

– А вот это – не наше дело, – с удовольствием сказал главный.

– Я сам его хотел им бросить! – гневно заявил Ефим Борисович. – А забрать его у меня нельзя. Я его на фронте получал, за мной он и общество ветеранов. И я свое право понимаю: я добровольно вступил – по своей воле и уйду. Я сам должен отказаться от билета, поскольку всегда считаю себя настоящим...

– Неужто-таки сам? – весело спросил Мишкин. – Ну, Наталья, вот так штука! Так-то у тебя с идеологией! Вот этот человек у тебя – политинструктор? Так что, неужто сам и положишь? Ну-ка – попробуй.

Ефим Борисович, отмахиваясь от умоляющих взоров Натальи Семеновны, с грохотом подскочил к столу. Затем жестом фокусника выхватил из кармана партбилет, замахнулся им... но вдруг медленно опустил занесенную было руку.

– Нет, – сказал он ехидно. – ЭТОГО удовольствия я вам, товарищи, не сделаю. Прежде я побываю с ним там, где нам положено. Вы же разбирайте, но помните: есть Цека и даже, представьте, ООН. А предупреждение ваше рассматриваю уже как нарушение законности. И конституции. Кланяюсь, и на том – пока.

И Ефим Борисович на самом деле, хоть и весьма неуклюже, поклонился – язвительно и в пояс, круто развернулся и направился к выходу. Протез гулко бухал в пол, палка поддакивала: тю-тю, мышцы на спине и лопатки играли. У двери он снова поклонился, еще более язвительно, сотворил на прощанье ты-с-сц! – эх, а во Франции-то... – и вышел вон.

– У него действительно – парадонтоз? – спросил главный. – Или как?

– Еще какой! – со слезами на глазах ответила Наталья Семеновна.

Перед ней размытые слезами продолжали играть мышцы и плясать лопатки на обнаженной спине Пятакова. И подрагивать завязочки халата.

3.

Он обошел машину кругом и подергал дверцы: все было в порядке. Одной рукой опираясь на палку, другой крепко прижимая к боку литровую бутылку молока, которого он не пил – но в тубдиспансере полагалось за вредность, он стал подыматься к себе на третий этаж. Натертое протезом бедро зудело и ныло. Во рту все, что могло распухнуть – распухло, и тоже зудело и ныло. Кругом все зудело и ныло. День и в самом деле был со всех сторон... в общем круглый. Из дома вышли – в дом пришли. Как бы этого, вообще-то, не хотелось. Или как там: не ни, ни не хотелось. Он сунул ключ в замочную скважину и повернул его.

– Наконец-то нагулялся, – сказала Клара Михайловна.

– Я между прочим в четырех местах работаю, – устало сказал он и протянул молоко. Она взяла и унесла на кухню. Оттуда донесся ее сипловатый голос:

– Ужинать будешь?

– Обедать, – уточнил он со вздохом и присел на диванчик. Ладонь тоже зудела и ныла. Он поморщился и привычно принудил себя смотреть на все со стороны, будто не его, а чужое тело распалось сейчас на составные части. Чье-то там тело, забытое на столе в прозекторской, совсем незнакомое тело.

– Проклятье, – прошипел он, тут же вспоминая о сигнале.

– Это ты мне? – откликнулась с кухни Клара Михайловна.

– Нет, – возразил он, снимая рубашку. Снять остальное не было сил, и он оставил это на потом. – Это я себе.

– Что-то случилось? – она поставила на стол тарелку с борщом.

– Конечно, – сказал он. – Очень обыкновенное. А у тебя?

– Желудок болит, – сказала она. – И что-то уж очень.

– Ложись, – сказал он равнодушно.

– Вот за тобой приберу и лягу.

– Я сам, – сказал он.

– Нет уж, лучше я, – возразила она. И что же у тебя случилось?

Осторожно прихлебывая горячий борщ, медленно, чтобы не задевать распухшие десны слишком часто, прожевывая картошку, он рассказал. О сигнале и комиссии, разумеется. Клара Михайловна слушала молча. Когда же рассказ дошел до студенток – хмыкнула. А когда он коснулся основного пункта, того, о трупах, она хмыкнула два раза. И сказала:

– Нет дыма без. Тайное – оно всегда.

– Что ты хочешь этим сказать, – тоскливо сказал он, хотя прекрасно знал – о чем она говорит. И она знала, что он это знает.

– А то, что тебе уже пятьдесят, злодей! – Будто он и сам не помнил об этом каждую минуту. А если б и забыл, то разве не напомнили бы ему об этом: нытье в бедре – тут он проскрипел протезом, зуд в деснах, кашель?.. – Тебе уже ЗА пятьдесят.

– И тебе тоже, – возвразил он, придвигая картофельное пюре.

– Да, – оживилась она. – Но я не бегаю в гречку.

– Гречку бы я тоже, – сказал он. – Но нет, лучше пюре. Меньше царапает. А курить я все же бросил, так?

– Ты отлично понимаешь, про какую гречку я говорю! – И снова она была права. – Эта девка...

– Опять, – сказал он, поморщившись. – Опять комки.

– Нет, это ты – опять! Ты уходишь из дома в семь утра, и приходишь в десять вечера. И все это работа? Город завален трупами? Или скажешь, что проводишь время с подругой детства Розой, у которой седая и дырявая голова, и что вы с ней гуляете вокруг пятой вашей школы, вспоминая юность? И может быть с ней, с Розой, прихватив ее внука, вы ездите в проливной дождь на пляж, а?

– Дождь моросящий, – машинально поправил он.

– Ага! – воскликнула немедленно она. – Я угадала! Боже, что за день...

– Круглый, – сказал он. – Как сердце...

– Сердце треугольное, – возразила она. – И больно колется.

– Мне лучше знать – какое оно с виду, – резонно возразил он.

– Ну конечно, ты один у нас специалист. Ты уверен, что я не знаю, где оно находится, сердце. Нет, я однако – тоже врач, и между прочим в одном с тобой институте обучалась. И на пятерки. Кроме того, я человек, если ты этого не заметил. И оно у меня может иметь голос, это сердце, без всякого образования. И оно у меня может иметь голос, это сердце, без всякого образования. А в вашей больнице, диспансере и институте уже все слышали о твоих неприятностях, и как ты думаешь – мне никто не звонил, что ли? Все говорят, что нет дыма без огня. И что это: тайное всегда...

Клара Михайловна резко приложила руку к желудку.

– Что? – спросил он. – Болит? Пойди и ляг.

– Я лягу, – согласилась она. – Ты бы желал, чтобы я навсегда легла, насовсем, чтобы в гречку было поспособней бегать. Или чтобы гречка прямо тут, в доме выросла.

– Нет, – сказал он. – Я этого не хотел бы. Прими что-нибудь.

– Что-ни-ибудь, – протянула она. – Приму смерть, она меня и вылечит. Он такой болячки, как ты.

– Пойди ляг, – сказал он. – Тс-с-сц!

– Перестань! – закричала она и схватилась за желудок второй рукой. – Ах, ты Боже ж ты ж мой! Сколько мне еще теперь терпеть? Я пойду к ней в местком, я в парторганизацию пойду! К мужу, у нее есть муж? Я спрашиваю: почему она замуж не идет, девка? Сука!

Он поморщился: недораздавленный комок картофеля теркой прошелся по десне.

– Ага, правда колется! – крикнула она в исступлении. – А вот я покончу с собой. Вот этим ножом. Посмотрим, как после этого ты к ней пойдешь.

– Пойди же, ляг, – сказал он. – Ведь еще больше разболится.

К его удивлению Клара Михайловна вдруг побледнела и, по-прежнему прижимая руки к желудку, повернулась и по-

шла прочь. Потом он услыхал скрип дивана. «А во Франции вообще...» почти сказал он. Он засыпал кофе в кофеварку. Сначала раздеться, тоскливо подумал он: процедура была долгой и мучительной. С трудом он принудил себя поплестись в свою комнату. По пути заглянул к жене. Клара лежала на боку, прижав к животу и руки и колени, и уткнувшись носом в подушку. Один тапочек упал с ее ноги, другой покачивался на пальцах. Пятаков осторожно снял его...

– Фима, – сказал тихонько Клара Михайловна, – я кажется – умираю.

– Брось, от желудка, что ли? – против воли сказал он.

– Я умираю, Фима, – еще тише сказала она.

– Что такое? – спросил Пятаков. И тут же понял: дело действительно плохо. Он похолодел, и опорная нога его подогнулась. – Постой, Клара! Да постой же – не надо! Сейчас все вызовем, потерпи...

Он бросился к телефону, удачно набрал номер и вызвал скорую. Потом вернулся к жене: она не меняла позу.

– Клара, – сказал он снова, – не надо. Все это чепуха, то-есть все будет хорошо. Все остальное – чепуха. Ты просто поволновалась. И зря.

Она молчала. Он проскрипел протезом и вышел в коридор. Хотелось взять ее руку, но он пересилил себя – не взял. На удивление, скорая явилась сразу. Врач был знакомый, как же иначе. Остальной персонал – нет. Все они, громко топая, прошли туда, где все так же на боку лежала Клара Михайловна. Санитар перевернул ее, коллегу, осторожно, почти бережно. И сразу отошел в сторонку. «Так», сказал врач. «Ну-ка, Фима, выйди!» Пятаков сделал два шага вбок, уже понимая все, но в то же время – ничего не понимая, и не соглашаясь. «А во Франции-то...» Через минуту знакомый врач уже потрепывал его плечо: «Что поделаешь... Сердце. А почему раньше-то?»

– У нее желудок болел, – сказал Пятаков.

– Же-е-лудок, – передразнил врач. – Не знал, что ли, бываст и так болит? А сердце?

– Нет, – сказал Пятаков. – Инсульт – был, в прошлом году.

– Ну а теперь инфаркт. И ловкий! Быстро и того... без мучений.

– Нет, – возратил Пятаков. – Болело.

– Ну да, ну да, – согласился врач. – Все же оно не то, что на стенах рисуют. Живое. Да что там, ты и сам... Извини, куча вызовов – я поеду? Тебе что-нибудь надо? Все формальности сделаю сам, – кисло, – не беспокойся. Кроме похорон, это уж ты. А как будет со вскрытием?

– Все обойдется, – сказал Пятаков. – Ты же все бумаги сделаешь?

– Сделаю, сказал. Счастливо. То-есть – сочувствую.

И скорая уехала... тс-с-сц! А во Франции... подумал Пятаков. И пошел варить кофе. Все было кончено, хоть гречка расти. В кухне стояла немытая посуда. Из крана в гулкую раковину капала ржавая, издалека, из-под земли, невкусная едкая вода, как за окном капал дождик. Шумело в трубах, как шумели полуоблетевшие деревья вокруг дома. День был круглый, и сердце Пятакова – тоже как-то округлилось. Впереди была круглая ночь со своим круглым же, приостановившимся сердцем. И похожая на все это вместе – Клара Михайловна, со своим мертвым навсегда...

Что-то так же приостановилось и в Ефиме Борисовиче, как перед стартом. Что-то тихо остановилось, что-то кончилось перед началом. А ведь как будто и позади – ничего особенного не было. Или это число такое – двадцать лет? Или это... Что-то, однако, кончилось, чтобы начаться. И это было ясно.

– ВСЕ конечно, – почему-то сказал он. Вышло нечто вроде заклинания. – А ведь во Франции это наверняка делается иначе.

4.

Он не смог заставить себя подойти к Кларе. Вместе этого он прошел к себе и сел на свой диванчик. В его комнате пахло одеколонами и кожей протеза. Он медленно расстегнул брюки. Диванчик под ним ёрзал и икал.

Брюки были замаслены там, где их оттопыривал протез – на бедре. Именно в этом месте и само бедро натиралось про-

тезом, отчего оно зудело и ныло, хуже еще, чем дёсны. Брюки были новые. И все в пятнах.

Ладонь правой руки горела, хотя за двадцать пять лет должна была превратиться в деревяшку. Он наклонился, и подтолкнул смятые гармошкой брюки вниз, вдоль ног. Протез блеснул хромированными полосами металла и отполированной желтой кожей. Запах усилился. Здоровая нога поразила его нездоровой белизной. Он пошевелил пальцами и отметил прелость между ними.

Оставив брюки на полу, он стал расшнуровывать протез. На сгибах его, в шарнирах и под гайками, была заметна ржавчина. Наконец футляр раскрылся и под ним, вернее – в нем, как в шкурке банана, лежала искалеченная миной нога – сама как очищеный банан: тонкая, изогнутая наподобие усохшей, без коры, ветки. Там, где протез натирал ее, темнели багровые пятна. Кое-где кожа слезла, и мясо кровоточило. Он протянул руку и взял со стола тюбик преднизолона. Не торопясь смазал ранки: зуд сразу уменьшился.

Надо бы убрать на столе, подумал он, оглядывая ужасный ералаш, в котором смешались бумаги, газеты, журналы, пустые и полные флаконы одеколона и шампуней, авторучки, пишущая машинка, кукурузные хлопья и сигаретные пачки: он недавно бросил-таки курить. Между прочим валялась подаренная кем-то обойма с патронами от винтовки, знакомой ему с сорок первого года, из которой он так ни разу и не выстрелил, не успел.

Он убрал протез из-под ноги и с отвращением, в который раз, сравнил здоровую и искалеченную ногу. Протез тоже не вызывал его восхищения. Казалось, его конструкция – плод воображения садиста. А во Франции – оно как?

И тут он понял, что остался один. Но понял не потому, что почувствовал, ощутил это одиночество, а потому что сообразил, вспомнил – ему нужно было немедленно, сейчас же переодеть Клару, потому что... В общем, каждому ясно – почему. Была уже глухая ночь, и если он станет тянуть с переодеванием, дело изрядно усложнится. Если же вообще не переодевать... О том, что про него скажут зеваки на похоронах в таком случае, он думать не стал. Вдруг ему стало зябко. Он надел рубашку, достал из угла костыль и, опираясь на него, заковылял к жене.

На пороге ее комнаты. где было так томительно темно, что тело только угадывалось в рассеянном свете из коридора – он не помнил, когда успел выключить ТАМ свет – и еще серели квадратики оконных стекол, за которыми фосфоресцировал туманчик мутного дождика.

«И все-таки...» подумал он вслух, «это больше женское дело, а?» Этой мысли он устыдился, но так и не вошел в комнату жены. Вместо этого он снял трубку телефона. Уже набрав номер, он вдруг положил трубку на рычаг. Смешно, но он снова забыл, что уже глубокая ночь. Нет, Раисе звонить нельзя. Как будто ей можно звонить по этому делу днем, добавил он в уме. Ей вообще незачем об этом говорить – ни днем, ни ночью. А Роза? Хм, сказал он, кто ж еще?

Он набрал другой номер. Трубку долго не снимали. Наконец... да, это ее голос, слава Богу, Роза?

– Привет, – сказал он дурацки-иронично.

Ты что – с ума тронулся, Наумчик? – испуганно спросила Роза. – Ву страпылось? У тебя бессонница? А у Клары, тоже?

– У Клары – нет, – еще более дурацки сказал он. Но так как разговор сразу пришел к цели, он почувствовал и облегчение. – Клары, хотел я сказать, нет.

– Она на дежурстве? – постепенно просыпалась Роза. – А ты, конечно, снова кофе на ночь наелся.

– Кофе, причем тут кофе? Нет, слушай, Роза, только не ори, у нас с тобой несчастье.

– Ты шутишь, Наумчик! Какое у НАС С ТОБОЙ может быть совместное несчастье, если не было никакого счастья, а?

– Это ты шутишь, и перестань! Перестань, пожалуйста, называть меня этим дурацким именем!..

– Но, Ефимчик, тебе же прекрасно известно... Я всегда считала, что тебе больше подходит – Наумчик. Это Ефимчик – дурацкое, а Нау...

– Ефим, Ефим, а не Ефимчик! – «Наумчик» возвращал его в самое сердце умершего дня – к комиссии. В сердце? Но тогда Клара была его желудком, да? – И дай мне сказать. Роза! С Кларой случилось нечто... необыкновенное, то есть – несчастье.

– Ты – ее несчастье, я всегда говорила. И мое тоже. Но что же необыкновенного в несчастьи?

– Тьфу! – сплюнул он в трубку. – Умерла она, понимаешь?

– Что ты такое говоришь? – сразу же, словно такого ожидала, заголосила Роза. – Зачем и что ты такое говоришь?

– То, что слышишь, – раздраженно сказал он.

– Это как же, что же, совсем умерла?

– Нет, – сказал он ехидно. – Частично. В общем – лежит она. И не кричи. Ты вот что лучше скажи...

– Бедная Клара, – сказала Роза. – Ты все-таки ее довел.

– Да послушай же! Ты можешь сейчас приехать? Нет, я могу за тобой сейчас приехать, понимаешь? Понимаешь, ее нужно сейчас же переодеть. А я не могу сам. А? Так я сейчас подъеду.

– Нет! – испуганно вскрикнула Роза. – У меня внук, Димочка. Ты же знаешь! Он без меня спать не может, плачет. С твоей стороны жестоко... Нет, я не могу.

– Димочка! – вскричал он, более не сдерживаясь. – Дементная старуха! Какой Димочка? тебе говорят – Клара умерла и переодеть некому. Ясно?

– Теперь ты мучаешь меня, – с удовлетворением сказала Роза. – Но нет, я не умру. Позови-ка свою эту, Раису – почему?

«Почему», без сомнения, было опережающей реакцией на его еще не произнесенное «ни за что!»

– Так, – зло сказал он. – Я все понял, подруга детства. Старая дева. Бабушка-девственница. Ты по-прежнему думаешь, что я тебя затащу и изнасилую. Живи.

– Девственница! – возмущенно вскричала Роза. – Тебе б такую дырку в голову!

– Живи, – повторил он и бросил трубку. Лоб его вспотел.

Дура, подумал он, совсем сбрендила. Он покосился на темную комнату. Это еще нельзя назвать одиночеством, или уже можно? Он усмехнулся. Постукивая костылем, впрочем – осторожно, он вошел в вязкую мглу и зажег свет.

Клара Михайловна лежала на спине, обратив к нему два глубоких отверстия в носу. Привычно оценив незаметные не-

опытному глазу детали, он вздохнул: мертва, подобно всем. Никакой разницы. Никаких надежд. И нужно торопиться.

Он подошел к шкафу и открыл дверцу. Пахнуло нафталином. Шкаф был битком набит собраным за двадцать лет барахлом, никому не нужным, и все-таки хранимым. Впрочем, а у него самого в столе? Все ящики полны ненужного хлама: отверточки, коробочки, записки, шильца, гвоздики, орденские планки, просто мусор... Он с трудом передвигал плотно навешенные платья и пальто. Вот это, кажется, подойдет... Похоже на гимназическое. Ну да ладно. Он снял платье с вешалки. Оно было помято, и особенно сильно пахло нафталином. Он никогда не видел ЕЁ в этом платье. Или забыл.

Он бочком присел на диван. Теперь, с близкого расстояния, он рассмотрел ее лицо. И после этого долго не мог отвести взгляда. Нос туфелькой, с широкими ноздрями, усики в уголках рта – родинка над губой... Пористые щеки, темные, фиолетовые круги вокруг глаз, почти черные веки. Коротко стриженые седые волосы. Абсолютно, пока, никакого запаха. Щека круглая, обвисшая.

Он сразу вспомнил другую щеку, в смотровом зеркальце машины. и зеленый глаз с белыми, нет, розоватыми веками. И у него возникло странное чувство, будто бы четкое... да, определенное: будто бы никогда он не променяет теперь ЭТО на ТО. И еще больше: никогда раньше не променял бы. Определенно – никогда не собирался менять. Страшно было думать, что обмен мог бы состояться. Случайно, по простой логике – и вне его, собственно, воли. Страшно подумать.

Он не мог заставить себя смотреть на Клару так же, столь же отстраненно, как на своих клиентов в морге. Как ни старался. Как ни старался он думать, что она такой же предмет, ПРЕДМЕТ, как и те, другие, но не иные, он не мог. И не мог думать о ней иначе, как о спящей. Хотя одноврменно отлично понимал, знал, что такое это: смерть. Еще бы не знать, когда каждый день имеешь с ее хозяйством дело. Когда каждый день приводишь в надлежащий вид ее инвентарь: потрошишь, как цыплят... И даже детей. Когда треск раздираемой тобою грудной клетки, ощущение скользкости внутренностей, навороченных на

твой кулак в резиновой перчатке – дело привычное. Нет, он, конечно, не ждал, что она проснется. Но и не мог представить ее на столе в прозекторской. Под пилой. Не мог – и все.

И поэтому вместо этого всего воображение увело его в другое время. в другую жизнь – все давно канувшее без особого писка в небытие. Расстегивая на ней халат, приподнимая одну за другой руки, снимая и вытаскивая из-под тела, такого тяжелого, тряпки, он зачем-то припомнил себя на двух костылях, еще без протеза. Клару – тогда только поступившую в институт. Сам он, уйдя на фронт с первого курса, и вернувшись из госпиталей на третий, все равно оставался ее ровесником: по паспорту. На деле же он был старше ее лет на десять. После родов она вдруг потолстела, а его возраст стал приближаться к ее, и они скоро сравнялись. Как положено. Он обтопал все инстанции добиваясь распределения в одно места. А мерзавцы заставили его на костылях и ее с пузом шататься по приемным, без карточек, без прописки, без угла. И эти родственники – проклятье! Иногда ночевали на вокзале. И его вели в участок за торговлю папиросами врассыпную: жрать было нечего. Он стоял на костылях, в тельняшке, и милиционер, молодой такой, тянул его за локоть. Толпа глухо ворчала, но его все-таки забрали. В это время она уже лежала на столе в родильном отделении и отказывалась рожать, требуя, чтобы раньше удалили медсестру, подозреваемую в слишком тесном общении с ним. После родов она стала старше его, и навсегда.

Теперь у нее было снова огромное пузо. Он положил на него руку и вздрогнул: живот был горячий. Потрогав лоб и плечи, он убедился, что они уже холодные, и руки плохо уже сгибаются в суставах. А живот – он снова проверил – был горячий. Надо бы вскрыть, механически подумал он, и сразу отмахнулся от такой мысли. Что там: все равно поздно. Полночь. Но пузо было до ужаса живым и горячим. И что-то чавкнуло там, когда он посильнее прижал.

Он стал натягивать платье через ее голову. С большим трудом это удалось проделать. Теперь она лежала, как усталая гимназистка после серьезного бала, чуть даже постройневшая. Что еще? Пока все, подумал он. Во Франции бы наверняка... Привязалась же, проклятая! И невозможно упомнить, как она там звучит, на самом деле, эта фраза. Невозможно. Склероз? Старость? Да ну... Просто – зачем?

Но старость, и уже поздно. Уже все поздно.

Он выключил свет и поплелся к себе. Машинально включил телевизор и только когда он затрещал, и картинка не появилась, он понял – и это поздно. Тогда он взял книгу с замусоренного стола, открыл ее... Какой идиот подсунул мне эту гадость? Он забыл, что сам подписался на двухсоттомник, без принуждения, и даже с азартом охотника. Но эта дурацкая фраза! Это было «Сентиментальное путешествие» Стерна. Дальше этой, первой фразы, пойти не удавалось. А первая фраза, прочитанная уже раз десять, врезалась... Нет, не врезалась: он не мог в точности вспомнить ее. Он открыл ту страницу. А... вот она:

– ВО ФРАНЦИИ, – СКАЗАЛ Я, – ЭТО УСТРОЕНО ЛУЧШЕ.

Он тут же почувствовал, что глаза его закрываются. И он не стал этому сопротивляться.

– Во Франции, – сказал он вслух, или нет, – это делается не так.

Проклятье!

И уснул.

5.

Снился ему бессюжетный, странный сон. Будто чей-то голос, а потом он узнал – чей: это был голос... проклятье, забыл, не важно, произносил с расстановкой перечень различных предметов или просто слов, будто проводил инвентаризацию, читая нескончаемый реестр. А зрение его, спящего, иллюстрировало это чтение изображениями.

– Первое, – сказал чей-то известно-неизвестный голос.

Первое: пила... он увидел полированную ножовку для вскрытия.

Второе: правда... он ничего не увидел, но стало грустно.

Третье: камешки... он увидел свою коллекцию камней из мочевых пузырей, которую он собирал двадцать лет. Он собирал только перламутровые.

Четвертое: море... изображение общественного туалета на главной площади города.

Пятое: солнце... зажглась только одна фара его машины. Пора менять, подумал он. Сроки? У меня они исполнят.

Шестое: сроки... он увидел Клару, а потом открытку с извещением о том, что пора выкупить очередной том двухсоттомника.

Седьмое: а во Франции...

Восьмое: никогда не был во Франции...

Девятое, десятое, и т.д. он не запомнил.

Двадцать восьмое: никогда не был во Франции... изображение С. Синьоре.

Двадцать девятое: никогда... никогда, никогда...

На тридцатом слове он проснулся. Было совсем темно. во рту пересохло. Дёсны отдавали в носоглотку гнилью.

Он протер глаза: перед ним на секунду возникло изображение С.Синьоре. Потом оно стало Кларой Михайловной. И он окончательно проснулся.

И пошел на кухню варить кофе.

В ТОЙ комнате было очень тихо, если не считать тиканья будильника. Но тишина от того только сгущалась. Он глянул на ручные часы.

Было без четверти семь.

6.

Около восьми Пятаков был в скорой помощи, где получил акт о смерти и прочие бумажки. Оттуда же он позвонил на все свои работы и узнал, что трупов еще нет, стало быть – пока он свободен. Он пообещал позвонить через пару часов еще. Повезло, подумал он. О том, что у него стряслось, он своим лаборанткам не выкладывал. Для

них же его бандитские налеты на работу не были внове. И такого рода телефонные звонки.

«Запорожец», ослабев за ночь, глухо подвывал. Пятаков остановился перед учреждением без вывески. Механически подергав дверцы, он пригладил волосы и вошел. Заспанный служащий поднял на его свой взор:

– Я слушаю!

– Мне нужно срочно... заказ.

– Да, да, для того и существуем, слушаю, – сказал служащий, рассеянно останавливая взгляд на глубоких морщинах и выкатившихся беловатых в прожилках глазах Ефима Борисовича.

– Мне нужен гроб, – через силу выговорил Ефим Борисович. – Для взрослого челове... для женщины. Рост метр шестьдесят два. Был.

– Да-да, – сказал служащий.

– Когда можно получить? Молодой человек!

– Да-да! – встрепенулся служащий. – Простите, я отвлекся. Так: я вас слушаю.

Пятаков побагровел:

– Как же – слушаете, если не слышите! Безобразие!

– А вы чего кричите? – обиделся служащий. – Будете на жену кричать.

– Не буду! – Пятаков еще больше побагровел и пристукнул палкой. Служащий перевел взгляд на нее. – Она умерла.

– Так бы и говорили.

– Я так и говорю: мне нужен для нее гроб. Рост метр шестьдесят два.

– Причем тут рост? – удивился служащий. В стандарте два размера: взрослый и детский. Другое дело – сорт. Ваша фамилия?

– Сорт меня не интересует. Меня интересует – когда можно взять и сколько с меня. Пятаков моя фамилия.

– Бумаги в порядке?

– Вот они.

Служащий бегло оглядел бумаги:

– А... в загсе были? И справка о наличии участка – где?

– Еще не был, – сказал Пятаков. – С вами договорюсь, и пойду.

– Нет, – сказал служащий. – Сначала – туда.

– Хорошо! Я пойду!

– Не кричите! – сказал служащий.

– У меня голос такой, – сказал Ефим Борисович, но тон понизил. – Хорошо, я пойду в загс. Но заказ... Давайте мы его сейчас оформим. Я на машине, живо туда-сюда, я не задержу.

– Да-да, – согласился служащий. – Но... какой заказ?

– Да вы что? – снова вскипел Пятаков. – ГРОБ! Вот какой!

– Это невозможно, – сокрушенно сказал служащий и както вырос за своим столом: может быть только сейчас окончательно проснулся.

Пятаков молча выкатил побелевшие глаза.

– Дефицит, – солидно подтвердил служащий. – Да-да, леса нет. Затруднения, конечно, временные. Впрочем...

– Нет... чего? – ошеломленно переспросил Пятаков.

– Леса, – терпеливо повторил служащий. Но с маленькой ноткой досады. – Да. Но, говорю я, есть выход. Мы можем построить вам ваш гроб, но из вашего же леса. Доходит?

– Откуда у меня лес, – сказал Пятаков. – Я не лесничий.

– Вам разъяснить? Возьмите ГДЕ-НИБУДЬ, – служащий выразительно осмотрел Ефима Борисовича. – То-о-варищ Пятаков!

– Слева, – догадался тот. – Значит – с-под полы?

– Как хотите назовите, – пожал плечами служащий. – Сказано – из своего леса. А мы уж построим. И, кстати, не забудьте про красную ткань: у нас на нее тоже дефицит. Время, знаете, ва-а-ще...

– Значит, – уже весь белея, начал Пятаков, – я не имею права похоронить жену без того, чтобы не совершить преступления? Так?

– Да-да, – покивал служащий. – Впрочем, как хотите.

– Значит, – остановил его жестом Пятаков. – Значит я всю жизнь работал, честно работал, она честно работала, а похоронить не можем?

– Почему – не можете? Не совсем...

– Значит! – стукнул палкой в пол Пятаков, – я кровь пролил за Отечество, а теперь оно, а теперь вы, которые

за нашей спиной отси... вы, которые... не даете нам умереть? А это, это вы видали, понимаешь ли, понимаете?

Вне себя, Ефим Борисович наклонился и задрал брючину, обнажив потертый протез. Запахло кожей, и немного одеколоном. Он почти с торжеством смотрел на служащего. Тот тоже наклонился, через стол, и равнодушно осмотрел протез.

– Обратитесь в Общество Ветеранов, – сказал он. – Впрочем, если б это вы померли... А так и они вам не помогут. Разве что тоже слева, тоже не лесничие... да-да. А впрочем – я сочувствую, та-с-азать.

– Сочувствие! – заорал Пятаков, топая протезом. Служащий замахал на него руками и отодвинулся вместе со стулом. – А то, что мне вообще без очереди положено – сочувствуешь? А то, что тебя бы на фронт, сочувственник, чтобы та там почувствовал? Контра! – вдруг вырвалось у него. – В обком, в общество! Ах, жаль войны на вас нет. Сволочи!

– Вы против мира, – вкрадчиво сказал служащий.

– Я против мира для вас, – сказал Пятаков страшным голосом, – я не против мира для нас, но я за войну для вас. И будет.

– А ведь я всего только предложил вам вариант, – примирительно сказал служащий. – И уже фронт. И послушайте, ведь можно взять его напрокат, как бы напрокат, а?

Пятаков онемел.

– В смысле: у нас есть сободный, ОДИН свободный, не продающийся гроб. И мы уже делали так, с ОДОБРЕНИЯ. Берем мешок, полиэтиленовый, так? В него кладем труп, то-есть – вашу жену. Потом в нашем гробу тащим куда следует. А там уже спускаем в ямку только мешок, гроб же едет своим ходом обратно, к нам. Понятно? Многоразовое использование. Никто не в накладе. Зрители не оскорблены. Порядок. Да-да.

Ефима Борисовича вдруг резко и мощно затошнило. Он сглотнул слюну.

– А ва-а-аще сначала справку, а потом уже мешок. И, кстати, советую: еще раньше возьмите место на кладбище. Тоже дефицит. Советую на Первомайском, хоть и дальше – но больше шансов. И паводки его не берут. Могу за-

молвить и словечко, пишите: сторож Андрей Дмитрич, от Мальцева – от меня. Пишите.

Пятаков молча повернулся, брючина его упала, закрыв не только протез, но и весь сделанный на заказ в мастерской ботинок. Масляные пятна на бедре блеснули. Он притопнул и пошел прочь. Служащий Мальцев приподнял брови:

– Понял, и на тот свет вне очереди! Да-да. Заслужил. Но только – дефицит, ветеран, по-ол!

Пятаков вышел на улицу и тупо огляделся. Заметив телефонную будку, он оживился и вошел в нее. И позвонил в тубдиспансер.

– Трупы есть, Егоровна?

– Так вы только спрашивали, Ефим Борисович! – удивилась лаборантка. – Нет, говорю, слава Богу, никого нет.

– А у меня есть, – горько сказал Пятаков. И повесил трубку.

7.

В Собесе, как всегда, толклась толпа.

Пахло потом, промокшей одеждой и перегаром. Стоял нервный тошнотворный гул. Хлопали двери и гулял сквозняк. У двери председателя не было никого.

Ефим Борисович подтянулся, поправил планку на груди, постучал – решительно и твердо, три раза, и вошел. И на ходу еще начал:

– Я с просьбой, вернее – с требованием.

– Садитесь, – перебил его председатель, кудрявый грузный мужчина, шея которого складками спадала на галстук. Из-под галстука, пониже складок, пробивался сквозь рубашку непокорный рыжий клок. – Садитесь, говорю, значица... во как...

Глаза его были налиты кровью.

Ефим Борисович сел на указанный стул. Тот, что стоял не у самого стола, а подальше, у двери. Таков был порядок, по-ол?

– Я пришел, – повторил он так же твердо, – с жалобой и требованием.

– Разберемся, – сказал председатель. – По отдельности. Но отчего вы улыбаетесь? Что-то знаете веселое? Или я вас так веселю?

– Нет, – возразил Пятаков, – возможно – привычка. У меня парадонтоз.

– Не знаю, – сказал председатель, – не знаю и не интересуюсь. Что за жалоба? И учтите, я вас помню. Вы уже бывали у меня с жалобой.

– Бывал, – сказал Пятаков. – И всегда, когда понадобится. Но вот в чем моя, жалоба, требование, если хотите...

– Не хочу, – возразил председатель мрачно, едва подымая опухшие веки.

– И не надо, – парировал Пятаков, – а только дело вот в чем. У меня умерла жена.

– Сочувствую, – сказал председатель. – Но чем тут поможешь? И на что пожалуешься? Чего потребуешь?.. Не знаю.

Пятаков вздрогнул:

– Послушайте дальше. Я только что из похоронного бюро. Мне ОТКАЗАЛИ в гробе! Напрочь!

– На каком основании? – председатель потянулся к трубке телефона. При этом стол закачался под его тяжелым локтем.

– Без всякого основания. Говорят – нет гробов, дефицит. Нет леса, нет красной материи. Ничего, говорят, нет.

Ефим Борисович поглубже улыбнулся левой щекой и – тс-с-сц!.. Председатель убрал свою руку с телефона.

– Ну, а говорите – без оснований. Какие же ЕЩЕ вам нужны основания? И потом, чего вы собственно от меня желаете?

– Мне там намекнули, чтобы я пошел налево.

– Да, но это же еще не к чертовой матери?

– Налево?! Никогда в жизни я не ходил налево. И сейчас не буду. Что такое это налево? Нет, я знаю свои права: я имею право хоронить кого и где угодно. Причем тут лесохозяйственная академия? Это не мой профиль.

– Хороните по своему, значица...

– Без леса нет гроба, – сказал Пятаков ожесточен-

но. – Даже вам это должно быть понятно. Что? А мне особенно: я кровь проливал. За что? За полиэтиленовый мешок? Нет, дудки, за настоящий гроб. И за настоящие, между прочим, не левые деньги. И свои права я знаю: вне очереди.

– Значица – за деньги проливали, – сказал председатель. – Вам положено, а другим? Кто не проливал? Мешок?

– На это вы меня не возьмете, – понимающе склонил голову Ефим Борисович. – Я такое понимаю. Сам иногда так делаю. Но: имею право хоронить вне очереди.

– Собираетесь воевать?

– Да, если нельзя иначе.

– Можно. Вам ведь сказали – налево, например. Могу и я подсказать. За ваши же деньги.

– Ни за что! – крикнул Пятаков. – Никогда! Дело не в случае, в принципе. Дело во всесоюзном масштабе. Пора кончать с этим! Продавцов прикрутить! Они искусственно создают дефицит! Подрывают экономику и смысл. У нас есть все, не верю! Ибо – куда пропало? А они – дефицит. Чтоб, значица, через все наше – налево, за наши деньги. С процентами, знаем. Но не так, не на такого, не на меня – дудки. Война? Путь, до победного... значица.

– Я вас помню, – сказал председатель устало. – Это же вы тут с подпиской на двухсоттомник палкой стучали? Помнится, вас общество ветеранов приобошло? Значица, теперь гроб мимо проплыл, сочувствуя, н-да.

– Я, – скромно сказал Пятаков. – И всегда. Я вас тоже знаю.

– Н-да, – повторил председатель. – Значит – жизнь знаете, и права свои тоже. Машину имеете?

– А как же, скоро срок менять.

– Значица – это вы, – задумался председатель. – И еще припоминаю: в экспертизе работали. Выгнали? Из партии тоже?

– А... – Пятаков пошире открыл рот, все ирония, ирония. – Жили б вы в нашем городе с наше – не надо было б вспоминать. Все б помнили.

– Если хотите менять машину – пройдите комиссию. Вы проходили? – резко выпалил председатель. – Я так и ду-

мал. Комиссия, кстати, уже не ваша, не из старожилов. Такой случай...

– Погодите! – заявил Пятаков, изрядно возбудившись. – Причем тут машина? Мне гроб нужен, значица...

– Это одно и то же. Повторяю, если хотите машину – немедленно на комиссию. Кабинет три. По коридору налево. Ясно? Идите, все. Я сказал – все.

– А я пойду выше, не по коридору! – закричал, подымаясь Пятаков. – И дойду! Та-с-азать.

– На комиссию! – твердо повторил председатель. И энергично двинул рукой в воздухе. Да так, что Ефим Борисович почувствовал толчок в грудь, которого, разумеется, быть не могло.

И он вылетел в коридор, повторяя про себя: дойду, дойду. Туда, вероятно где все не так устроено? Нет, совсем не так. Прямо перед собой он увидел номер три, перед которым уже стояли двое. На их пиджаках, как и у него, висели планки. Он автоматически подошел поближе. У одного из ожидающих планок было вдвое больше, чем у него. Он раскрыл было рот, но тут и дверь номер три открылась, из нее выпала другая троица с планками, а чей-то голос из глубин кабинета воззвал:

– Следующие три!

Двое с планками вошли, с ними и Пятаков. Заодно, ведь действительно когда-нибудь придется проходить эту комиссию. У него даже мелькнула злорадная мысль, что вот сейчас он пройдет перекомиссию и вернется к председателю. Что тогда скажет эта жирая рожа? То-то, значица...

– Поднимите брюки, – сказал ему молодой врач. Из молодых, подумал Пятаков, приезжий, впервые вижу. Наверняка круглый идит. И день-то, кажется, снова круглый? Он задрал обе брючины, диктуя сестре свою фамилию и адрес.

– Снимите протез, – велел врач.

– А ваша – как фамилия? – иронически спросил Пятаков.

– Моя!.. – врач глянул искоса. – Шестаков.

Ефим Борисович взвился.

– Я шутить не намерен!

– Я тоже, – возразил врач. – Раздевайтесь.

Пятаков, зловеще улыбаясь – тс-с-сц! – сел на стул, расстегнул брюки и повторил всю мучительную операцию снимания протеза. Вынимать ногу ему, однако не пришлось. Он только успел расшнуровать протез, а уже Шестаков стоял, нагнувшись, перед ним, и с помощью сестры прикладывал к изувеченной конечности портняжный сантиметр-метр, от бедра до пятки. Улыбка исчезла с лица Пятакова.

– Вы что же это тут... раскладываете? – возопил он гневно. И стал отталкивать приступивших к нему мучителей.

– Запишите, – сказал Шестаков. – Шестьдесят четыре. Потом сравните с карточкой.

– Зачем это? – всколыхнулся Пятаков.

– Одевайтесь, – велел Шестаков. – Проверяем. Или вы не на комиссии? Или вы машину получать не собираетесь?

– Значица, вы думаете, что... что она у меня за эти пять лет выросла? – побледнел Пятаков. – Значица, вы думаете, что у меня для нее питательный раствор имеется?

Тут Ефим Борисович потерял власть над собой и, схватив обеими руками ногу под коленом, стал трясти ею, как тряпичной куклой. Как совершенно посторонним ему предметом.

– Значит – я могу утратить свои права на машину? Вы так думаете? А может вы проверяете, не нарочно ли я ее НЕ отращиваю? А?

Он бросил свою ногу в футляр и стал лихорадочно зашнуровывать его. На лбу у него выступили капли пота. Они ритмично капали на протез. Одна даже пролетела мимо и упала на пол.

– Слушайте, – недоуменно сказал Шестаков, оглядываясь на других инвалидов. Те тоже посматривали в их сторону, как и пользовавшие в том углу врачи. – Слушайте, вы чего? Зачем вы кричите? Машина-то ваша, не моя – не надо было приходить!

– Причем тут машина? – заорал вне себя Пятаков. – Мне ГРОБ нужен, гроб!

– Вам психиатрическая экспертиза нужна, – сказала сестра.

– Я пойду выше, не шучу! – заявил Ефим Борисович и ей тоже. – И я не кричу, у меня голос такой.

– Но вы же интеллигентный человек, – укоризненно заметил Шестаков, – и должны управлять...

– Не управлять, а положить конец, пора!

С этими словами покончивший с одеванием Пятаков выскочил в коридор и загрохотал к кабинету председателя. Ударившись в нее раз. и два, он остановился: дверь была заперта.

– Ушел, улизнул, гад! – вскричал Ефим Борисович. – Ну нет, во Франции это так не делается! Проклятье, привязалась... Ну нет: значица – война.

И он заковылял к выходу, расталкивая скопившихся в коридоре посетителей. Палкой он грохнул во входную дверь, палкой же погрозил назад – в переполненный коридор. И потом палкой грохнул по скату собственной машины: у-у-у, вшивый клоп!

Заводя машину, он вдруг вспомнил пористую щеку Клары Михайловны, глянул в зеркальце – пустота.

Значица – тс-с-сц!

8.

– Слушай, Левицкий! Есть потрясающий материал!

Ефим Борисович в волнении ковылял взад-вперед по потертому ковру.

– Я тебе, как другу, как школьному товарищу – только тебе. Только на тебя и надежда. Упадешь, какой материал.

Левицкий, развалясь в кресле и пощипывая короткую бородку:

– А... брось, какой материал? Мне это до чертиков надоело. Я, Фима, теперь так: дают задание – делаю. И все. Я, Фима, понял, к сожалению – поздно: это лишь способ заработать на жизнь, не больше. Вся эта журналистика...

Левицкий неприязненно покрутил головой и поморщился.

– Погоди! – вскричал Пятаков. – Это необычный материал! Это как преследуют, и кого? Ветерана войны. Понял? Это как... заградотряды, тыловые крысы, и против

кого? Они все скопом против нас, они сорганизованы, да-да, заградотряды, что? Против кого, понял?

– По-ол, – передразнил Левицкий. – Они, Заградотряды, материал, Ветераны... Ветераны, конечно, это ты? И не кричи.

– Я не кричу. У меня голос. Конечно, ветераны – это МЫ. Что, не настоящие?

– Настоящие, – успокоил его Левицкий. – Однако по-ол, ва-аще, тасазать...

– Значица, – перебил его Пятаков. – Ты уже в правде не нуждаешься. Как они все. Так? Устал, значица, тасазать?..

– Какой пра-а-авде... – поморщился Левицкий. – Ты, конечно, мне друг, Фима, но! Послушай, давай лучше поговорим за хорошее: например – поэзия. К черту журналистику. Я, брат, решил вернуться к юношеским нашим, чистым, свежим... Какими мы были, Фима, а?

– Ка-а-акой поэ-эзии? – взвился Ефим Борисович. – Я еще с ума не тронулся!

– А какой правде? – усмехнулся Левицкий. – Между прочим, правда только в поэзии, не иначе. Хотя на первый взгляд эта вещь неспостижимая. Вот твоя правдишка: преследуют; ветераны, они, мы... И еще эти: заградотряды. Примите, мол, как факт, как аксиому. А ведь нет, ты требуешь и статьи в газете, то есть – доказательств, так? И думаешь, если ничего не докажем, и никто не докажет, то. А между тем правда лишь в первом: ничего не докажешь. Ибо – нельзя. Остановись на этом, Фима, и ты – поэт. Возьми что хочешь, любое... даже слово, украинец, например. Подразумевается что? Славянин, бра-ат меньшой, и так далее. А на самом деле – наполовину гот, наполовину гунн, и еще немного из-за границы иранцы принесли, и только на чуть-чуть – то самое. А? Значица, по-ол, и не брат, и не меньшой... А остановись на первом, на украинце: как звучит! Поэзия! Теперь возьми – русский...

– Возьми еврея! – закричал Пятаков.

– А вот это уж журналистика, – сказал Левицкий.

– Ты сбрендил, – заявил Ефим Борисович уверенно. –

На старость лет. Я, значица, тебе готовый материал, пиши – и всё. И деньги получай, и правду защищай. А ты – в бред. Бери, говорю, пиши! Глянул, написал – что?

И он заскрипел протезом, усаживаясь напротив хозяина на кушетку.

– Да-к... и в поэзии то же! – радостно сплюнул Левицкий. – Но только чище, и без последствий! Глянул – пиши, что есть. Например:

...летает птица
хочу утопиться... а? По-ол? Тасазать –

и никаких загротрядов.

– Предпочитаю напиться, – по инерции сказал Ефим Борисович. – Но...

– Нет, ты не понял – неужто не понятно? Поэтическое преломление, друг мой, оно же томление. Представь:

...шипит комар
летает птица... и что? Я сразу думаю:
мой абсолютно бесполезный дар, талант,
следовательно – что?
ну как же тут не утопиться! По-ол? Так

что, хочешь, я на твою тему стихи?

– Стоп! – велел Пятаков. – Над этим шутить я не позволю. Или ты меня слушаешь, или.

– Слушаю, слушаю, – устало сказал Левицкий. – Валяй, значица.

– Послушай, – подозрительно покосился Ефим Борисович. – Ты, никак, знаком с председателем собеса? С этой жирной свиньей.

– Просто полный человек, а что? – возразил Левицкий.

– Ничего, – злобно отрезал Пятаков. – Ничего, а все-таки. Так слушай же, поэт, что в настоящей жизни-то – у меня то есть – происходит. У меня, товарищ мой школьный, умерла жена.

– Клара! – воскликнул Левицкий. – Дышло ей... Да ты что? Ай-я-яй! А какая была веселая женщина... И ты после этого про правду... про поэзию...

– Вот именно: веселая, – мстительно сказал Пятаков. – А теперь – недвижима и грустна, и лежит дома на диване. Стоп! Не перебивай!

Ефим Борисович передернулся не только маской-лицом, но и всем телом. И рассказал все о Бюро и Собесе. И конечно – о сигнале.

– М-да... понимаешь ли... – ущипнул бородку Левицкий. – Слушай, отчего б тебе в таком случае ее не сжечь?

– Чего-о? – опешил Пятаков. – В каком смысле?

– Нет, конечно же не на площади, не в знак. Кремировать, я хотел сказать. Понимаешь ли, сигнал этот, в данном контексте, ну, что она продолжает лежать свободно у себя ДОМА – вроде б подтверждается? Нет, я не свое мнение, конечно... но что, ЕСЛИ? Сожги, и все тут.

– Да нет в нашем проклятом городишке крематория! – гневно возопил Пятаков. – И не было. В проклятую Москву ее везти, что ли? Или во Фран... проклятье!

– Ну, это слишком, – сказал Левицкий. – Заграницу не путай.

– Ох, деньки, деньки мои, круглые...

– И это – слишком. Хотя того... поэтично. Запишу. Но только эпитет этот – круглый, как это?

– Говорят же – круглый год, – Пятаков облизал губы. Будешь писать? Отвечай!

– Вот что, – начал Левицкий совсем серьезно. – Выслушай-ка меня обстоятельно. Тебе нужно похоронить Клару, я так понимаю. Причем тут какая-то твоя правда? Нет, теперь ты – стоп! Ты был отличником, считался самым перспективным в школе, в городе. За тобой учителя портфель носили. И что? Кто ты теперь есть? Нет, молчи. Я всех помню, всех бездарей, хорошистов. Сам такой был. И Наталья твоя, и Розка. И Мишкин-троечник. Кто мы все были по сравнению с тобой? А теперь? И кто виноват? Ты сам. Твое это виновато: имею право. Правдолюбец! На фронт – добровольно, в аспирантуру – когда космополитизм, именно тогда, хотя б мог и подождать. А распределение, тю-тю в район, чтобы по ночам с ножиком в протезе ходить, ибо резали там вашего брата-мента? На одной ноге по степи скакать, как Буденный... А потом – выгнал мерзавца из своей экспертизы, и где он теперь? ТАМ ЖЕ, и на ТВОЕМ ЖЕ месте. А ты где? Снова тю-тю: против меня, и гроба достать не можешь. Слу-ушай, ведь

это же не все! Тебя же по сигналу – знаешь теперь куда? Я Мишкина помню, недавно тоже видел – сволочь. Эх, кабы крематорий!.. Как отлично: в клубах горячего дыма, в воздух, в стратосферу. И к Богу поближе, и от Первомайского подальше.

Ефим Борисович дернулся дважды.

– Ну, чего ты орешь, чего дергаешься? Брось! Вспомни, за что ты отдаешь силу и способности! За борьбу с продавцами, за правильный обвес, за лук без грязи. За правильную сдачу в столовой. И подписку на Куприна. А вспомни, как в десятом классе ты же кричал, что те пятеро, ну, родители наших одноклассников, Гальперин и компания, не виноваты. Что с ними разберутся, что каждый должен сказать – я их знаю. Что идея верна, а люди ее портят. И потому – другие люди разберутся в том, что испортили эти, помнишь?

– А разве не так? – пожал плечами Пятаков. – Разве не вернулся Гальперин?

– А ДРУГИЕ! – вскричал Левицкий. – Ну да не про то, значица... Я – поэт. Могу стихи написать. Эпитафию – хочешь? А больше ничего не могу, уволь. Сам же как желаешь. Но советую тебе, как другу: брось, наконец. Брось ВА-АЩЕ, ПО-ОЛ? У тебя искаженный взгляд. Может ты с ним и помрешь, твое дело. Но попробуй разок сообразить: почему ты, самый из нас талантливый, самым неудачником оказался.

– Допустим, – сказал Пятаков упрямо. – Но я имею право хоронить: удачник я или нет. В гробу. Я имею право на рядовую правду, будничную. Я за нее ногу отдал.

– Так поскачи на второй ноге, дай денег кому следует, хочешь – позвоню? И будет столько гробов, что покойников не хватит.

– Ни за что! – ответил Ефим Борисович, выкатив уже желтые глаза. Кожа на лице его вздулась буграми. – А теперь про тебя: это ты, со своими... финтифлюшками, рифмами, вон теми вазочками, цветочками, статуэтками и книжечками, подношениями поклонников... Это ты! А я – никогда, нет. Что такое ты? Это они.

Он странно подергал подбородком, как желающий отвязаться конь.

– Повторяю: если не как человек, не как личность, то как ветеран – имею право на похороны. Конкретно. В той форме, которая положена и узаконена. И от этой формы – не отступлюсь, никогда. И похороню. Так что, спрашиваю в последний раз: напишешь?

– Сумасшедший, да пока я напишу, да пока напечатают, если напечатают, она сгниет, твоя Клара! – вскочил Левицкий. – Да и не стану я, что за вздор!

– В таком случае – прощай, – зловеще сказал Пятаков. И пошел вон. – И помни...

– Идиот! – заорал вслед ему школьный товарищ, детства друг. – И откуда ты такой взялся на наши головы! Разве ты еврей? Похороны и правда совместимы только в стихах, и то – у Гете! Дурак, это ТЫ помни... и так везде, даже в твоей любимой Фран... Проклятье!

Но Ефим Борисович уже хлопал дверью и тем заглушил последние слова Левицкого. Так что не услыхал, тасазать, его прощального пророчества.

А если б и услыхал, то что ж? Мало ли кто, и что пророчит.

9.

Морщины, казалось, пронизывали его кожу насквозь. Он предъявил партбилет дежурному и прогрохотал по лестнице наверх. Секретарше он показался избитым.

– Существуют приемные часы, – сказала она. – И предварительная запись.

– Мои часы остановились, – сказал Пятаков, тяжело дыша. – Мне, поэтому, некогда. И я должен немедленно...

– Товарищ! – сказала она сурово. – Вы забыли, где находитесь?

– Нет, я помню, потому и пришел, – гордо ответил он. – Дело идет о смерти.

– Но почему вы тогда кричите? – Она уступать не намеревалась. – Выйдите, приведите себя в порядок и приходите снова... в приемные часы. Записываться.

– Ага, – злорадно сказал Ефим Борисович. – Отгораживаетесь от масс. Тогда массе ничего не остается...

И он действительно ринулся к обшитой кожей двери, шумно, с лязгами и стуками, как рыцарь в доспехах к неприступному замку на скале. Секретарша стала было на его пути грудью, весьма заметной. Он было... Но тут дверь бесшумно растворилась, и широкоплечий, с крупной физиономией мужчина, ну еще да – с синими глазами, сказал-велел, очень негромко, но весомо:

– А почему б? Лидия Константиновна, путь войдет... товарищ.

Пятаков победно выкатил глаза и вошел. И сел, опять же при входе, а не перед столом. В кабинете было все громадно и пусто. Даже пепельница на пустом и громадном столе была громадна и пуста.

– Я вас слушаю, – сказал представительный хозяин кабинета. – но все-таки вы не кричите. Какие часы у вас остановились? Вы – член партии?

– Хорошо, – согласился Пятаков. – Я не буду отнимать зря время. Я двадцать два года в партии, вы б знали, если бы не приехали к нам недавно. То-есть – все знают, я в партии добровольно, заметьте, когда...

– В партии – все добровольно! – была реакция.

– Конечно! Но я не о том, не о том. Не так. Везде, где я сегодня побывал, меня третировали, несмотря на похороны. Извините, я невнятно, но это оттого, что я не отдышался. Протез, изволите... – Пятаков приподнял брючину, – ва-аще, по-ол, я тасазать ничего... Нет, не так!

– Успокойся, – сказал секретарь. – И не дыши, товарищ! То есть – отдышись.

– Да, но она не дышит. Ведь у меня она, значица, умерла. То-есть – жена. Вы сочувствуете, я понимаю. Но похоронить, я тоже понимаю, не можете, да? Я тоже. Кто же? – сыпалил Пятаков.

- Твой билет, – протянул руку секретарь. Пятаков подскочил и подал красную книжечку. – Так. Строгий имеешь? Один-два?

– И это объяснимо. Но не об этом...

– Хорошо, я все по-ол, значица, – секретарь сделал паузу. – Но. Тебе, Пятаков, лучше письменно. Пройди в приемную и напиши. Нет! Пройди, я говорю, в приемную и напи-

ши. И не кричи, Пятаков, по-ол?

– Я пройду, – согласился Пятаков: что еще оставалось делать? – Но это у меня голос такой, я не кричу. А вы... не уйдете?

– Нет, – отрезал секретарь и нажал кнопку селектора. – Лидия Константиновна, тут этот товарищ. Путь ему дадут бумагу, ясно? Бу-ма-гу! И что там еще понадобится... Все. Иди, товарищ Пяткин.

Ефим Борисович, из вежливости и привычки к дисциплине стараясь не поворачиваться спиной к хозяину, вышел в приемную. Лидия Константиновна указала ему столик в углу и пачку бумаги на нем. Рядом лежала и ручка. И в то время, как Ефим Борисович садился писать, она выскользнула в еще одну – выходившую из приемной направо, против кабинета – дверь. Пятаков поудобнее уселся, вытянул нывшую в протезе ногу, двумя руками зачем-то снял нитку с пиджака, и только после этого взял ручку. И сразу стал писать. Такому-то такому-то гр. такого-то, прож. там-то...

ЗАЯВЛЕНИЕ

Убедительно прошу Вас...

В этот миг дверь, плотно прикрытая за собой секретаршей, распахнулась и в приемную ввалились трое в белых халатах. Ефим Борисович, только подняв голову, сразу же понял – что это были за люди. Понял по мордам, толстым и бесцветным, тех двох, что следовали за первым: маленьким и юрким. Тем более, что личико этого первого Пятаков видал с небольшими перерывами постоянно в течение последних сорока лет, с тех пор, как увидел его впервые – за соседней партой. Из-за спин троицы выглядывала любопытная Лидия Константиновна, чье непорочное чувство не было удовлетворено девятью годами службы на этом месте.

– Ба! – сказал маленький и юркий, пританцовывая, – да это же... Что случилось, что стряслось, ву страпылось, Фи... с вами, Ефим Нау... Борисович!

– А всё понял, Алексей Иваныч, всё, – ответил Пятаков, высоко и гордо поднимая подбородок. – Итак, что такого вы сейчас мне вкатите, товарищ?

– Ну зачем же так, – укоризненно протанцевал свое па юркий, – может и обойдется, а? Но если вы, разумеется, сами желаете... Что до меня, то долг! О!

И он сотворил почти что фуэте.

– Так что же с вами?

– Клара Михайловна умерла.

Юркий замер:

– Э... понятно. Бедная, бедная... того. Ты, значица... да. Так вы – того? Да. Ага. Позвольте-ка бумагу, да. Бедная, лучшая из моих коллег, член месткома, придется переизбирать... Что тут у вас, заявление? Не надо! Или все-таки того, писать будете? Тогда придётся исполнить долг, мне.

– Нет, Алексей Иванович, – Пятаков криво усмехнулся – тс-с-сц!... – я не сумасшедший. Я понимаю – что такое долг. Если вы советуете не писать, то я писать не буду. Вот!

И он с хрустом скомкал свое заявление и бросил на пол. Потом нагнулся, поднял его и переправил в корзину под столом Лидии Константиновны.

– Вот. Я правильно поступил?

– Абсолютно! Совершенно! – станцевал Алексей Иванович. И его подручные изобразили нечто вроде аккомпанимента к его танцу, мордами. – И больше никогда и нигде? И ва-аще, того, особенно сюда – никогда?

– Никогда, сюда, ва-аще того, – повторил покорно слуга покорный Ефим Борисович.

– Отлично! Абсолютно! Так что, может вам того – общеукрепляющего, нет, там... глюкозы? Витамина «В»? Как? Ведь поймите, ва-аще без ничего совсем нельзя, как?

– Витамина, – сказал Пятаков и подтянул рукав пиджака. В два счета ему вкатили инъекцию. – Спасибо. Я пойду?

– Совершенно конечно! – застыл в позе прощального поклона Алексей Иванович. – Так мы условились обо всем? Соболезную. Возьмите палку.

– Прощайте, – сказал Пятаков, бросая прощальный взгляд на Лидию Константиновну. Та сделала реверанс.

– И советую еще того, – вдогонку бросил танцор, – и

советую: внизу перед зеркалом приведите себя в порядок, причешитесь. И главное – застегните ширинку.

Пятаков с грохотом свалился с парадной лестницы, прокатился мимо бесстрастного дежурного. Голова его гудела. Что ж, подумал он, заводя машину, атака провалилась. И болезненный же, проклятье, укол! Значица, начнём правильную методичную осаду. Есть еще Фр-р-р... проклятье, ООН и Цека. И есть еще того... Опыт – учту. Значица теперь только время. И часы мои остановились круглым, как год, днём. И часы... И время... Проклятье! Снова забыл, как там того... эта фраза. То-есть нет! Я ДРУГОЕ совсем забыл: ведь ОНА-то там, на диване, и ее-то часы не стоят. Как ни странно... Но: правда и похороны, вот мой девиз. И правда заключается в том, что ей нельзя оставаться там, на диване. Всем известно – просто нельзя. Я полагаю, вслух сказал Ефим Борисович, это всем известно...

– И может быть уже есть запах!

А стало быть – нужен лёд.

10.

– А что, Егоровна, трупы есть?

– Слава Богу – нет.

– Проклятье!

Он надел рабочую форму, то-есть снял пиджак и рубашку, и надел на голое тело халат. Спина быстро подсыхала. Подпрыгивая на здоровой – ха! – ноге, он направился к двери.

– Да, вот что, Егоровна... У меня дома холодильник сломался. А как назло продуктов много... накупил. И паёк... В общем, значица, тьфу, приготовь-ка из ледника льда – домой возьму. А молоко сегодня можешь себе забрать. Не лезет оно в меня. Да, сложи лед вон в те коробки из-под масла. По-ол? Тьфу, проклятье.

И он запрыгал, точно воробей, взъерошенный и решительный, по мокрой аллейке: спина немедленно намокла под моросящим дождиком, и это было приятно.

Из окошка второго этажа второго корпуса вылетала, как из ружья дробь, горсть таблеток. Он поднял голову и увидел

блестящие наглые глаза – мол, что скажешь, доктор? В этом корпусе лежали лёгочники, и среди них многие со сроками, по УК. Прямо из лагеря они ложились сюда, но не лежали, а пропадали в городе с ночными делишками. Лечиться, разумеется, они избегали. Какой идиот станет это делать, если от лечения загибалось главное – печень? И потом, когда придет следующий раз садиться, где возьмешь такую шаровую болезнь? И потому клумба перед корпусом была усыпана таблетками.

– Эй, как тебя! – окликнул наглого Пятаков.

– А Витя! – с усмешкой, тоже на одну сторону, сказал тот. – Что, доктор, много на тот свет послал?

– Слушай, Витя, есть работа. Там у меня, – Пятаков показал пальцем – где, – лед погрузить нужно, в машину. Справишься? Отблагодарю.

– А чего? Давай, – сказал Витя и слез с подоконника.

– Спросишь там, у Егоровны, – послал вдогонку Пятаков.

Палкой он открыл дверь первого корпуса.

– У себя? – спросил у секретарши.

И вошел, не дожидаясь ответа. Наталья Семеновна подняла голову от бумаг и сразу глаза ее наполнились слезами.

– Ах! – вскричала она. – Ефим, Ефим, ты что, никак не можешь повзрослеть?

– Поздно, – заявил он, присаживаясь. – Тем более – Клара-то умерла. Фьють!

– Ох! – схватилась за сердце Наталья Семеновна. – Довелтаки... Это после вчерашнего? Нет, постой, а ты не врешь?

– После чего – вчерашнего? Впрочем, нет, не вру. Правда это, увы, Наташа.

Наталья Семеновна тихо заплакала:

– А мне вот отчет писать...

– Послушай, Наталья, – сказал Пятаков, – у меня к тебе дело.

– Иди, иди конечно. Иди домой, какие могут быть...

– Нет, я не за этим... Вот послушай, какой у меня вышел казус, проклятье!

И Пятаков снова рассказал о своих мытарствах, особенно нажав на свое самочувствие, и – чтобы уж совсем додавить – на горячий живот. И как он САМ переодевал покойницу.

Ему удалось еще больше напугать и разжалобить Наталью Семеновну, у той, наверное, были в этом плане безграничные возможности: слезы так и полились ручьем.

– А что, – так продолжил он, переходя к делу, – если. Нет, понимаешь ли, не налево. А совсем – направо. Если опять же они, то-есть – вы похороните? Если это сделает диспансер? Если диспансер сделает гроб, как тем больным, у кого нет родственников или наследников. Их же вы хороните, мы хороним? А счет оплачу я, верь.

– Фима, что ты говоришь! Комиссия тут, они тут глаз не спускают. Нет, нет!

Хотя Наталье Семеновне было и жаль Пятакова, но больше, конечно, было жаль себя, поскольку ведь все ОНИ – опять они! – такие. А еще больше ей было страшно, и опять же за него, но и за себя, так как комиссия, да, конечно, комиссия! И вследствие таких сложных душевных композиций она на «нет-нет» не остановилась, о нет!, а добавила:

– Вот если бы Клара хотя бы пару дней у нас поболела... Но и тогда: ее бы наверняка уже приплюсовали к сигналу, а тогда – что? Кстати, о сигнале...

Что там о сигнале, Пятакова не интересовало. ЕСЛИ Б ОНА БЫЛА НАШЕЙ – вот что теперь маячило перед его умственным взором. Правда, пока без особых выводов.

– Хорошо, хорошо, – рассеянно сказал он. – Значица... о! фляги небесные! Ты отказываешься помочь МНЕ? Не ждал от ТЕБЯ, Наталья.

– Я про сигнал: мне и так сигналят, что я тут синагогу открыла, каково? – говорила между тем Наталья Семеновна. – Про Наумовичей – это не так просто. И как мне? Хоть бы ты пожалел меня, и язык свой придержал. Бедная и Клара! Бедная и я... Фим... о деле: тебе ведь правильно советуют. Иди налево. Хочешь – денег дам, через местком или так? Хочешь – позвоню?

– Провались ты, – вскричал Ефим Борисович, вскакивая. – У меня этих денег больше, чем у тебя! Я могу себе позволить дать рубль сверху, а иногда и пять! Разве в них дело? В принципе. И в принципе – нет. Нет! Ни за что!

– Теперь этих денег у тебя будет меньше, – сказала Наталья Семеновна. – Придется сократиться. Ведь я тебе теперь разрешение на совмещение – не дам: после комиссии.

– Черт с тобой, с вами, до кладбища дотяну без вашего разрешения! – застучал Пятаков палкой в стол. – Бюрократка, расселась! Все, все одним миром. И против меня. Друзья, прекрасен наш союз. Проклятье, тьфу!

– Ты чего кричишь? – заплакала Наталья Семеновна. – И бедная Клара. Почему ты не кричишь в своем обществе ветеранов?

– Хм... – сказал чуть потише Пятаков, почему-то вспоминая танцора Алексея Ивановича. – Я не кричу, у меня голос такой. И все-таки знай: ты – это тоже они. То-есть: и ты – это они же. Да-да, во-во!

Наталья Семеновна горько приопустила голову, понимая, какие «они» есть она. Пятаков же вышел с гордо поднятой своей. А в дверях столкнулся с огромным толстым человеком в таком же, как и у него, на голом теле, халате.

– Привет, – сказал толстый весело. – Чего орешь?

– Привет, – сказал Ефим Борисович. – Я не ору, у меня жена умерла.

– Клара! – отодвинулся толстый. – Ужас. Когда?

– Вчера. Слушай, Аркаша, Аркадий Наумыч... Ты про сигнал знаешь?

– Конечно! Плюнь, ерунда. Не впервой. Тебя же теперь вообще забудут: горе.

– Причем тут горе? – отодвинулся Пятаков. – Ва-аще-то да. Я ее переодевал, а живот-то горячий. А был инфаркт.

– Надо вскрыть, – сказал Аркадий Наумович. – Или спроси у Леонида Наумовича, он дока. Такой абсцесс – по его части. Может быть и канцер. Тогда, знаешь, Алексей Наумович...

– Вот-вот, Наумовичи, – иронически протянул Пятаков. – Так и в сигнале. А потом напишут – бегает Пятаков по синагоге, и следы заметает. И плевал я на ваши советы, кто лучше меня в этом разбирается! И вскрывать не стану, зачем?

– А чего? – еще отодвинулся Аркадий Наумович, про-

тискиваясь в кабинет. – Вскрыть, что за дело? Особенно тебе: чик и все.

– Мне, – утвердительно сказал Пятаков. – Свою жену. Хорош, сволочь. А скажи, отчего вы, сволочи, все толстые, а я один такой тощий? Может, частично прав сигнал-то? А? По-ол... все по-ол: разъелись тут.

– Слушай, тебе отдохнуть пора, – пробормотал Аркадий Наумович, уже из-за порога кабинета. – Тебе зубы подлечить нужно, вон ведь – когда нервничаешь, то воняют. И вон как орёшь, чего бы? Ну – умерла, ну – зубы... Причем тут я? Я не Мишкин.

– Мишкин, Мишкин! – возразил Пятаков. – И даже хуже: тот хоть работает!

– Ну, знаешь! – возмутился Аркадий Наумович, исчезая за дверью. – Это уж слишком: теперь я с тобой и говорить не стану, работник. Пылесос!

– С девками! С пьянками! Отделение в бордель превратил! – крикнул Пятаков еще и вышел из корпуса с видом и ощущениями победителя. Дождик, вроде, припустил сильнее.

У морга толокся наглый Витя.

– Ну, что? – спросил Ефим Борисович.

– Порядок, все уже в машине, – сообщил Витя и подмигнул. – Налево?

– Направо, – покраснел Ефим Борисович. – Вот, держи.

И сунул Вите трешку. Витя скомкал ее в ладони и пошел к себе.

– Я, может, тебя еще кликну... – сказал вдогонку Пятаков. – Может пригодишься...

– А как же! – ответил Витя, не оборачиваясь.

А Ефим Борисович уже вертел так и эдак, еще малооформленную, но уже перспективную мысль. Вернее – фразу:

– Ах, если б она была нашей... то... что? А то, что не хуже, чем во Фррр...

Бррр-тьфу! Проклятье!

11.

Он как всегда неловко притормозил и стал в луже. И только собрался подать назад, а она уже открывала

дверцу. Стукнулась затылком о крышу, плюхнулась на сиденье:

– Нет, положительно, затылок есть самая выдающаяся часть лица. А это что – масло?

– Лед, – сказал он мрачно.

– Зачем?

Она поправила волосы, глядясь в зеркальце.

– Для шампанского, – съязвил он, непонятно для нее – зачем, но что съязвил, было более чем ясно по тону.

– Вы снова чем-то недовольны, – сказала она. – Чем? И выглядите плохо: пилила?

– Вроде нет... – сказал он. – Давай с сегодняшнего на «ты», а? У нас комиссия. А на «ты» короче все остальные слова. Устал. Куда едем?

– Как всегда, – сказала она. – Где людей нет. Там и попробуем на «ты».

– Тогда... – вдруг пришло ему в голову. – Едем ко мне. А то лед растает.

Сказал – и задохнулся: его вдруг затошнило. Он вспомнил, что ничего сегодня не ел. И молоко отдал Егоровне. Хотя, впрочем, он его действительно никогда не пил. Пила Клара Михайловна. И зачем он сразу не сказал про Клару? Теперь, после его предложения это стало невозможным. Что она теперь подумает, а с другой стороны – как же это они туда поедут? Проклятье, нет, объявлять сейчас невозможно, ясно. Зато... когда они приедут, мы приедем, почему бы нет? Наверное, это принесет и пользу, что только ТАМ.

В зеркальце он видел ее круглую тугую щеку и угол накрашенного рта. Рот был закрыт.

Идиот. А, впрочем, что такого? Если все равно не поправишь. В конце-концов это касается и ее, подумал он с внезапным раздражением. Разве нет? Он почувствовал, что проваливается в какую-то невозвратную дыру, и попытался подавить тошноту. Это все неизбежно, думал он длинно.

– Из людей у меня как раз никого, – сказал он вслух. – А здесь дождь. Как раз сегодня – никого из людей у меня нет.

Она внимательно глянула на его профиль: щека

насквозь была прорезана морщиной:

– Что же? Поехали.

Он прижал большими пальцами рычаги акселлератора. «Шипит комар, летает птица, хочу шампанского напиться!» Вдова Клико, вдовец – кликуша, тащите труп на волокуше... Тьфу, поэзия, привязалась... Дождь заливал лобовое стекло.

Он остановился у своего подъезда, и опять посреди лужи. Она взяла один ящик из-под масла, он – как сумел подмышкой – другой. И они вместе поднялись по лестнице. Подъезд его был сырой и темный. С трудом попав ключом в скважину, он отпер дверь:

– Прошу.

Эхо будто нежилой квартиры и подъезда – шу-шу! Она вошла.

Он оглядел, в который раз, ее самую выдающуюся часть лица – затылок. Выражение это вошло в их обиход после его признания о том, что... Он поспешил, проклиная себя за рассеянность, закрыть дверь в ТУ комнату. В том, что... Кажется, запаха еще нет. Надо бы форточки открыть. В том, что тогда он впервые ее увидел, так близко впервые, на вечере, стоя позади нее. Стоп!

Стоп, теперь он понял, почему вышло так, что он пригласил ее сюда. Потому что, оказывается, не мог тут оставаться один. Вернее – наедине. Особенно после такого дня. И это еще не одиночество? Бррр-тьфу...

И вот, когда он стоял позади нее, тогда, когда был яркий свет и музыка, танго или вальс, которые он всегда путал, вот это: там-па-пам, там-па-пам, пам: как это все случилось, вот какие там были слова... позади, и видел чуть склоненный вперед, странно-ровный пробор, высокую макушку с рыжеватым отблеском, тут ударил барабан, высокую макушку и шею: скрытую тогда рыжеватыми волосами... «В каки-и-ие вечера?» А вот в какие: вечера, когда ты стояла передо мной, спиной, изогнутой волной, так вот, я тогда, глядя на макушку – он тогда, глядя именно на макушку, такую юную и высокую, приподнятую выше лба, даже при опрокинутом лице, вот когда он понял, что она вся совершенно... своя, и все у них непременно будет, случится, впереди, но что такое всё? Тогда он не знал, что

это все – грязный «Запорожец» – клоп и зеркальце его. Это с тех пор: самая выдающаяся часть лица – затылок, да.

Он зажег свет в коридоре. Она огляделась: никогда еще не бывала здесь.

– На кухню, что ли? – спросил Ефим Борисович тихо. Неожиданно тихо. После такого-то дня. – У меня там приемная.

– На кухню, так – на кухню, – сказала она. И пошла впереди, ВПЕРЕДИ него со своими теперь уже сиреневыми волосами, со своей высокой макушкой, на кухню – за поворот. Он облегченно вздохнул, подвинул коробки из-под масла к стене и загрохотал следом. Он так тогда и подумал: СВОЯ. Как же было не подумать, если запах, какой был запах? Свой. Так пахла и его мать, он это помнил. И слава Богу – еще не появился ТОТ запах, из ТОЙ комнаты.

– Пьем кофе? – спросил он.

– А как же шампанское?

Она уселась за стол, будто всегда тут сидела, на его собственном расхлябанном табурете.

– Можно и шам... Нет, вру. У меня только спирт, – сказал он виновато.

– Отлично: кофе со спиртом: вперед!

А почему бы и нет – вперед? Если тут и сухо и светло, а там – дождь и темно. Он принес из своей комнаты бутылку со спиртом и откупорил. Затем налил его в две кофейные чашки. Поставил рядом стакан с водой. Взял кофеварку – сполоснул, загрузил молотым кофе, налил воды и туда. Поставил на огонь: зашипело...

Взял чашку со спиртом, показал: давай, вперед. Они выпили по очереди, потому что запивали из одного стакана. Вода отдавала хлоркой. Снова зашипело – сбежал кофе. Он налил его в те же чашки, где был спирт. Снова показал: пей. Давай.

Все совершенно молча.

– Тихий милиционер пролетел, – сказала она грустно, как дождь за окном.

– Ангел помер, то-есть родился... – сказал и он.

– У вас... тебя слово ангел звучит как говно, – сказала она так же грустно, как дождь.

– Зато хорошо звучат слова логика и факт. У меня мышление точное: логика и факт. Давай мне, всегда я говорю, факт. А?

– Что такое факт? – сказала она, как дождь. – Что-тако-е-факт?

– Такой рыжий, лохматый, с макушкой, кап-кап... – сказал он. – Но мне его подай.

– А он между пальцами, как дождь, да?

– Как ты.

– Как – ты.

– Ты – факт?

– Я – факт, – сказала она. – А ты?

– Как дождь, – сказал он. – Хотя и нет более факта, чем милиционер.

– Нет есть, ангел, – сказала она, как ... – А это ЧТО?

Он вздрогнул, глядя на ее еще склоненное темя. Он и сам уже услыхал ЭТО: из той комнаты: хрр, бррр... Будто кто-то зарычал и рыгнул. Он покрылся ледяной коркой.

– Может быть... крыса, – пробормотал.

– Факт? – она подняла голову и с подозрением посмотрела на него.

– Нет, не факт! – уже в отчаяньи сказал он. Взял сигарету, закурил, затянулся. Все поплыло перед ним.

– Ты же бросил – где же логика? – спросила она.

– А... в спирте, – брякнул он. А на самом деле – вполне логично ответил: он в это время обеспамятел от страха, что появится ЗАПАХ.

– Так... что же там такое? – и снова взгляд зеленых, как ее глаза, глаз. С прищуром.

– А... – снова махнул он рукой. – Я же говорил. – Между затяжками, лихорадочно и мутно соображая. – Может быть газы.

И обомлел.

– Какие... газы?

– Ну эти, в трубах! Водопровод, канализация. Знаешь? – Руки его тряслись. Она это видела. Его тошнило так, что

он еле сдерживал рвоту. – Знаешь? Нет! – Вдруг срываясь на крик. – Все вру! Это она, это ОНА!

– Кто? – она побледнела.

– Вот что, Райка, – забормотал он, приминая в пепельнице окурок, – вот что... день, как я уже говорил, черт знает... круглый, тяжелый, ва-аще тасазать...

– Факты! – резко выпалила она. – Подавай мне. Жду.

– Клара умерла, – выдавил он из себя... как это?... на что похоже его «ангел».

Она молчала.

– Совсем умерла. Она в той комнате.

С грохотом вскочила она и вскрикнула – ох! И зажмурилась.

– Нет, ты не бойся – чего уж теперь? – сказал он снизу вверх, все еще тыкая пальцем в пепельницу. И все мимо-мимо сигареты.

Она подняла плечи и закрыла руками лицо. А когда отняла их – он затрясся, он вскочил, он было рот открыл... Она уже бежала мимо него к выходу, не оборачиваясь, закрыв, наверное, глаза, наклонив высокое темя... Он чуть не упал, подвернулся протез, пытаясь схватить, удержать, что? Одному, наедине, нет! Никак этого нельзя! Ни за что – ужасный факт! Стой... молча: стой!

У выхода, отпирая замок чужими пальцами, она таки обернулась – глаза полны ненависти, да? ненависти и темноты. Дождь.

– Ненавижу, – прошипела, как комар, – больше никогда, ни за что. Слышал?

Как птица: пойти и утопиться.

И внизу гулко грянула дверь подъезда.

– Слышу, – ответил он, запирая свою дверь. – Факт. Вполне логично.

Но, однако – как это так сразу взяла и поверила, будто ждала. Где же логика? Хотя и факт.

А вот это уж бесспорно можно назвать одиночеством. Он посмотрел на ТУ дверь. Хоть здесь, хоть и во Фррр...анции.

Посредине слова он икнул: тошнило.

12.

Сначала он открыл все форточки, а в той комнате – целиком окно.

Потом перетащил уже мокрые коробки из-под масла поближе.

Пошел в кухню, сгреб грязную посуду в раковину и снял со стола клеенку.

Клеенку перенес в ту комнату и расстелил на полу перед диваном.

Затем он присел на краешек дивана и, наконец, посмотрел на нее. Лицо ее будто опало: уже не были так одутловаты пористые щеки. И поры будто стали поменьше. Нос вздернулся кверху, а дырки в нем стали пошире. Из них торчали толстые волоски. В желтом из-под абажура свете лицо ее казалось совсем темным, как на московских иконах. Веки были просто черны. Зато посветлели седые, коротко стриженые волосы на темени.

Он старался не втягивать глубоко воздух, так, на всякий случай. Сцепив зубы, он взял ее ноги под колени и стащил их на пол, на клеенку. Тело поехало вслед за ногами и ему пришлось быстро подхватить его, чтобы оно не загремело на пол. Все это время он помнил о том, что внизу живут соседи – знакомый зубной врач, Мария... Наумовна, что ли? От спирта шумело в ушах.

Поддерживая теперь ее за плечи – поясницу страшно ломило, а ногу в протезе жгло огнем – он со стоном спустил с дивана весь корпус. Он боялся, что теперь голова ее стукнется об пол, но этого не случилось. Все получилось как нельзя лучше. По обе стороны от нее на полметра выдавалась клеенка, и это тоже было как нельзя кстати.

Он вскрыл коробки и стал вытаскивать куски льда, обсыпанные опилками. И уложил вдоль ее тела, с обеих сторон. Стоять было неудобно и он снова сел на диван. Теперь приходилось сгибаться втрое, особенно, когда он укладывал лед по ту сторону, у шкафа.

Льдины укладывались ровными рядами. Он пригонял один кусок к другому, чтобы между ними не оставалось

щелей, и чтобы они случайно не откатились от тела. Ему почудилось на миг, что он играет в полузабытую детскую игру: то ли в песочек, то ли в конструктор... В кубики, понял он.

Он подвернул край клеенки так, чтобы он охватывал лёд со всех сторон. И тщательно проверил, чтобы он не касался ее платья, черного, с белым воротником. Затем снял с дивана оба пледа и уложил их поверх валиков из клеенки, чтобы подольше сохранялся холод. Все это сооружение он накрыл ватным одеялом, взятым из шкафа – огромного, бездонного, темного – все, оставив снаружи лишь уголок клеенчатого валика у головы, который не поместился под одеялом. Затем принес швабру и протер вокруг пол.

Выходя из комнаты, он бросил последний, испытующий взгляд на постройку: теперь она напоминала резиновую надувную лодку. Он выключил свет и плотно закрыл дверь. Пусть теперь плывет, спокойно, покачиваясь, куда ей следует... Попутного ветра.

Он зажег свет в коридоре и посмотрел в зеркало под лампой. Морщины прорвали его лицо насквозь, и, наверное, впились в кости. Глаза налились мутью – болезнью – рот ввалился. Он машинально снял пиджак, а потом и рубашку. Под косыми лучами лампы мышцы стали еще рельефней, еще больше обозначилась худоба. Он весил чуть больше пятидесяти килограммов – и это в лучшие дни. Короткая щетинка обсыпала щеки пыльцой. Побриться, подумал он. Морщины придавали его лицу характер. Он это знал.

Тс-с-сц! Он присел на свой диванчик и расстегнул брюки. Протез блеснул хромированными деталями. Запахло кожей. Увидев следы ржавчины, он вздохнул. Прелая шнуровка плохо поддавалась. Больная нога лежала в футляре, как банан к кожуре. И как перезрелый банан была покрыта нездоровыми пятнами. Он взял тюбик с преднизолоном и обмазал потертые места на этой, а потом и на другой ноге. Протез и палку поставил в угол.

Все это тянулось нескончаемо долго: у него внутри успела подняться мутная волна раздражения и распасться, когда он, наконец, закончил.

А в голове у него вертелись две оброненные сегодня фразы: «Чик – и все» и «Если б она была нашей».

А с этим связывалось: налево – нет, направо – да. Дорога, подумал он внятно. Дорога моя должна быть прямой как факт. Вот такой... Он даже нарисовал в воздухе прямую линию. А если вот так – тут он нарисовал зигзаг – то я и сам стану таким же, как эти толстые свиньи. Нога на алтаре отечества, это что – зря? Нет уж, на одной ноге – и до конца. Только прямо. Правда, в природе прямых линий не существует, скорее это линия, замкнутая на самой себе. И что из того? А то, значица, что ее начало и конец суть одно и то же, тождество. А еще значит... тут он задумался, прямая дорога есть дорога в начало? То-есть – в никуда? Постой, постой... а если кривая... Кривая имеет возможность, свободу быть кривой настолько, насколько позволяет ей пространство. И столько вариантов – сколько возможно классифицировать. А если пространство бесконечно, то и кривая бесконечно свободна, и ведет прямым путем к цели – только ее выбирай. Если, конечно, цель ва-аще-то существует. Но, если существует, то значит – только кривая? Он снова нарисовал в воздухе замкнутую и разомкнутую линии, потянулся к столу за ручкой... Ах, какой бордель! подумал он, надо бы убрать. А можно убирать, когда в доме покойник? Или это перед дорогой нельзя... А мы оба в дороге, решил он не убирать. И усмехнулся одной половиной лица: значица – уговорил себя, лентяй.

Квартира представилась ему впервые огромной и запущенной. Чтобы дойти, например, до кухни, нужно было истратить ночь. Круглую, с мертвым сердцем ночь. Даже его собственная комната стала чересчур огромной. Он был такой в ней маленький, со своей усохшей ногой, птичьим лицом и мышцами с морщинами. Он поежился. Он вспомнил, что в детстве ему часто снился сон, один и тот же, или с вариациями: ему снилось слишком большое помещение, например – купе вагона, и в нем он был затерян. Чтобы найтись, он выстраивал на полке домик с окошечком, а в домике – еще один домик из одеял, а под одеялом складывался в комочек – и тогда спокойно и

уютно спал. И видел сон, как он лежит в трех домиках, и ему хорошо. И одиноко.

– И это не одиночество? Тс-с-сц, по-ол... – Он задрожал мелкой дрожью. За пределами домика лежал чуждый ему мир. Почему-то все ссорились с ним, ненавидели его, отворачивались и ставили в колеса палки. И насылали комиссии. И сигналы. И кто? Друзья-товарищи, люди, которым по долгу службы и жизни вменено быть с ним, за него. Райка – он застонал – то-есть все! Это ли не одиночество? А может быть... тс-с-сц... может быть так и должно быть, и он ошибался, думая, что Клара только прилагается ему жизнью. Он ошибался, думая, что живет сам по себе, а она – потому что с ним живет. А на деле выходит, что она, этот его аппендицит, живой только им, на деле – он был только ею и жив! Он – Я! Только Кларой я был связан с жизнью, думал Пятаков, со всем, что составляет эту жизнь, и друзья его – это друзья ее, а не наоборот. Значица она связывала его с миром, а без нее – он труп. Не она, а он. Тс-сц, поол.

Все это он говорил вслух – и в первом и во втором лице. А когда обнаружил это, то испугался. И съежился на неубиравшейся две ночи смятой постели.

– Но все это чушь, вздор, она мертва, – сказал он еще, – сходи посмотри, если не веришь. Вон она, в лодке...

Опираясь на костыль, он проволочился к телевизору и включил его. Зашипело, затрещало – снова было поздно. Да, это не во Франции... Но, как же та проклятая фраза? Он вернулся в постель, взял со стола книгу. Но не смог заставить себя читать. Комната стала еще более необъятной, будто стены уплыли на резиновой лодке по случайно, свободно изгибавшимся кривым. И он боялся свалиться с диванчика, такой был в сравнении с комнатой маленький этот диванчик. Маленький бы ему пол, и еще ему маленькие стены и потолок.

Он открыл свой шкаф, вернее – шифанер: шифоньер, купленный им двадцать лет назад, так в магазине и назывался – шифанер. Любовь к факту не позволила ему коверкать это самоназвание впоследствии. И другим он этого

не позволил. Это тоже был необъятный, как комната, сундук. Ростом почти до потолка. Очень, с другой стороны, уютный. Он вытащил из него довоенное пальто... подумал, затем два послевоенных: их он не носил лет десять. Затем пошли плащи, рубашки, просто тряпки. Два отцовских пиджака, съеденных молью. Галстуки – он их вообще не умел завязывать. Наконец – искомое: второе ватное одеяло, с торчащими из прорех клочьями ваты. Оставив всю кучу прямо на полу – он просто позабыл о ней – принес, волоча по полу, одеяло к своей постели. Так, тс-сц. Значица – во-во. Стараясь не грохотать, притащил два стула из кухни, прислонил их спинками к диванчику. Два своих поставил туда же. Подравнял, чтобы спинки стульев образовали ровную стену, параллельно настоящей стене по ту сторону диванчика. Накинул на спинки ватное одеяло, включил настольную лампу, взял книгу...

Кряхтя, полез через подушку на диванчик. Потом долго ворочался, наконец улегся. Натянул одеяло, заправил его между настоящей стеной и диванчиком. Получилась хижина с наклонной крышей – почти получилась, но и то славно. Свет уютно проникал в хижину через отверстие в крыше, оставленное одеялом. Под этой крышей он еще укрылся, простым своим одеяльцем, до подбородка. И сразу согрелся. Взгляд его упал на кучу тряпья на полу – тс-сц!.. А... завтра... Все выбросить: эти пальто, пидлащи, галтряпки... Какая, однако, отличная была мысль: купить шифанер. Он всегда говорил – шифанер, и будет говорить всегда: шифанер. Чтобы все знали: они – не он. Он купил шифанер у них, а не какой-нибудь там шифоньер. Во-во, по-ол?

Он открыл книжку – она сама открылась на заломленном месте. Так как же там та неуловимая, ускользающая, подлая, проклятая?..

– А во Франции, – сказал я, – это устроено лучше.

Чепуха, подумал он, вздор. Разве у них там будет домик лучше моего? Вздор, тс-сц.

Глаза его закрылись и он уснул. В лодке, в хижине, в лемурии, в лесу, среди океана, в небе, в корзине, в

плаще, в пидпальто, в галтряпках, чайкаковский, солнишкни... тасазать... по-ол?

Уберзцы гёсу дал – увы... тс-с-сц!

13.

Снился ему странный бессюжетный сон. Будто лежит он в трех домиках – один внутри другого, как в матрешках, и спит. И снится ему, будто чей-то голос, а потом он узнал – чей это был голос... а, чччёрт! забыл, ну, не важно, произносит с расстановкой различные слова, и зрение его, спящего, иллюстрирует ему, как на экране телевизора, эти слова изображениями.

Первое, сказал неизвестно-известно чей голос... уберзцы, тсссц! поол, значица. И он увидел уберзцы. А что? Вааще...

Второе: пила – чик, и все тут, особенно тебе. И он увидел свою собственную ножовку для вскрытия.

– Третье: факт – он увидел желтое, мохнатое, морщинистое и мускулистое свое...

Четвертое: морг – он и увидел свой морг в тубдиспансере, прямо перед...

Пятое: прямая и кривая линии, в скобках, сказал голос – он увидел два таких чертежа, прямая и кривая линии. Причем прямая – это была окружность, а кривая зигзагообразно терялась в бесконечности. Он понял, если взять любой их конечный отрезок, тогда они суть одно есть. Во всяком случае – совместятся. И он сразу получил подтверждение: они совместились, эти два столь разных чертежа.

Шестое: рай – он испытал блаженство от совмещения чертежей, но подумал: ДУРА ТЫ, РАИСА.

Седьмое: анатомия – Пат! – он увидел «Урок анатомии» Рембрандта, причем на столе перед анатомом лежала Клара, нет – таки Райка, а на заднем плане просматривались могилки, еврейское кладбище, понял он, Первомайское.

Восьмое: и это все – во Франции, подумал он? Вздор.

Девятое он прослушал.

Десятое – тоже, равно как и одиннадцатое, две... и т.д.

Двадцать девятое: вздор – спирт – он и увидел и услышал:

Фррр-бррр-спррт-газы! Тридц-цссс-ц! Уберзцы, поол, вааще, увы...

На этом тридцатом он проснулся и едва сумел разжать челюсти. Во рту творилось нечто ужасное. Живот пучило: газы. Фррр – он окончательно проснулся. И пошел на кухню варить кофе.

В голове его уже сложилась почти определенная мысль. Он мысленно осторожно мыслил, то-есть – поворачивал ее. Так и эдак. Пока разбирал завал из стульев, одеял и книг, упавших со стола. Пока прислушивался... В другой комнате было тихо. Даже часы – и те не тикали.

Он посмотрел на свои ручные: без четверти семь.

14.

– А что, Егоровна, трупы у нас есть?

– Есть, есть, проклятый. Бездомный, одинокий – есть.

– Отлично! Значит сегодня буду, но чуть попозже. Ты так и скажи, звонил, будет. А вот что... если бездомный, значица для него в мастерской гроб мастерят?

– Мастерят, мастерят, но это не он вовсе, а она – баба.

– Совсем слава Богу. Пусть пока в холодильнике полежит...

Он повесил трубку. Баба? Тем лучше. Хотя, впрочем, какая разница?

Проезжая мимо горсовета, он чуть было не поддался искушению. Но вспомнил танцора Алексея Ивановича, передернулся – и сильно прижал рычаги акселлератора. Двигатель надсадно взвыл. Еще больше он завыл, когда клоп начал взбираться на крутой холм, на плоской вершине которого догнивало Первомайское кладбище. Дорога раскисла. Все моросил тяжелый дождь.

Сразу за воротами открылся маленький домишко. Вероятно тот, который и был нужен. Пятаков притормозил. Посигналил.

Из домишка сразу вышел хромой, в синем плаще, щетинистый человек лет пятидесяти.

– Андрей Дмитрич? Я от Мальцева, – сказал Пятаков.

И вышел из машины. Сторож глянул на треугольный знак на стекле, потом на палку:

– Понятно. Что будем делать?

– Могилу, – сказал Пятаков, тоже поглядывая на ногу сторожа. На деревянную его ногу. – Почему нормальный протез не носишь?

– А, – махнул рукой сторож, – шкуру жаль. Да и привык уже. А протез – он вон там валяется... их с ним. У вас совсем оттяпали?

– Нет, – сказал Пятаков, – я не дал.

– Участок есть?

– Я думаю... в семейной, – сказал Пятаков. – Отец с матерью там. Они ее, жену мою, при жизни не очень, но теперь помирятся – а?

– Ничего не остается, – согласился сторож. – Фамилия ваша как?

– Пятаков.

Сторож почесал макушку:

– Как же, знаю. Это в третьем участке, пятая аллея, на горке. Там еще оползень был.

– Большой?

– Приличный. Но теперь снизу бетоном укрепили. Правильно, там место найдется. Ну, так пожалуйте бумаги...

– Бумаги будут, – помрачнел Пятаков. – Ты пока копай. Только не тяни. А бумаги я привезу. Вот первые...

И он протянул сторожу три красненьких. Тот хмыкнул, и Пятаков прибавил еще две: ленин-к-ленину. Теперь был порядок, за свои деньги, значит. Такова была новая тактика, чуть ли не стратегия. Налево и направо, сиречь – одно и то же. Так же, как одно и то же есть прямая и кривая. Если их брать в отрезках: налево и направо, а не в бесконечности, тасазать, то будет одно и то же, если, конечно, благородна цель! Ради низменной же цели прямой, где ж сыскать ее идеальную, можно взять чуть влево, чтобы потом взять У НИХ свое направо. Тактика, почти стратегия. Влево, и сразу, пока не опомнились, направо, ага! И все за пять красненьких.

– Что ж, – сказал сторож, – пойдем, глянем.

Они согласно заковыляли по аллейке между могилами.

Сторож на своей деревянной передвигался куда резвее. Вот они свернули на боковую дорожку, вот взобрались на пригорок, и Пятаков увидел и не узнал родительские могилки. Земляные насыпи над ними растеклись дождями, ограда сржавела, однако еще хранилась мраморной плиткой надпись:

ПЯТАКОВА Мария Ильинична 1900-1957

ПЯТАКОВ Борис Наумович 1895-1960

– Все исчезает на земле, – сказал сторож. – И могилы тоже.

Пятаков покраснел.

– Размер – какой будем копать?

– Большой, – сказал Ефим Борисович. – На взрослого. Ну, метра два в ширину.

– Шкаф, что ли, хоронить будете? – спросил сторож.

– Копай на шкаф, – рассеянно согласился Пятаков. – На шифанер. А? Что? Договорились?

– Есть, – подтвердил сторож. – К завтрему будет. А что, пенсия у вас большая? Или работаете? Деньги, вижу, водятся...

– Работаю – сказал Пятаков. – Хватает. А ты чего планок не носишь? Не заслужил? Фронтовик ведь...

– Не хочу одежок портить, – усмехнулся сторож.

– Как так не хочу! – вскинулся Пятаков. – Небось паек получаешь!

– Не-а, – возразил сторож. – И пайка не хочу. От них – ничего не хочу. Все, что имею, отсюда.

И он обвел рукой кладбище.

– От земли, тасазать, от смерти, пронесла ее нелегкая...

– А пенсию? – изумился Пятаков.

– Пенсию туда же, мать ее, – отрезал сторож. – Плевал я на нее. Сразу после госпиталя и плюнул. Не помнишь, разве, что это за пенсия? Меня поначалу в третью группу, нога-то еще была, ее потом спилили, а третьей группе, если работаешь – дают пятьдесят процентов, а если не работаешь – ничего не дают. Помнишь? Спрашивается, кому дают цельную, а? А мне эти рублики на пропой, да? Плевать я хотел на их процен-

ты. А с планками теперь только в магазин ходить: там за это бьют.

Неожиданно вместо изумления или неприязни к сторожу Пятаков почувствовал зависть. Поэтому-то он и сказал слишком резко, почти грубо:

– Ладно. Мне некогда. Так я завтра – тут.

– Все в полном, – заверил сторож. – На шифанер.

–Ну и ладно, – уже не гляди на него закончил Пятаков и пошел к машине.

В спину ему насмешливо глядел Андрей Дмитрич, свой брат, протестант. Пятаков заставил себя не оглядываться и такое усилие сделало-таки свое дело: взвинтило его. Бросив последний взгляд на домик сторожа, он запустил двигатель и покатил с холма. Резиновые коврики под ногами надо было снова мыть.

Только выкатив на улицы городка, он осознал, что взвинтился вовсе не из-за сторожа, а из-за собственного мочевого пузыря. Проклятье! Ближайший, как он знал, сортир был не ближе центральной площади. Он ехал, посматривая по сторонам, и без всякой надежды. Между тем терпеть уже было нельзя.

Он резко притормозил, вылез из машины и почти побежал в ближайший двор. Как назло там, и это обычным способом разозлило его, сидели на скамеечках старушки-наседки и хором облили его всеподозревающими и знающими взорами. Из последних сил сдерживая пыл, он нырнул в ближайший подъезд. И сразу же уверился, что сверху спускается кто-то, по хозяйски топая. Проклиная весь свет, он стал подыматься навстречу топанью, разминулся с подсвистывающим, довольным жизнью жильцом – толстой свиньей! – и тут же услыхал, что снизу, вслед за ним поднимается по лестнице другой жилец. Вилка, подумал он, ловушка! Он затравленно огляделся: одна из дверей на площадке была приоткрыта. Из квартиры выползал рыбий чад и смутные голоса. Он заглянул в щель: коридор был пуст. Голоса доносились из-за его поворота, верно – с кухни. Сам же коридор в двух-трех метрах от входа упирался в дверь. Сортир, подумал Пятаков, иначе не может быть. Преследуемый поднимавшимся снизу свидетелем, наверняка

ведь толстым боровом, он протиснулся в чужую квартиру. Можно было б сказать – проскользнул на цыпочках, если б он мог такое проделать не только в уме. Во всяком случае, он это проделал необычно скромно, крадучись. И не касаясь палкой пола. По кривой, тасазать. Не включая света, он нырнул во тьму сортира, вдохнул чужие запахи, запер на крючок за собой дверь и привалился к унитазу. Громыхнула горячая струя. Но с этим уж ничего не сделаешь – риск. И пока с души отваливалась тяжесть, он повертел во тьме головой – как бы огляделся.

Сортир был узкий и высокий, как шкаф. И пустой, как выброшенный шкаф. И занюханный, как... старый занюханный шкаф. С мутным стеклышком вместо окна. Голоса вдруг пробились под дверью. Пятаков весь сжался, но еще не кончено было дело. Ничего из того, что говорилось на кухне, разобрать было нельзя, но ему стало так неловко, так неприятно – словно он МОГ разобрать. И не только мог, но и уже подслушал нечто чужое и важное для них, для него самого – тоже. Да, такое важное, что им можно было погубить и Пятакова, и всех их на кухне. Этой тайной можно было погубить весь город. Он напрягся, пытаясь поскорей покончить с делом, а заодно – разобрать, что там говорится о нем, может быть о комиссии, о путях левых-правых-господних. Проклятье! Ничего не разобрать! Вот, кажется... морг! Или нет: помог? Нет, рог. Он искренне мучился неизвестностью, разговор явно касался него. Но как касался? Он готов был пробраться в саму кухню, прилечь там потихоньку на пол... Вот, кажется: Пятаков? Нет: Шестаков? Нет: не таков. О, гадость, проклятье!..

Он с отвращением застегнул ширинку и тихо выбрался из вонючего шкафа. Ему повезло: по пути никто не попался. Впрочем, он держал наготове палку. Для защиты. На лестнице, уже нисколько не скрываясь, победно прогрохотал протезом.

Садясь в машину, он так же победно задирал морщинистый подбородок, похожий на маленький морщинистый кулачок: что-то вроде маленькой победы, а?

Новая тактика, почти стратегия, начинала сказы-

ваться. Неужто вправду начала? Неужто самый краткий путь к правде через ложь?

«Во всяком случае», подумал он, «кажется я вступил в полосу удач».

«Или они сами меня настигли».

О, Фрррранция, проклятье!..

15.

Я ожидал его на площадке перед квартирой и узнал по характерному громыханью протеза, постукиванью палки и покашливанью. Потом я увидел его и испугался: клок спутанных волос на макушке, запавшие щеки, воспаленные глаза... Он весил, пожалуй, меньше пятидесяти. У меня защемило под ложечкой.

– Привет, – сказал я, касаясь губами неживой колючей щеки.

– Димка, – выговорил он потерянно. И неловко отодвинулся. Чтобы скрыть неловкость, сразу начал отпирать дверь:

– Как же ты успел... Кто сообщил?

– Твоя Роза, – сказал я. – Вчера утром звонила. Успел на самолет только сегодня.

– Значица... как твои дела? – он прошел впереди меня в квартиру. Дверь в материну комнату была закрыта.

– В порядке, – сказал я. – Не опоздал?

– К чему? А... – кивнул он, – не опоздал.

– Она там?

– Там.

Он указал палкой. Я двинулся туда, но он вдруг ловко забежал между мной и дверью и стал передо мной, упираясь палкой в пол. Я не сразу отреагировал на его маневр и продолжал двигаться, пока не наткнулся на палку.

– Что?

– Не ходи туда, – сказал он резко. – Нечего тебе там делать, тебе. Пойди-ка лучше... помой посуду, помой, говорю, посуду!

– Постой, – пробормотал я. – Как это, а как же...

– А я говорю – помой посуду! – возбужденно восклик-

нул он. – Это факт, и нечего тут слюнявить. И вообще: займись уборкой!

Это было так неожиданно, и с такой странной яростью он требовал этого неожиданного, что я опешил.

– Ты плохо себя чувствуешь?

– Прекрасно! – отрезал он. И я отступил. Следовало быть поосторожней, кто знает – как оно тут. – Хорошо, я помою. Нет, сначала разденусь.

– Раздевайся, – от дверей он не отходил. – Но не шуми.

– По-моему кричишь ты, – пробормотал я.

– Ну-ка помолчи, – встрепенулся он сразу же. – И не смей, мерзавец!

– Па, – сказал я с досадой, но стараясь скрывать это, – ну что за амбиции? Нашел время...

– Я нашел? – вскричал он, словно только и ждал этого, и стукнул палкой в пол. – Сту-дент, тс-с-сц! – подбородок у него задрожал. – Я тебя не звал.

– Это верно, – сказал я, тоже начиная злиться. – А мог бы и сообщить, что моя мать умерла. Ты мог бы. А не Роза.

– Идет она к чертям! – заорал он. – И ты вместе с нею.

– Так, и чего ты все же от меня хочешь? – спросил я, решительно не понимая.

– Мой посуду, – был ответ. – И делай уборку. И...

Тут он махнул рукой, будто сметал со стола мусор. Вероятно, я б обиделся по-настоящему, если б причина, пригнавшая меня сюда, была иной. И я сделал еще попытку:

– Хорошо, давай молчать. И можешь отойти от двери, я туда не пойду. Единственное, о чем я хочу просить – дай мне сразу на обратную дорогу, мне заранее нужно взять билет.

– Я достаточно тебе посылаю денег, – возразил он.

– Я и не говорю, но случай ... непредвиденный. И, кстати, для чего достаточно?

– Тебе мало, – удовлетворенно сказал он. – Неблагодарный лжец. Ты пропиваешь эти деньги.

Он затряс у моего лица кулаком.

– И мать свою вогнал в гроб – ты, своими делами.

Кое-что из того, что он сказал, было правдой. Но в том, что говорил я – тоже было кое-что верное. Какие-то деньги я пропивал, да, но их все равно не хватало на жизнь. И без пропития. Насчет же гроба...

– Это слишком, – сказал я, борясь с прилившей к вискам волной. – Я не к тебе приехал, в конце-концов.

– А ведь больше никого! А, значица, по-ол? – и он снова сделал тот смахивающий меня жест.

– Ладно, – сказал я. – Но сначала я скажу. Не я лжец, а ты. Я больше не могу, не хочу от тебя ничего, ни слышать, ни получать. Я бы давно, но помнил, что ты – отец, и хватит: ты и есть тот самый лжец, и настолько, что врешь самому себе! – Остановиться я уже не мог. А он выкатившимися, налитыми желтизной глазами в красных прожилках смотрел на меня в упор. Но я на него тоже. – За что ты не пускаешь меня к матери? Причем тут деньги? Меня даже не вызвал, не сообщил. Ты просто взбесился, и я знаю, отчего: ты понял, что на свете ты один, совсем один, ага! Но при этом обрушились твои ценности, твои иллюзии. Кто всегда кричал, что ваше поколение железное, а наше – гнилое? Посмотри на свое железо, чем ты занят? Спорами с продавцами и чиновниками, грызней за подписки, интригой под прилавком, кем ты стал? И может ли вот так стать иным тот, кто уже не был раньше таким иным? Люди извратили идею, кто извратил тебя? Нет уж, все наоборот. Что было – то и есть. Говоришь ты, вы верили? Врешь, вы обманывали, и себя тоже. Вы называли убеждениями слова. И теперь, когда всем очевидно, что это только слова, и лживые слова, вы не хотите этого признать, почему? А тех, кто это вам скажет – на фронт, войны для них нет? Почему? Да потому, что эти слова и вы – одно и то же, и отказаться от них значит – отказаться от себя, своей личности, жизни. Вы зачеркнете дутую значительность свою, обессмыслите жизнь, уже прожитую, непоправимую, станете даже в своих глазах ничем, дерьмом, хуже дерьма: вообще без запаха! Еще бы вам не быть одинокими, когда приходит-

ся признаваться, что вы меньше, чем дерьмо. Ты когда в последний раз читал книгу? Не военные мемуары, а КНИГУ? Не газету – книгу? Ты помнишь ли, что это такое – книга? Нет, не помнишь. А убежден в своей правоте. Глянь на себя, тебя не волнует смерть, а пустяки доводят до исступления. И... причем тут деньги? Посуда, или уборка? Нет, ты снова хочешь только одного: любой ценой взять надо мной верх, и тогда – снова вроде б у тебя есть запах. Нафталин! Нафталин! Ты сам себя мыслишь нафталином. И это занимает тебя в такой момент! Любые средства хороши, чтоб твой запах учуял я. Знаю. Лишь бы цель была. Я знаю, ты хотел бы, чтобы я всегда чуял твой запах, чтобы все тоже чуяли, знали о тебе и признавали. И чтобы я шел по твоему запаху твоими путями, повторял тебя: твои ошибки – чтобы меня снисходительно поправить, твои победы – чтоб снова их пережить, твои мысли и поражения – чтобы снова и снова жалеть себя, обсасывать их за мой счет вновь и вновь... но нет! Я другой, я не похож на тебя, и я не стану. И отсюда ты хочешь верха любой ценой, но опомнись! Нормальный ли ты? За что ты меня ненавидишь, за все вот это? Но это же не я, все это, а ты сам! Вы сами!

– Нет, это ты опомнись! – вскричал он, выпав из своего оцепенения: страшного и болезненного. – Я слышал все, что ты тут, мерзавец, наговорил. Наконец-то услышал, ты выговорился, открылся, о! Вот она, чистая вода! Ты молчал, хотя думал так всегда. Из-за чего? Из-за денег, которые получал от меня. Поделом мне. Подлец! Ага, но и идиот. Что ты тут наговорил, клоп, где же подтверждение всему этому? Где, я говорю, доказательства? Ты мне факты, – тут он захохотал, язвительно, жутко, – где твои факты? Подай мне их!

– Какие же тебе еще факты, – упавшим голосом сказал я, понимая действительный свой идиотизм и безнадежность затеянного. И всю его нелепость. – Это ведь все и есть ФАКТЫ!

– Где, где они зафиксированы! – еще страшнее захохотал и закашлял он. – Где документы? Бумаги где? Ага, ты уклоняешься от честного спора, у тебя нет ни одного фак-

та – так кто ты есть? А между тем на моей стороне они существуют, вон: грязная посуда, бордель в квартире и толстые свиньи. А я стою. Так кто ты?

– Не лги же хоть себе, – сказал я безнадежно. – Кроме этих – есть другие факты. А эти – лишь их видимость. Видишь, по-твоему смерть – уже не факт.

– И не факт! Не факт! – выпалил он торжественно, вместе со слюной. – Не подтверждено, кем подтверждено, не знаю, хоть у меня и бумаги – но у меня! Я лжец? Нет, ты лжец. Как все вы, как все они. Ты – это тоже они.

И вдруг, вместе с очередным «не факт» он поднес свой кулак к моему лицу и несильно ударил им в мою щеку. Я обомлел. Он тоже, но сразу справился со своим обомлением, и чтобы скрыть его следы – попытался ударить вторично. Но на этот раз – я успел уклониться и он не попал. В остальном я постарался не двигаться с места, хотя это было очень трудно сделать. Ведь я чуть было не ударил его в ответ. Боюсь, он именно того и ждал.

– Вот тебе факт, – сказал он, переводя дух. – А ты от него уклонился.

– Это пошло, – сказал я, не найдя иного слова. – Ты еще и пошляк. Я пошел. Но ты знай: ты сам ОНИ. Как ни старайся, ты и есть – они: толстые свиньи, заградотряды, смерть. Пока.

И я пошел. Чувство подлого бессилия охватило меня, бессилия, не имевшего ни начала, ни конца, ни исхода – куда бы его направить? И потому я самым гнусным тоном сказал – уже по ту сторону двери:

– А ведь я помню, что ты разыграл нечто похожее, когда опаздывал к этой своей... Раисе. Не в этом ли и сейчас фокус?

Я не успел сказать всего, что вдруг сказалось само, и слава Богу – захлопнул прежде за собой дверь. Таким я и запомнил его: опираясь на палку, торжествуя еще одну маленькую победу – я дал ему факт! – он смотрит мне вслед, и через запертую дверь, и тс-с-сц!

В душе моей... впрочем, черт с нею! И не в том дело, что я мог бы ударить его в ответ, хотя это и было бы жутко. А в том, что я напоследок тоже попался

на пустяк, и был им раздавлен, высосан допуста, дочерна, дотошна – допошла, до... И меня чуть не стошнило на лестнице. От самого себя.

И я был настолько исступлен этим ничтожным пустяком, что тоже забыл про смерть и сделал в таком положении неизбежную мерзость: тут же достал у знакомых денег и в тот же день улетел назад, во Фррр... Проклятье! Бррр-ттрр...

Конечно же не во Фррр, совсем наоборот.

Туда, где тоже – черт знает как все устроено.

16.

– А что, Егоровна, трупы у нас есть?

– Господь с вами, Ефим Борисович! Вы же утром звонили!

– Да? Значица – скоро буду.

– Да мне уходить пора, полвосьмого ить...

– Иди, иди, я сам управлюсь, – сказал он и повесил трубку.

Все это было ему наруку. И то, что уже темнело – тоже.

Он набрал в легкие побольше воздуха. Лицо его стало как лезвие сабли. Он почувствовал прилив настоящей энергии. И обрадовался этому. Он решительно толкнул палкой дверь той комнаты и зажег свет. Лодка качалась на деревянных волнах. Он взял одеяло за уголок и потянул его в сторону. Затем снова расстелил его у двери. Яростно разбросал куски льда. Теперь стало ясно, что меры предосторожности не увенчались успехом: платье, черное с белым воротничком, промокло. Особенно на плечах и бедрах. Теперь он обратил внимание на голые ее, желтые пятки... И отогнал мысль надеть на нее чулки. Слишком сложно.

Он взял ее за щиколотки и подтащил к одеялу. Затем перекатил на него тело и подровнял так, чтобы со всех сторон из-под него поровну выглядывало красное одеяло. Затем обернул тело со всех сторон, плотно. А в дырки, из которых торчала вата, потыкал пальцем, чтобы вернуть ее на место. Тем не менее на полу уже ва-

лялись клочья одеяльих потрохов. Он принес с кухни веревку и обвязал пакет. Для крепости и надежности.

На полу валялись комки серой ваты, тряпье и платьишко послевоенных лет. Он бросил косой взгляд на все это и на шкаф: а... потом. Не шкаф, а могила. Или сортир. Внутренности шкафа действительно были полны невысказанной тайны, могущей как и погубить его, всех, или наоборот – спасти. Навсегда всех спасти. И в нем, как в сортире, можно было узнать об этой важной тайне, пощупать ее, только нужно внимательно, надежно и крепко... Он вдруг понял, почему так часто и охотно пишут многие на стенах сортиров. И одобрил их: он и сам бы написал что-нибудь на стене шкафа, изнутри. То-есть – сообщил бы потомству важную тайну.

Он открыл входную дверь и потащил пакет на площадку. Он держал подмышкой палку, вцепившись двумя руками в тот край пакета, где находилась ее голова. Вытащив же на площадку, захлопнул дверь.

Решительно он находился в полосе удачи: в подъезде не было никого. Стараясь не шуметь, он стал спиной вперед спускаться по лестнице, всякий раз, когда ее ноги глухо – под ватным одеялом – брякали об очередную ступеньку, морщась. Ему удалось проделать всю операцию на одном дыхании. Затем он выглянул во двор: и там, о, счастье!.. никого. Он дотащил пакет до машины и открыл дверцу. Теперь ему предстояло самое сложное.

Он прислонил тот край пакета, в котором была ее голова, к сиденью. Он всё время помнил, что нельзя переворачивать ее вниз головой. Он сам залез в машину с другой стороны. Второе переднее сиденье он откинул. И стал потихоньку, скрежеща от напряжения зубами, подтягивать пакет на заднее сиденье.

Через три минуты весь куль уже лежал в машине наискось, потому что на заднем сиденьи он не помещался.

Ефим Борисович отдышался, отморщился: страшно ныла и дергала увечная нога. Впрочем и здоровая тоже. Пот стекал между его лопатками. Он захлопнул дверцы и включил зажигание. В мире стоял непрекращающийся мощный гул

листвы. Будто вибрировали дома, стволы деревьев, машина и он сам. У него заныли зубы. И он тронулся в путь, под тусклыми фонарями, в тусклом мутном дождике, в ватном сером туманчике, по вяло сверкающему асфальту, очень осторожно: помня: нельзя, чтобы его остановили. Кто бы там ни был – нельзя.

Полоса удач не кончалась. Он благополучно въехал во двор тубдиспансера и подрулил к моргу. Над его крылечком желтела грязная лампочка. Он вышел из машины и обнаружил, что едва стоит на своей ноге. Колено дрожало, протез тоже подгибался сам собой. Палка в руке ходила ходуном. Он понял, что ему самому не справиться. Нет, о себе он не беспокоился, он ничего другого и не ждал. Нельзя безнаказанно несколько дней голодать и жить только на кофе. Одна мысль о пище вызывала прилив тошноты.

Справившись с нею, он заковылял к ближайшему корпусу. Остановившись под знакомым окном, он свистнул. Потом еще раз. На фоне освещенного окна появилась стриженая голова.

– Мне Витю, – икнув, сказал Ефим Борисович.

– Витька! – голова обернулась к нему затылком, – тебя спрашивают.

– Что ж за фрайер? – голова убралась, и вместо нее появилась другая – с шевелюрой.

– Это я, – тихонько сказал Пятаков. – Доктор, который тебе трешку дал.

– Ну, и чего тебе, доктор?

– Спустись-ка, дело есть, – сказал Ефим Борисович, при слове «дело» стыдливо пряча в нос согласные. Получилось – «дева».

– Ага, – кивнул Витька и исчез из рамки окна. Через минуту он стоял рядом и они пошли к моргу, скользя по размытой глине дорожки.

– Вот, – сказал Пятаков, открывая дверцу машины, – перетащи-ка ко мне... Получишь еще.

– Что – деньги? – сказал Витька, вглядываясь в сумрак машины. – Мне б спирту.

– Будет спирт, будет, – нетерпеливо сказал Ефим Бо-

рисович. – Помогай. Только осторожно, не развернулся бы... Хрупко!

Витька потянул за одеяло и вытащил сверток наружу. Потом перехватил его в обнимку, как ковер. «Тяжелый...» пробормотал он и потащил его на крылечко. Там и сложил, под желтой лампочкой.

– Сейчас открою, – заторопился Ефим Борисович, доставая из кармана ключ.

– А что у тебя там, доктор? – спросил Витька лениво.

– Инструменты, – отвечал Пятаков, суя ключ в скважину.

– Ну? – сказал Витька намешливо, оглядывая пакет со всех сторон. И отступил вдруг на шаг. И вообще вдруг спрыгнул с крылечка.

– Что? Фрайер, да я тебя, знаешь, за это? – Он вдруг заорал в полный голос. – спирт предлагал? В мокрое меня тянешь, доктор? Ну нет... Я тебя раньше... Ну постой, постой...

И он еще раз отпрыгнул – в сторонку – и пропал в темноте. Только слышно было Пятакову, как он бежал, скользя по глиняной тропинке. Пятаков тоже осмотрел пакет и обомлел: из рулона торчала желтая глянцевая пятка. Тут же стало ясно, почему дверь не открывалась. Она и так была открыта: из нее вышла Егоровна и всплеснула руками:

– По ночам, сердешный, работает! Комиссия проклятая! Житья нет...

Сердце Пятакова упало в колени, и они подогнулись. Даже железное колено протеза.

– Не кричи, не кричи, Егоровна! – пробормотал он, заталкивая ее назад. – Что ж, не впервой по ночам... Когда-то и вожди трудились...

Но поздно: с дорожки уже доносился топот многих ног. И голоса: мужские и женские. И – Пятаков задрожал – знакомые. Он попытался зачем-то палкой скатить с крылечка свой пакет – не вышло. Потом нагнулся к нему... Но было еще раз поздно. Перед ним в полном составе стояла комиссия, с главврачом Натальей Семеновной, с Витькой. А впереди – начальник облздрава Мишкин торжествующей персоной.

– Смотрите, смотрите, товарищи! – яростно шептал Ви-

тька, указывая на предательскую пятку.

– Предатель, – так и сказал Пятаков.

– Ты меня не путай! – заорал Витька. – Товарищи...

– Помолчите, товарищ, – сказал член комиссии.

Глаза Натальи Семеновны наполнились слезами. И все прибывшие с выражением брезгливости, и даже – гадливости, смотрели на эту пятку. На желтую, какую-то ненастоящую пятку.

– Так что же это... Ефим, таки, Наумович? – сказал главный. Мишкин молчал: дело ведь само делалось.

– Для науки... – сказал Ефим Борисович. – В целях развития. Впрочем, что вы понимаете? У нее, а она все равно мертвая, живот горячий. Необычайный факт! И для науки, и для диссертации. Уроки патанатомии Рембрандта – помните?

– Какой науки? – растерялся главный. – И чьи такие уроки?

– Экологии, – выпалил Пятаков багровея. – Вы только представьте: полиэтиленовый мешок не разлагается в почве. Совсем не то – гроб деревянный. Представьте дальше, что будет через некоторое время в таком мешке, а? А когда таких мешков много? А теперь вспомните постановления ЦК и ООН...

Наталья Семеновна заплакала навзрыд.

– Что ж, товарищи, – сказал главный с сожалением. – Придется считать в целом и главном сигнал оправданным. Налицо доказательства? Есть труп.

– Это моя жена, – сказал Пятаков

– Ну, вот вы и сами подтверждаете. Наконец! – не удержался Мишкин.

– Ну ты – молчи! – заорал Пятаков. – Я тебя знаю: ретроград. Консерватор. Вы все консерваторы – палки в колеса науке ставите, я знаю! Вредители, против исторического процесса. Это я вас спрашиваю – зачем не растете, не перестраиваетесь?

Подбородок-кулачок его дергался, он улыбался одной стороной маски-лица, маски из двух половинок: мрачной и веселой, тс-с-сц! И на веселой стороне качался, как голодный, одинокий ослабевший зуб.

– Итак – с поличным, – сказал главный. – Выводы представим. Труп с поличным.

– Это моя жена! – вскричал Пятаков. – Вы не знаете – что это? Это смерть: она уже два дня мертва. Космополиты?

Он произносил это слово с усилием: мерррртвтвтвтва. Фррр-бррр. Зуб качался на веселой стороне.

– Это еще одно доказательство, – сказал Мишкин. – Два дня? Отличное доказательство. Отчего ж не хоронили, товарищ? Гражданин? И почему она здесь?

– Мешок, – сказал Пятаков. – А соседи? А запах? Я хотел, нет, послушайте, я же ничего больше: я хотел только вашего, моего гроба. По праву, как ветеран. Я знаю – его строят в мастерской. И для кого? Для бродяжки, дармоеда. А для меня, положившего на алтарь отечества ногу, не полагается? Дудки, я найду управу. Нет на вас Сталина! Французы! Фррр... Бррр...

И он застучал палкой в крыльцо, словно пародируя тот танец, который ему показал танцор Алексей Иваныч. Ка-а-ак, это все случилось? В – каки-ие вечера?

– Я думаю – это правда его жена, – простонала Наталья Семеновна. – Я также думаю: он с ума сошел от горя.

– Не знаю, не знаю, – с сомнением сказал главный.

– О-о!.. – заголосила Егоровна, всплескивая руками и обхватывая ими Пятакова. – Родимый! Как же тебя жалко, Ефим Наумыч, голодненький...

– И ты, Егоровна, – печально сказал Пятаков. – Но что ты тут делаешь после окончания рабочего дня?

Его била непрерывная подлая дрожь. Он звучал, как огромный оркестр: металл: протеза, пряжек, мелочи в кармане, кнопок с авторучкой – звенел, кожа: протеза, его собственная, сшитых на заказ ботинок – скрипела и глухо щелкала, ткань: грубая пиджака, тонкая рубашки, замасленая брюк – шуршала и свистела, резина подошв и палки – визжала, и глухо била, как в большой барабан, в крыльцо. Это был дикий оркестр. И поверх всего – флейта – пикколо: тсссс-сц!

– Так вам же и помочь хотела! – заголосила Его-

ровна. – Как же вас одного оставить, а?

– Это его жена, – сказала Наталья Семеновна. – Я об этом знаю. Его пожалеть пора.

– Мы не звери, – укоризненно сказал главный. – Выводы мы делаем, но мы не звери. Конечно, ему по-человечески надо – в порядок. Мы понимаем: шок. Хотя и эти... консерваторы.

– Космополиты, по-ол, ва-аще? Мешок!

– Ну-ка, больной, – обратился главный к Вите. – Помогите!

И, трогательное зрелище, как подлинный либерал и демократ, хотя и космополит, то-есть консерватор и ретроград, он взялся за угол пакета, Витьку заставил подхватит другой, и они вместе: народ, понесли и положили Клару Михайловну в машину. И удобно, ловчее самого Пятакова, устроили ее на заднем сиденьи.

– Как звали? – чуть задыхаясь, спросил главный.

– Клара, – еле слышно отвечал Ефим Борисович. – Добрая Клара.

– Примите, – сказал главный. – И не отчаивайтесь: с ней не случилось ничего необыкновенного. И поезжайте, поезжайте, голубчик!... Но выводы нам делать все же придется... Но – ведь это наше дело, а вы пока выспитесь, выспитесь, говорю я вам, прошу вас. Так.

С этими словами он подталкивал Пятакова к машине и тот машинально двигался туда, повидимому плохо уже соображая – где он и что. Наталья Семеновна не выдержала зрелища и отвернулась. Да и все равно ничего не было видно сквозь густые ее слезы.

– Егоровна, – на прощанье велел Ефим Борисович, – чтоб тут, значица, все было в порядке. По-ол?

И тронул с места. Двигатель завыл – и что там дальше было, позади, он, Пятаков, уже никогда не узнал. Да и прямо там, на месте, уже позабыл об оставленном сзади, и лишь болезненно переживал свою неудачу. Нет, говорил себе он, я этого так не оставлю. Пусть они – что хотят, а я знаю правду. И я ее возьму. Имею право! Вредители...

Как доехал он до дому, как втащил в квартиру пакет –

он тоже не помнил. Опомнился же только тогда, когда хватил спирта из кофейной чашки, запил водой, сварил кофе и закурил. Из крана капала вода. Время поджалось: уже появился ТОТ запах. Он чувствовал. Квартира была громадной, необъятной, сюда бы, как в Женевское озеро, влезло все человечество. Дождь шумел в стеклах, листья гудели в тумане. Кричать действительно больше не следует: глотка не казенная.

– Что? – сказал он вслух. – Во Франции? Дудки. Там это делается так же. Не брешите. Сиплые звуки лезли из сорванной глотки. А проклятую фразу он все-таки запомнил.

17.

Он снова приставил спинки стульев к своему диванчику и аккуратно подравнял, чтобы образовалась стенка. Затем накинул свое ватное одеяло на новую стенку и полого опустил его на противоположную сторону, к настоящей стене, старой. И заткнул край в щель между нею и диванчиком. Взял в руки книжку и, кряхтя, полез под ватную крышу. И остановился.

Он понял, что теперь всего этого было мало. Он понял, что трех домиков ему маловато. И тем более таких ненадежных. Он вылез назад, ударившись об угол стола. Некоторое время он размышлял, пристально разглядывая постель. Потом взгляд его стал гулять по комнате, пока не остановился на шифанере. Здесь он прищурился и улыбнулся одной половиной лица: тс-сц!

Это – мысль.

Он распахнул шифанер и уложил всю постель на его дно. Путаясь в валявшихся на полу тряпках, он принес и ватное одеяло. Из шифанера пахло нафталином, пылью и мышами. Фанерные стены гудели.

Шифанер был как дом, как домовина. Как выполненный по совету Андрея Дмитрича-сторожа гроб... тс-сц, по-ол? Он запрыгал на костыле в ту комнату. Прошел мимо пакета, топча тряпки, пальто, платья и шляпки, открыл шкаф. Вполне: там тоже гудели стены и пахло на-

фталином. И никто не скажет, что пренебрег обязанностями. И даже с любовью, а? Он с трудом запихал в шкаф тяжелый куль и утоптал его там, внутри. Запах нафталина шибал в нос, и он его отворачивал. Пакет изогнулся дугой, но влез. Он любовно оглядел уютную внутренность шкафа и закрыл дверь. Полоса продолжалась.

Он заковылял к себе обратно, устремленный к своей цели: прямой и ощутимой, как факт поличный. Звякнул телефон. Раз, другой... Он только отмахнулся: ва-аще... Это кто ж, Наталья? Роза? А может Левицкий? Райка?..

На этом он вернулся к телефону и снял трубку:

– Наумчик!

– Пошла к чертовой матери!

Он бросил трубку и возобновил свой путь. Он устроился с книгой на новом месте и обернулся одеялом. Затем закрыл за собой, плотно, двери шифанера. Отлично. Она там, я здесь, и каждый в своем домике, представьте... В полной тьме он раскрыл книгу. И тут же уснул.

И приснился ему странный сон, будто чей-то знакомый голос, и он узнал его – это был голос Левицкого, начал свой перечень. Но теперь это был не просто перечень, а... стихи. И стихи эти были фактом с поличным, обоснованным и подтвержденным:

– Куда, куда вы удалились, раз, два, три?
и ночи круглые и дни, четыре, пять?
И вместе: ночи + дни – они, шесть, семь
есть сутки. Чтоб они провалились! Восемь, девять, де...
Урзбезы далк, и все невмочь,
счёт слился в тучу и туман.
Пошла ты вон, барсучья дочь!
Ступай, ступай, твой караван!
Мой караван ж – вперед иди,
направо к цели первопутком.
И смех и горе позади
с хвалами круглыми, как сутки.
Я дом себе построил, Джек,
я тоже, Жека, целый век – человек.

Во сне он двинул челюстью – ЖЭК! – и у него выпал зуб с правой стороны. Он выплюнул его, не просыпаясь... Но голос Левицкого укоризненно сказал:

– И ЖЭК – он тоже человек. А значица – по-ол? Ваще тасазать: урзбезы далк.

И тогда, на счете, кажется, тридцать, Ефим Борисович проснулся и сразу осознал – где именно он лежит. И где она там лежит. И остался этим доволен, с любовью. Ибо как же не с любовью, если с ней. Аще вцич зналоп, евалонц щач.

Катились круглые, как морды.
сутки и он об этом не жалел
нисколько. Даже наоборот –
жалел, что быстро. Дорога была самая прямая – в никуда.
Что же тут жалеть, значица?
А вааще, поол? ...он лежал
как колеблемый морской волной
или волной белого тумана,
в тишине и тепле, в нафталине, чтобы не попортиться молью. Он лежал как... сахар,
как белый прозрачный сахар в
стакане прозрачного чая, и
как пух, как сахар таял в
тепле. Что? Брешете. Шифанер
поскрипывает – и довольно:
никаких больше там звуков!
И прочего тоже – не надо. Все
советуют выспаться. Я готов.
Круглые, из двух половинок
сутки – как лицо. Он провел
ладонью по щетине, по морщинам
с любовью... Одна половина –
смеется, другая плачет. Кто там
плачет сутками? Пусть молчит. Значица – урсбезы. Пусть тогда далк,
не жалк. Это факт, его можно пощупать, как зуб. Он пощупал зуб и
не нащупал. И хрен с ним. Сердце

круглых суток – шифанер. И шкаф.
Снова вместе – и снова мы вместе.
Разве это можно назвать – одиночеством?.. Путь идет там дождь,
пусть здесь желтеют пятки – а
я не зря обмочил алтарь отечества:
имею право. Он снова провел рукой
по морщинам: кольнуло. И все-таки
придется вылезти, побриться. Если
не бриться – и подумать страшно!
– это все равно что отказаться от
собственной личности. Все равно
что отказаться от себя. Или он сам
не эти вот морщины? Факт, его можно
пощупать. Все равно что отказаться
от жизни, умереть... Он усмехнулся.
Франция? Чушь. Там это, он повращал
во тьме глазами, устроено гораздо
хуже...

Он с натугой поднялся, толкнул дверцу
шифанера и вылез наружу. В глаза ему
сквозь сомкнутые веки ударило солнце,
льющееся через кухонные окна. Истощились фляги небесные, пробормотал он.
Бреясь, он видел под сомкнутыми веками
разноцветные фонарики и извивающихся
горящих червячков. Бритва зудела над
ухом. Вторая половина суток сверкала,
ликовала, переливалась, как огромный алмаз, янтарный желтый мир – и в нем он,
как заключенная в нем мошка. Горячие
лучи, как волшебные очи, глубокие и нежные, как сверкающая смерть. Грани и ребра ее чистейшие, слепящие, как желтые
осенние листы, как мороз. Хрустят лучи
над нашим городком, который ничего. И
ничего, кроме чистоты в воздухе. Только
звякают веточки, только шелестят облачка, только зудят осенние комарики –

ххьююуберзцы, как бритва над ухом, и пахнет нафталинными яблоками веселая половинка суток. Янтарная природа мира – прозрачна и легка, как укус, и укус болезненный осеннего комарика – до слез обидна ты, янтарная природа-жизнь! Пронизанный лучами-гранями, изломанный, как внутренность кристалла, воздух, и в стекла бьется, воя и распинаясь в страхе и желтом ужасе – осенняя звучная муха. Как смерть, сияет перед ней немытое стекло кухни, как сон. Как ватное порванное одеяло. И она сама, как шарик нафталина. Что? Дождь, гул, туман, фары, огни нашего города, шуршики и визги колес, сквозняки, смог, простуда, раны, комисссии, и сигналы, блеск, сверкание, шипение и взлеты с падениями, удача и нет, мухи с пауками, банки с вареньем с плесенью, и полиэтиленовыми мешочками под сухари, времена года круглого, трамваи и кепки, тряпье, крошки и посуда – все это сверкает и поет, заливаясь светом янтарно-алмазных граней, умываясь чистой водой утренних нехороших дождей, касается пальчиками твоего лба, небритых щек, колючих небри... и это все? т.н. – мне? И это жизнь? Солнце лупит, почем зря, и даже...

Ну – нет, сказал он, отбрасывая в сторону бритву. И полез в шифанер. И уютно обернулся одеялом, попутно затыкая пальцем вату в дырки. И плотно он закрыл дверцу, за которой и осталось это, как его, т.н. назойливое, алмазное, янтарное, урзбезы уберзцы... Он нащупал нафталинные скользские шарики и стал перекатывать их по дну шифанера. Затем выбрал один из них и погладил им свои морщины.

И улыбнулся – нежно и победно, с любовью и скромной надеждой, с гордостью подымая вверх свой узкий птичий

подбородок. А что? Он одержал путь маленькую, но свою победу. А стало быть – имеет право.

Знайте: он есть победитель. ПОБЕДИТЕЛЬ – тс-с-сц! Смотрите на него!

Это зрелище поистине волшебное. Редкое. Поистине – печальное.

И смешное.

Из двух половинок, как сутки.

Как... зад.

Как смерть.

Он тихо засмеялся, захрипел:

– Идиот! Во Франции это делают гораздо хуже!

18.

Шумит, гремит через пару дней после этого город: начальник облздрава Мишкин выдает дочь свою за сына председателя собеса Григорьева. С утра уж много выпито, гости шумят и кричат через стол, роняя на пол куски и стаканы. Невеста с женихом одни сидят трезвы. Весь город собрался, все друг друга знают – стеснятся некого. Слухи и мнения приносятся и уносятся, возникают и тут же умирают, развенчаные. Весело.

Но вот кто-то поминает Ефима Борисовича Пятакова и сразу становится тихо.

– Бедный, – вздыхает психиатр Алексей Иванович. – Не выдержали нервы. Вот слушай после такого, что болтают! А он, значица, любил ее. А тут эта комиссия...

– Это был отличный специалист, – роняет слезу Наталья Семеновна. – Вот уже и наших мальчиков, из нашего класса ЭТО коснулось...

– Жрец науки, – хмыкает Мишкин. – Их всего-то, мальчиков ваших, сейчас двое. А наших – и того, один я. Нас это коснулось тридцать лет назад, дорогая. Впрочем, чего уж тут... А как с его, Фимкиными похоронами? Может, помочь нужно?

– Чему тут поможешь, – произносит Мальцев философски. – Смерть. Не в такой день будь про нее сказано. А ему уже помогают. Я уж и совет давал, как и ему самому.

– Кому давал? – подает голос узнаваемо-неузнаваемый Левицкий. – Снова ему?

– Нет, ему уж не дашь, – соглашается Мальцев. – А вот ей... Жена его приходила, заказ делала. Я ей советовал. Она женщина разумная, в отличие...

– Какая жена? – вскрикивают тут вместе Левицкий с Натальей Семеновной. – Его жена померла раньше него! С этого-то все и началось!

– Я никогда не ошибаюсь, – обижается Мальцев. – У меня в книге записано: Клара Михайловна Пятакова, неутешная вдова. Мне что? Я – человек посторонний. А женщина она приятная, седая...

За столом, не к столу будь сказано, воцаряется гробовое молчание. Только тихонько вскрикивает – ах! – подружка невесты, Раиса.

– Это верно, – нарушает молчание председатель собеса Григорьев. – Она ведь и у меня была. Весьма спокойная особа. Хотя и видно: переживает. Я ей тоже того... советовал. И ва-аще, значица... я хорошо запомнил: Клара.

Левицкий переглядывается с Натальей Семеновной, Мишкин бледнеет. Прекращается звяканье ножей и вилок, даже посторонние гости чувствуют неладное: тяжесть, например, в желудке. Невеста с женихом недоумевают. Подружка невесты пребывает в полном беспамятстве.

– Как же это возможно? – вскрикивает Левицкий. – Не могла она, ва-аще, у вас быть!

– Не могла, по вашему, а по моему – была, – возражает Мальцев. – Она и на кладбище была. Не в такой день будь про него сказано. Мне и сторож звонил, сообщал – все в порядке, значица, уложил. Была, говорю! И подпись в книге оставила.

Ту и вааще: словно тихий милиционер пролетел. Стало, как в шифанере вокруг стола...

– Что бы это значило? – бормочет Левицкий. – Поэзия? Журналистика? Значит, он туда, а она оттуда? Вздор.

– И все сначала? – плачет Наталья Семеновна. – По кругу? Пожалел бы меня.

Но тут вмешивается распорядительный хозяин Мишкин, кричит «горько»: все задрожали, зазвякали, загомонили,

выпили и поцеловались. И все пошло своим чередом. Ну, родился еще один слух, ну, осталась махонькая неловкость – совсем неудивительно, не к слову будь сказано, не к столу, то-есть, сказано про это в такой день, ну, всплакнув невовремя Наталья как всегда Семеновна... Свадьба! Горько! Но весело. Сладко.

Меня вызвали анонимной телеграммой – вторично. Я прибыл на следующий день после свадьбы. Слухи кипели в полную силу. И конечно – мне уж сразу выложили, все и всё. И про то, как лёд в квартире растаял и соседи снизу обнаружили в потолке течь. И как взломали квартиру, и как нашли их в шкафах – каждого в своем. И как засуетились, забегали... захлопотали, всё это мне рассказали.

А после этого – про то, как некая дама, седенькая, коротко стриженая, приличная и пожилая, ходила и тоже: всё хлопотала, добивалась и подписывала. Весь город только про то и болтал. Точнее – за то. Городок, конечно, наш ничего, но только, тасазать ...да.

Я влез в остаточные хлопоты и освободился только к ночи. Только ночью я смог снять телефонную трубку и набрать нужный номер:

– Роза Исаковна? Извините, что так поздно, – сказал я.

– Привет, милый, – сказала она, прерывисто дыша в трубку. – Мне не привыкать: весь в папашу. Кстати, нет слов, чтобы...

Я отодвинул ее дыхание подальше от своего уха:

– Ладно, Роза Исаковна. Этого не нужно. И не обижайтесь: к чему? Звоню же я вот зачем... Скажите, зачем это вы, нет, конечно – спасибо, но зачем это вы, занимаясь этими... моими, собственно, хлопотами, еще раз спасибо... зачем вы назвались Кларой Михайловной Пятаковой, да еще и ЕГО ЖЕНОЙ?

– Пошел к черту! – вскричала она гневно. – А если мне с детства этого хотелось? По-ол?..

И с грохотом бросила трубку.

1983



Леонид ЭПШТЕЙН

«НЕ ЗДЕСЬ ТЫ ЛЮБИЛ, ТОСКОВАЛ, ПИРОВАЛ...»

* * *

Откликнись, если можешь: где ты?!
Как мне искать тебя, когда
Я попаду на берег Леты,
Чья быстротечная вода
Уносит даже отраженье,
Где вместо взгляда и лица
Увидишь мерное движенье
Густого чёрного свинца?

Ни по лицу, ни по одежде
Друг друга там не узнают.
Подай мне знак, откликнись прежде,
Чем боль моя найдёт приют;
Чем я, средь прочих обреченных,
Пройду, задев тебя рукой –
За этой вечной, этой чёрной
Незамерзающей рекой.

ИЗ АРХИВА ПОКОЙНОЙ А.У.В-ОЙ

Ложится лунный свет на жёлтую поляну.
Бормочет человек немыслимую чушь:
«Я больше ни о чём раздумывать не стану
И больше ни за чью судьбу не поручусь».

Наш маленький отряд идёт всё дальше в осень.
Бормочет человек: «Мне нечего скрывать».
Морозы – по ночам. А рация доносит,
Что красные в Уфе и нам несдобровать.

Есть порох, хлеб, табак. Никто пока не ранен.
И не успел ещё никто сойти с ума.
От ранней седины и до могилы ранней –
Огромная, как жизнь, сибирская зима.

ИНТЕРВЬЮ

Как он сносил опалу? Да никак.
И славу, впрочем, тоже – не вникая.
Нет-нет, он не «держал себя в руках»,
А просто... просто в нём была такая
Раскрепощённость и свобода от
Нормальных мерок и обычных рамок,
Как будто бы, всё зная наперёд,
Он не желал играть в житейских драмах.
Простите? Да, она бывала здесь.
Да, мы знакомы. Нет, немного позже.
Нет, он имел в виду Грохольский лес.
А вот об этом я не знаю тоже.
Позвольте, мы – о нём или о ней?!
Нет, просто мне о ней – неинтересно.
Последнее? «Парад живых огней».
Напомните – я покажу Вам место.
Да, я читала. Честные вполне
И добросовестные мемуары.
Одно в них, правда, неприятно мне –
Он предстаёт по ним каким-то старым,

Угрюмым и растерянным. А он, –
Поймите верно, я не претендую
На монополию... – но общий тон
Его души – был не таков. Любую
Нечаянную радость – он умел
Принять как откровенье. Он был весел.
Да, говорил об ужасе и тьме,
Но тьму и ужас он уравновесил
Самим собой. Простите? Пафос был
Не в том, чтоб выжить – в том, чтоб сохраниться.
Нет, в Бога он не верил, но судьбы –
Судьбы страшился. Как же не страшиться?
Что я? Я, как Вы видите, жива.
Да, наше поколенье исчезает.
Такие нас молюли жернова...
О будущем? Оно меня пугает.

СЕМИКАРАКОРСК

В размагнитившемся зное
Есть пустое, неземное
Представленье о покое
Как о доме без дверей.
Вот с ленивою волною
Проплывает предо мною
Судно нефтеналивное,
Наслаждаясь белизною
Трубок, люков – и иною
Алюминьево-стальною,
Запрессованно-сварною,
Дутой, кованой, литою
Бижутерией своей.

Что там с миром и страною
Происходит? Я стеною
Отгорожен, круговою
Обороной ограждён.
Неба зеркало кривое

Отражает лишь чужое
Неживое, мировое
Равнодушие двойное
И кружит над головою
Хоровод пустых имён, –

Словно страшное в смешное
Переходит, словно двое,
Разлучённые судьбою,
Порознь видят общий сон.

Жизнь повисла тишиною,
Хищной птицею степною,
Неподвижною стрелою –
Как описывал Зенон.

* * *

Но Иисус сказал ему: иди за Мною и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов.
От Матфея, 8, 22.

Пусть мёртвые сами хоронят своих мертвецов.
Оставьте дома ваши, жён, матерей и отцов –
Идите за мной. И сейчас же к Нему из углов
Потёк человеческий сброд, угадавший чутьём командира.
И Он посмотрел им в глаза, неулыбчив, серьёзен и строг,
И Он полюбил их за их нищету и порок,
И Он им сказал: Отречёмся от старого мира.

Потом они шли – небольшой, но сплочённый отряд –
По знойной пустыне. И Он говорил им, что яд –
Соблазны мирские, что меч Он принёс и что мир виноват,
Погрязший в грехе. И что дальше пойдёт всё по схеме,
Начертанной Им. Средь голодной, безводной жары
Учил, что недолго таиться и ждать – до поры,
А те, кто сегодня ничто, вознесутся над всеми.

Бруклайн, Массачусетс. Канун рождества.
Попробуем свыкнуться с данностью новой
И не раствориться... Багровый, терновый,
Скрипучий кустарник... Звучащей основой
Струящейся речи останется слово
Младенческой памяти. Бог с ней, с обновой!
С тобою – твой опыт, и боль, и слова.

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ

Как жизнь обозначила линии тока! Не сыщешь конца, не найдешь и истока. Жестоко!

Входи же, снимай пальтецо. Желаешь ли выпить? В наличье – винцо. Ты всё не стареешь и нет тебе срока...

Я в этой трагедии сбоку-припёку, не первое и не второе лицо. И если в ремарках судьбы разобраться, ягнят, так сказать, отделив от козлят, то мне здесь отводится роль Розенкранца (из второстепенных, которых казнят).

Я – чаша с отравой, утерянный перстень, я – спутанный адрес на тайном письме. Короче – её лебединая песня (а разницу в возрасте держим в уме). Но нет розенкранцев отдельно от пьесы (тюрьма с эйр-кондишн и ложей для прессы, но всё остальное – увы, как в тюрьме). Я – гниль декораций и музыки плесень; ружьё, что без дела висит на стене. Случайный гонец с запоздавшею вестью, но дело, я знаю, совсем не во мне. И даже героям пока неизвестно продление логики текста вовне.

И что я Гекубе, и что мне Гекуба?! (Цитата. Здесь «третье лицо» ни к чему). Трагедия – в действии. Пей же свой кубок...

...Твой текст адресован не мне, а ему...

В жестокой борьбе, где нельзя по-иному прорвать обстоятельств стальное кольцо – как мало я значу! Я – флейта, я – омут, я – крыса.

Я – случай.

Я – третье лицо.

Я – тихая фраза для чуткого уха.

Я – кровь на рапире.

Я – третье лицо!!

Трагедия склёпана намертво. Глухо.

...Входи. Не волнуйся. Давай пальтецо.

Что дальше – известно. Недаром, в конце-то концов,
Учились на этой истории сто поколений борцов,
Все тысячи тысяч горячих и чистых юнцов,
В которых душа не погибла под бременем жира,
Все те, кто готов без боязни отречься от старого мира,
Где люди хоронят своих дорогих мертвецов.

И ЕЩЕ

...ещё подумал, что память на голос у нас
гораздо точнее, чем на лицо.
А.Битов

А память на голос у нас гораздо
Точнее, чем на лицо.
И ещё: если чувство перегорает,
То лежит на сердце свинцом.

И ещё: наиболее страшная тайна –
Подтвержденье личных примет, –
Будто некий образ таял и таял,
Оказалось: исчез предмет.

Равнодушней – око, и мысль, похоже,
Заземлённее и скупей.
Только звук проносит мороз по коже
И рождает в сердце капель.

И ещё: глаза не выносят сини
И находят зелёный цвет.
Или – так: нога заскользит по глине
И душа отлетит в кювет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

– Свидание в городе? Что за чушь?
В городе мы – едва
Знакомы. Короче, я не хочу.
В городе, где трава

Отдает бензином, где зреет пыль,
Где не видишь звезд?! И потом:
Мы – обычные люди толпы –
Там, за этим мостом...

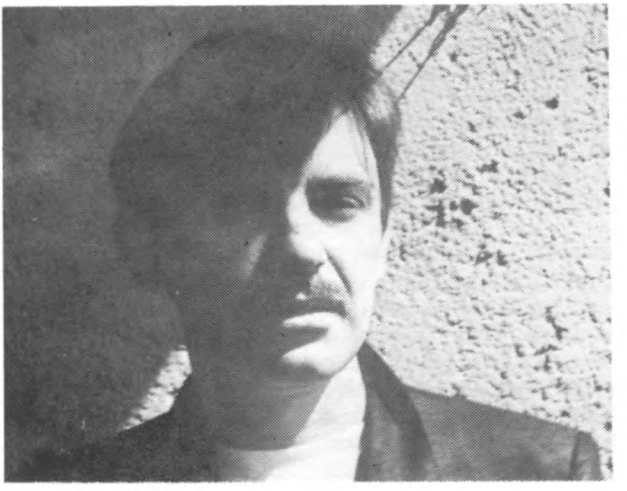
По крыше автобуса бьет вода.
Так и жизнь потечёт – по дню...

– Когда мы увидимся? – Никогда.
– Ладно, я позвоню.

* * *

Бруклайн, Массачусетс. Канун рождества.
Зеленая травка, поющие птицы.
Круг лампы настольной, пустые страницы.
И жизнь предъявляет иные права.
Что б ни было, а позади – перевал.
Здесь веруют в Бога, а пуще – в удачу,
Здесь прячут тоску, а безумья не прячут,
Собаки не воют и дети не плачут,
Здесь всё – по-иному. А как же иначе?
Не здесь ты любил, тосковал, пировал.

Бруклайн, Массачусетс. Канун рождества.
Причудливы стыки, и швы, и изгибы
Сквозящего времени. Значит – спасибо,
Какая бы ни начиналась глава.
Любой поворот – испытание, ибо
Лишь в тождестве духа – залог торжества.
Лишь в тождестве духа – не в жёсткости фразы.
Остаться собой, не страшась перемен.
У времени – сложный рисунок, и фазы
Причудливы. Не раскумекаешь сразу:
Что – кара, что – дар, что – даётся в обмен.



Сергей ЮРЬЕНЕН

ЖЕНА НАПАДАЮЩЕГО

Рассказ

Вернувшись из читального зала на 22-м этаже зоны "А", я обнаружил письмо из города, с которым связывало меня намного больше, чем того хотелось – тогда и там.

Но не от матери.

И не от моей постоянной.

Даже одноклассницей назвать ее приходится с натяжкой, поскольку корреспондент учился в параллельном "Б".

" Я все глаза выплакала, когда мне сказали, что ты уехал учиться в Москву. Здесь словно свет погас. Из школьного журнала – помнишь наше машинописное "Знамя юности"? – я переписала себе на память все твои стихи и даже статью об экзистенциализме. Неужели ты уже тогда был таким умным? Или это я так отупела? "Большая жизнь", куда нас выпустили после школы с речами и фанфарами, оказалась беспросветным разочарованием. Ты моя единственная светлая память. Никогда себе не прощу, что не осмелилась приблизиться к тебе, когда ты был здесь, жил в одном со мной городе, приходил в ту же школу, проходил по тем же коридорам, устремленный к чему-то высшему. Я люблю тебя даже больше, чем тогда. Признание несколько запоздалое. Но лучше поздно, чем никогда...."

Отвечать на это я не стал. Было у меня кому писать в тот город. Кроме того, я ее совсем не помнил – даже смутно. Коричневое платье, черный передник с блеском комсомольского значка, но без лица. Провал.

Пришло еще пару в том же духе.

Я вкладывал их обратно в разорванные мизинцем конверты и бросал в чемодан под кроватью.

Она застала меня дома на каникулах. С этим городом, кроме родителей, меня связывала любовь. Тогда я еще верил, что моя постоянная вырвется отсюда со мной в Москву. Но в тот день я был один: период. Предлог для взаимной передышки. Когда раздался звонок, я сидел в своей бывшей комнате, где, кстати, мало что изменилось, и стучал на машинке – то ли отношения анализировал, то ли ночной кошмар, который должен был кончиться тем, что я тону, завязанный в мешок. Обычно трубку снимала мама, но телефон настаивал; осознав одиночество, я оторвался.

Это была другая – та, на чьи письма я не отвечал.

"И правильно, – снял вину незнакомый грудной голос. – С моей стороны было глупо писать..."

Не опровергая я молчал.

"Мне нужно с тобой встретиться. Если, конечно, ты не очень занят".

Я сказал, что дела в общем есть...

"Просто поговорить! Это очень важно для меня. – Она усмехнулась. – *Очень*. Понимаешь?"

Я уступил. Отчасти из любопытства: в ком же это я мог вызвать столь долгое чувство?

Она сказала, что может зайти ко мне после работы. Она работает как раз напротив моего дома. В магазине "Граммпластинки". Заодно бы она принесла русские романсы, которые в мое отсутствие заказала ей моя мать. Это мне не понравилось – что у нее отношения с матерью. Но мы можем встретиться и в другом месте, сказала она, почувствовав. Ко мне она предложила, чтобы не беспокоить выходом. Да, сказал я. Так будет лучше.

"Как?"

Я придумал самое далекое, самое анонимное:

"На вокзале".

Когда ко мне с улыбкой подошла темноволосая незнакомка, мне стало не по себе. Не то, чтобы не понравилась с первого взгляда, просто застала врасплох. Всего три года после школы, и ей не могло быть больше, чем мне, но передо мной стояла взрослая женщина. Не то, чтобы изможденная, но было видно, что позади у нее рабочий день. Внутренне я отшатнулся, увидев эти груди и лоно. Она была полная. Очень. Толстая, я бы сказал. В школе вроде таких и не было. Перед встречей эта женщина накрасила губы, подвела глаза и втерла под скулами тон.

– А ты все такой же... Ну, здравствуй!

Я протянул ей руку, которую она неумело пожала, повернулся, и мы пошли. Через трамвайные рельсы и по площади, озаренной садящимся солнцем. Идти рядом с такой большой женщиной было странно. Я чувствовал себя мальчиком, хотя даже мама моя была меньше. Взглядывая на нас, люди, наверное, спрашивали себя: "Что их связывает?" В этот час площадь, впрочем, была малолюдной. Мы шли, пересекая косые полосы указателей автобусных стоянок. Один автобус зиял открытой дверью.

– На море идет... – сказала она, имея в виду водохранилище за городом. – А давай махнем?

Чем дальше от города моей любви, тем лучше.

Она просияла, когда я согласился.

Увидев ее сзади, я испытал шок. Но поднялась она с легкостью: большая, но не грузная. Мускулистые икры. Задники туфель натирали ее морщинистые щиколотки. В автобусе было два-три пассажира. Пройдя через весь салон, она улыбнулась мне и села на заднее сиденье. Под ней все продавилось так, что я сразу съехал к ее бедру, передвинулся, но снова соскользнул в чужой и взволнованный запах – мускуса с косметикой. Сидя, она была еще больше. Я ерзал, пытаясь отъехать от ее бедра, а она сидела безмятежно. Ушко с жемчужиной в мочке. Опущенность шеи – как бывает у толстых из-за обмена веществ. Взглянув, она кротко улыбнулась – этакой грустью затуманивая чистую радость осуществленного желания.

Что ж, домоглась.

Пассажиров не прибавлялось, а те, что были, внимания на нас не обращали. Я сбросил напряжение. Когда появилась кондукторша, она расщелкнула сумочку, но я не позволил, хотя сотрудница магазина граммпластинок противилась:

– Ты же студент?

Я взял билеты и сдачу с трешки, выданной матерью (снова на свиданку? Или как это сейчас называется? На *стрелку* ?" – "Просто прогуляюсь..." От этих прогулок мне приходится ванну после тебя марганцовкой! Вернешься когда?" – "Откуда я знаю?" – "А ей что прикажешь сказать? Вдруг позвонит?")

Кондукторша ушла, и дверь закрылась.

Вид за окном поплыл.

– Представляешь? – Она откинулась. – Август на носу, а я впервые на природу.

– Что так?

– Как говорится, быт заел.

– Какой же в нашем возрасте быт?

– Ну... Я же работаю.

– А не учишься почему?

– Так получилось...

Провалилась, наверное. Сочувственно я молчал.

– Разве я не писала?

– Насчет чего?

Вздох приподнял ее груди:

– Ребенок у меня.

От восклицания я удержался. Материнство. *Уже.* Вот оно значит что, а не обмен веществ. Отчужденно я глядел на складчатое лоно юбки. С матерями на свиданье я как-то еще не ходил. В этой жизни не доводилось.

– Нет, не писала.

– Сын.

– Поздравляю.

– Два года. И знаешь, как назван? –И настаивала, глядя искоса. – Ну, угадай?

Я вывернул губы:

– Андрей? Александр?..

Она отвернулась:

– В честь тебя.

Автобус задребезжал под горку, и вместо признательности затошнило. Потом осенило:

– А муж?

– Что? – сказала она неприязненно.

– Ну... Есть тоже?

– Тоже. Пока...

– С сыном сейчас?

Мотнула головой:

– На бабулю оставила.

Из психоаналитических студий на языках цивилизации мне помнилось, что это небезопасно – бабули. Что взращенные бабулями дети становятся фригидными женщинами и мужчинами, что ребенку необходим контакт с родителями, с сексуально активными опекунами. Я вздохнул:

– Ничего. Мы недолго.

– Лично я хоть до утра могу...

Я покосился на безответственные груди:

– А кормить его?

– Так не молоком же.

– А чем?

Она засмеялась.

Предзакатное солнце замелькало с правой стороны. Она вынула и надела зеркальные очки.

– Боже, какой воздух!..

Оправданный гулом шоссе, я молчал. На семнадцатом километре автобус свернул; и мотая и сбивая нас боками, пересек лесистые холмы, где прятались пионерские лагеря, ведомственные дома отдыха и дачи *заслуженных людей,* а потом открыл дверь в тишину.

Бросив взгляд благодарности и еще чего-то, она оперлась о мою руку и соскочила на асфальт.

Мы остались наедине с природой, которую пересекало шоссе.

Перед тем, как его покинуть, она сняла туфли.

Слева сосновый бор, набитый палатками, голосами, дымками вечерних костров, справа вместе с нами поднималось рифленое поле с увядшей ботвой. Смесь песка и хвои под ногами. Время от времени меня толкало ее бедро.

Из-за гребня послышалась песня:

Мы идем по Урутваю,
ночь хоть выколи глаза!..

Сначала показалась пара вечных любовников пионерского прошлого, физрук с пионерзажатой, секундомер на волосатой груди и растираемая в пальцах ромашка, а затем вывалил и пропылил, обходя нас с обеих сторон, пионер-отряд – девочки с наглядными вторичными признаками, а за ними шла шайка драчунов, срывающих голоса:

Топай, путник, осторожно,
Нас подслушивает лес,
Умереть всегда возможно,
если в джунгли ты залез!

– Соси банан тропического леса, – сказал нам в спину хулиган из хора, но обернувшись, я увидел только удаляющиеся затылки.

Нас поймают папуасы,
будут жарить над костром!
Будут кушать наше мясо
и закусывать ребром...

– Плакать хочется, – сказала она, глядя в зеркальные очки.
– С чего вдруг?
– Так.
– Надеюсь, ты вышла не за каннибала?
– Не знаю. Может быть.
– То есть?
– Да нет, конечно. Он тут ни при чем.
– А кто при чем?
– Ни кто, а что.
– А что?
– А вообще. Не понимаешь?

Открылась поверхность большой воды, которая блистала. Перевалив гребень, я сразу набрал в сандалеты песка. Путь вниз пересекли два запоздалых пляжника. Во "вьетнамках" на босу ногу, в плавках и наполненных ветром рубашках они спешили сдать тару, вприпрыжку унося вдвоем авоську, набитую звоном пустых бутылок.

– А давай выпьем, а? Хочешь? Плохого вина?

Отразившись в ее очках, я глянул пляжникам вслед:

– Закрывают уже.
– Мы успеем!

Она меня опередила. Бросив туфли, понеслась что есть мочи к сосняку, из глубины которого смутно просвечивал синий киоск.

Невольно заглянув вовнутрь, я поднял пару щелкнувших туфель. Из левого поблескивало золото стершихся Эйфелевых башен. Спустившись на берег, я уронил их, потом, испытав угрызение, составил вместе. На мне было то, что могло сойти за плавки – шерстяные трусики, еще школьные. Не двойные, но в обтяжку,

маскировочная функция которой все еще в силе, хотя нам и не 17. Я разулся, разделся, подтянул эту функцию и пошел в воду, которая была теплой. Я уплыл далеко – где прохладней. Когда я повернул, моя спутница, обняв колени, уже посверкивала очками на пустом берегу. На плаву я страдал от непорядка спереди. Торчащий эффект. Как от холода у мальчишек. Нащупав ногами дно, я поспешно привел под водой все в порядок и пошел к ней, бурля. Она сняла очки. Смотрела она так, будто из искусственного моря выходил по меньшей мере Аполлон. Нахмурясь, я перепрыгнул кайму из водорослей, где блестели дохлые рыбешки. Зачесал назад волосы и стряхнул воду с рук.

– Странно...

– Что тебе странно?

– Первый раз тебя вижу вот так.

Мокрым задом я сел на песок и уперся ладонями.

– Ну и как?

– Такой юноша...

– На ладан, – сказал я, – та юность уж дышит.

– Все занимаешься культуризмом?

– Бросил.

– И правильно.

– Почему же? Готовил вам – знаешь? Атлета. Настоящего мужчину.

– Зачем они нам?

– Как же, как же.

– Не веришь? За настоящим я замужем.

Я помолчал.

– Офицер?

– Не совсем.

– КГБ?

– С моей страстью к поэзии? Что ты...

– Армия тоже не большой меценат.

– В армии он формально.

– То есть?

– Играет за нее.

– Футболист?

– И не просто, а *Кузнецов*. – Она посмотрела. – Тот самый.

Я пожал плечами.

– Неужели не слышал? Центровой был.

– Был?

– В Москву уезжает. Купили.

– Кто купил?

– Клуб. – Она усмехнулась. – Центральный.

– И ты с ним в столицу?

– Испугался? Не бойся. Купили без нас. – Она разогнулась. – Эх-х! Окунуться охота, а купальника нет. Впрочем, зрителей тоже...

– А я?

– Ты не в счет.

Воздвигнувшись надо мной, она растегнула "молнию" на бедре. Втягивая незагорелый живот со впадиной у пупка, стащила юбку.

Она была в белых трусах. С проступавшим курчаво и смутно рельефом лобка. На белом искрились пружинки, пронизавшие ткань. Поймав ее взгляд, я подкатил бутылку и перенес внимание на ярлык. Но ей шла нагота. И природа. Проводив ее взглядом, я откинулся на песок. Неподвижно тлели перистые облака.

Она вернулась, чернея в соответствующем месте так, что мне пришлось бороться с глотательным позывом, отчего голос мой сказал по-жлобски:

– Красивый лифчик.

Она тут же ссутулилась, отлепляя ткань со своих молочных желез, чтобы, возможно, не шокировать меня их недевичьим видом – пупырчато-темными ареолами вкруг потерявших невинность сосков.

Капли стекали по животу и к коленям.

Она огляделась.

– Поднимемся в ельничек?

Я натянул брюки и поднял бутылку.

Истоптанный песок уже померк.

Совсем юный, ельник был ей по плечу, но такой густоты, что под щекоткой зеленых лап она издала стон – будто гармонь на басах растянули. Потом обернулась:

– Идем...

Выйдя на полянку почище, она сложила все на песок и, доверительно глядя, завела руки за спину.

Я отвернулся к закату. С поверхности водохранилища исчезали последние блики. В грудь мне упиралась хвоя, к которой я ритмично прижимался, лаская себя иглоукалыванием. Откапавшее за спиной белье расправлялось на еловых лапах. Шелест, возня с "молнией". Полунасмешливое: "можно".

В полузастегнутой кофте она сидела на песке. Обдирая бутылку, зажатую белизной бедер.

– Плохое вино. Как и было обещано.

– Зато крепкое.

– Разве? Черт, оно с пробкой...

– Дай.

Она вынула ключи – не иначе от семейного дома. Английский подошел, но дальше застряло. Порывшись в сумке, она протянула алюминиевый гребешок с ручкой длинной и узкой. Я присвистнул: "Стилет! Пользуешься успехом на улицах?" –"А ты думал?" Пробка упала, вытолкнув запах хмеля. Осмотрев горлышко, я протянул ей бутылку. Она пила, упираясь в песок растопыренными пальцами. Потом – в глазах поволока – смотрела, как эти "чернила" пью я. Я поперхнулся, и она похлопала меня по спине, а после – "можно?" – вынула из губ сигарету. Она затянулась, как это делают некурящие девушки перед тем, как пойти вразнос, и воткнула сигарету в песок.

– Поцелуемся?

Сердце мое застучало – но не весело. Нет. Я выпрямился, а потом поднялся на колени – ей навстречу. Завел руки ей за спину и приобнял, всем существом испытывая протест. Спина была

плотная, грудь свою она беспощадно расплющила об меня, одновременно пробивая мне в рот свой язык. Я уступал, хотя все это было чужим – кожа, и воспаленные мягкие губы, и зубы, и привкус портвейна в слюне. А главное, этот напор, на который – вопреки моим чувствам и их отрицая – однозначный мой пах кулаком ей вдавился в живот. Почувствовав этот факт, она загудела сквозь ноздри. Стон был животный. В том смысле, что рождался из чрева. И в нем было столько победы, что я оторвался. Отвернулся, вдохнул через рот. Хотелось вытереть рот, но я боялся оскорбить ее, тяжело дышащую. Давая губам обсохнуть, я отпал и заложил руки под голову. Небо погасло. Реяли ласточки. Глянув украдкой на вводящий в заблуждение мой везувий, она наклонилась вполголоса:

– Что с тобой, дорогой?

– Вино.

– Ударило в голову?

– Ебнуло.

Она погладила лоб мой и волосы:

– Милый ты мой...

Мне стало дурно от этой любви. Я закрыл глаза, сникая во мраке не разделимой с ней правды. С удаленных холмов донесся пионерский горн, сзывая мое отрочество на вечернее построение. Именно в этих местах было сыграно раз в футбол. Единственный в жизни. Сборная штатского лагеря против лагеря военного округа. Мы играли на их поле – профессиональном. Меня поставили на ворота. Стены не помогали, и в конечном итоге нас разбили вдребезги. Но гол я не пропустил. Свой первый, и он же последний. Штрафной был удар. Я отбил. Вернее, штрафным тем отбили мне гениталии. Кто? Смутно возникают мускулистые ноги в шерстяных носках и китайских кедах. Еще я вспомнил твердые, медальные очертания лица, которые меня поразили в том подростке – капитане. Вот он на фоне сплоченной команды сыновей военнослужащих под вой и визг их дочерей небрежно подбегает к мячу – в одиннадцати метрах от Ахиллесовых моих яиц.

– Кузнецов твой...

Она отпрянула:

– Что?

– Отец его, случайно, не военный?

– Откуда ты знаешь?

Я открыл глаза.

– Полковник, – сказала она. – Но в отставке. А что?

– А в лагере Военного округа твой Кузнецов не отдыхал в младые годы?

– Понятия не имею.

– "Красная Звезда" он назывался. Без затей.

– Не знаю. "Красная Звезда"? Нет. Никогда не говорил.

– А вообще, о чем он говорит?

– Кузнецов-то? Да ничего интересного. А почему ты спрашиваешь?

– Просто так.

– Мы как-то, знаешь, и не говорили. То он на сборах, то на встречах. Ссорились только. Когда наезжал.

– Из-за чего?

– Да ну! Разводимся мы с ним.

– Серьезно?

– Заявление подали.

– А потом?

– А что потом? Мать-одиночка.

В бутылке плеснуло. Она сделал несколько глотков и ввинтила обратно в песок. Повернулась и легла. Подмышку мне лицом.

– Такой юный запах. Зеленый-зеленый...

Созерцая ласточек в темневшем небе, я молчал. Жена нападающего жарко вдыхала мою подмышку, говоря, что совращает младенца, – такое у нее чувство. Она прижималась, выдыхая. Массировала мне коленную чашечку, ища какой-то нерв. Ногтями вела вдоль бедра. Кроме печали, я ничего не испытывал. Она

– Что нибудь не так?

В этих глазах я видел, что *не понимает*. Не понимает, что *все*. Что все не так. Кроме, может быть, ласточек.

– Ты... не из-за него, надеюсь?

– Нет.

– Никакого значения он для меня не играет.

– Роли.

– Что?

– Не имеет значения, но играет роль...

– Никакой! Ты играешь. Один.

На меня дышала страсть, о которой я только читал. Огонь желания. Тусклый, угрюмый. Не весело-озорной, не блестящий зелено-голубыми глазами моей постоянной (у которой период), а сумрачный, душный, портвейный. Я уперся локтями в песок, и она освободила мне небо. Я поднялся, она за мной. На лапах белел ее лифчик. Он не высох еще, но я снял и подал.

– Красивый, – сказал я при этом.

– Сувенир...

– Да?

Она сняла мне на руки кофту. Стоя с голой грудью в сумерках, она тянула время, проверяя меня косыми взглядами, но наконец повернулась спиной и свела мне лопатки. С усилием я застегнул.

– В память о товарищеской встрече с командой ФРГ.

– Он там был?

– А где он не был...

С темной хвои она сняла трусы, целомудренно при этом на них не глядя, и, поколебавшись, сунула в сумочку – потаенным жестом.

– Любит все же, наверное, – высказал я. – Раз заботится.

– Когда это было? Он нам давно ничего не привозит. Даже сыну. Ну а мне... Твоих размеров нет, говорит, на Западе. Все деньги на журналы тратит.

– На какие?

– Ну на эти. На шведские.

– Никогда их не видел.

– Разве?

– Никогда.

– Приходи, покажу. Он с собой их забрал, но пару я стянула.

– Зачем тебе?

– Так. А в те, что забрал, клея ему налила. Бэ-Эф два. Вместе с бабами пусть разрывает.

Я засмеялся, а потом сказал, что в браке я себя не представляю.

– И не надо. Тебе особенно.

– Почему?

– Грязь одна только. Ты же Поэт.

Так и сказала – с заглавной.

– Был...

Остановилась как вкопанная:

– Неужели ты бросил?

Я успокоил:

– Перешел на прозу.

Но просьбу дать почитать отклонил.

К остановке мы возвращались через бор, населенный островками костров, которые мы обходили, держась в тени.

Хвойный наст пружинил и скользил под подошвами, но она шла босиком и наступила на шишку, может быть, нарочно, потому что в результате мы сели на пень, и допили портвейн, и поцеловались снова, но она опять начала истомленно дышать, и ноздри мои вздрогнули на сырой запах, который при этом стал подниматься у нее из-под юбки, запах пляжной кромки, границы, которую я отказывался переходить, несмотря на настоятельные требования своего естества, к которому она взывала прикосновениями, в ее случае матери, пусть и чужой, показавшимися мне непристойными, хотя, впрочем, возможно, был то всего лишь вопрос габарита; так или иначе, я вывел ее на асфальт.

По пути обратно в пустом и ярко освещенном автобусе мы молчали по-разному. Вынужденно толкая ее, я ощущал безмятежную неколебимость, испытывая при этом угнетенное томление, бесконечно разлагавшееся во мне на составные виновности, каждое со своей саднящей стрелкой – по отношению к ней, истекающей, по отношению к моей постоянной, которой я, как ни крути, а изменял, пусть и сам того не желая, пусть формально, хотя тут был довольно темный момент, а главное перед самим собой, еще раз доказавшим... Что? Разве я не вырвался отсюда? Из всего миллионного города один я и вырвался – в центр мира. В отличие от погибших своих одноклассников оказался способным на самое трудное в мире – оторваться от матери. Это просто каникулы, вынужденное возвращение, но фактически, но в перспективе судьбы я плаценту порвал.

И все равно было тошно.

На вокзале я сказал:

– Ну что ж...

– Нет! – сказала она. –В ресторан. Я тебя приглашаю? Ну, в кафе? Мы же так и не поговорили...

– О чем?

– Как о чем? – и эти кулаки, прижатые над грудью. – Я должна тебе столько сказать!

– Поздно, – сказал я, – в ресторан.

– Тогда в гастроном!

– Не горит, ты же видишь.

– А в центре горит! До одиннадцати! Просто сухого возьмем и...

Я сел в такси, которое она остановила.

В центр не хотелось мне отчаянно, центр кишел вероятностью встреч с непредвиденными последствиями для основного сюжета (из которого я выпал на естественный период), и вполне предвиденным позором. Для центра была она не компания. Эта жизнь уже отбросила молодую маму на периферию, в быт, в потемки. На свету ее видеть было невыносимо. Настолько, что я отказался подняться с ней в винный отдел, оставшись в тени между газовым излучением лип. Мимо по проспекту Ленина цокали юные тени, оборачивались белыми лицами, а я уводил глаза –продавши свою юность за бутылку. Вот этой тете, сунувшей под кофту пару надувных шаров.

Бутылка в папиросной бумаге со жгутиками на концах.

– Коньяк взяла.

– Зачем?

Она вздохнула.

– Без пробки...

Мы поднялись к Центральной площади. В ожидании зеленого света взгляд скользнул по щитам, которые воздвигли на баллюстраде парка. Это была гастрольная афиша. Заезжий театр предлагал этому городу Софокла и Арбузова: "Мой бедный Марат" и "Царь Эдип". Я фыркнул, она повернулась.

– Что?

– Мой бедный Эдип.

Мы пересекли проспект и сразу же налево улицу Маркса. Ступив на тротуар под этими афишами, она сказала:

– Иногда я тебя совсем не понимаю. Но мне это нравится, ты знаешь?

– Что ж тут понимать? – смутился я.

– Даже твои школьные стихи.

– Ну это уж, – я перешел на прозу, – два пальца...

Из троллейбуса мы вышли на предпоследней. Дальше была уже обсерватория, а здесь светлела колоннада былых времен. Несмотря на помпезный ее вид, за ней был несерьезный сталинский аттракцион, дань победившему народу, возведенный в знак того, что к началу 50-х жить стало лучше, веселей: Детская железная дорога.

Время, однако, было не детским.

Перрон был пуст.

Странно, что на эту ночь никто не занял тут единственную скамейку. Она стояла у запертого окошка билетной кассы, имея защищенный вид – внутри буквы "П", в форме которой был вокзал.

Мы вошли и сели.

Как в театре, перед нами был открытый космос, но потом на заднем плане я различил под семафором мерцание узкоколейки и черноту Серебряного бора, к которому рельсы уходили вправо и, завершая кольцо, возвращались слева к нам.

Поезд зиял отсутствием.

Она зашуршала бумагой, оголяя бутылку. Сняла полоской станиоль и поддела ногтями полиэтиленовую пробочку. Я вздохнул и взял. Выдохнул и, опрокинув голову, стал вливать в себя, как алкоголик. Я сидел и глотал, пока не ударило в мозг.

–Конфетку?

Я замычал, мотая головой.

Когда она оторвалась, в бутылке было меньше половины. Она развернула конфетку, уронив скомканный фантик между брусьями этой садовой скамьи. Поставила под нее бутылку на асфальт, а разогнувшись, впечаталась в меня.

–Ничего я не могу с собой поделать. Ты понимаешь? Страсть...

Я ответил на липкий поцелуй, немедленно и неохотно возбуждаясь болью, отдаленно напоминающей последствия удара футбольным мячом. Она стонала "А-ах! а-ах!".. Она вынула у себя из-за спины мою руку, отстранилась, рывком раскрыла кофту, вывалила грудь и прижала к ней, необъятной, мою ладонь, которой я стал оглаживать молочную железу, сначала даже с пиететом к весу и функции, но она вцепилась мне в руку, требуя сжимать, мять, причинять себе боль, от которой она застонала чаще, а потом вдруг повалилась на спину, увлекая меня тяжестью и силой рук. Голова ее столкнула сумку, которая шлепнулась в тень. Я вдруг понял, что возлежу на ней – высоко над асфальтом. *Must be like getting on top of a hay mow. Наверное, как влезаешь на стог сена,* прозвучала в голове фраза из американского рассказа, который никому не нравился, кроме автора и меня. Но это было только первое ощущение. Она повернулась подо мной, устраиваясь поудобней в этой выемке. Заодно задрала юбку и увела из-под меня свою правую ногу, согнув ее в колене. Открывшееся с изнанки бедро ослепило белизной. Она дергала меня за рубашку, за пояс, подтаскивая, а я видел зарезанного глиссером дельфина, которого раз после шторма в Сочи выбросило на берег. Я провел ладонью по этой атласной белизне, и женщина застонала, выгибаясь, и взвела другую ногу на выгнутость спинки. Эта нога меня добила. Глядя на нее от тускло блестящей туфли до колена, до невероятного бедра, обнаженного до самой границы волос, до бело-черного контраста, я чувствовал уже только торопливость своих расстегивающих пальцев.

Уже начало проникновения, от которого вздулось ее горло, подтвердило мамину правоту. В свое время мама поведала мне закон из их анатомии. Обратно пропорциональный в смысле, что у худых широкое и длинное, у толстых же наоборот. Я входил, как свеча оплывает. Потом, почувствовав изобильную мягкость волос, уперся в лобок, как в брустверь, в то же самое время скользнув внутри как бы по шарику, по круглой твердости. Она стала кричать, запрокинув для удобства голову за изголовье скамьи. Я глянул в сторону, убеждаясь, что пассажиров нет.

Вынул и снова вошел, но уже трезвея от этого крика. Вынул и не вошел – поскольку крик был триумфальный. Непобежденный, я отвалился к изножью скамьи, на ребристую спинку. Чтобы не испачкаться о собственный член, расстегнул, распахнул рубашку. Она пребывала разъято – в ожидании. Прерывисто я вздохнул. Выпустил дух перегара. Возмущенно член мой подпрыгивал и шлепал о живот. Поезда все не было. Было черно и пусто за краем перрона. Боковым зрением я увидел, как ее нога отделилась от спинки. Решительно. Я подумал, что она садится рядом, но одним рывком она оставила скамью и пала на асфальт. Все еще с рукой, закинутой на спинку, я увидел, как мне разнимают бедра, подходя на коленях по асфальту, нечисто-шершавому. Она убрала с лица спутанные волосы, и я осознал. В описываемое время сие было сферой интимности высшей и сокровенной, этим мы занимались с моей постоянной, у которой период, но вовсе не так – без колен на асфальте. Возмущенно я отпрянул. Мы стали бороться. Ртом и рукой она хватала этот проклятый член, а я отводил ее попытку, сдерживаясь в рамках приличий. Оттаскивал за запястье, пытался за виски разогнуть упрямо согбенную шею, "Ну я тебя прошу", – повторял я ей в затылок, а она лепетала, мать, назвавшая сына моим именем, что ничего, сейчас все будет, только ты расслабься: ведь не съест?..

Я оттолкнул ее. Вправил в обтяжку шерстяную, застегнулся и встал, ощущая на своем лице порицающее выражение.

– Разве ты не любишь?

Она сидела там, где отвалилась. Кофта расстегнута, груди наружу, юбка над бедрами. Задом, большим и голым, на асфальте.

– Я думала, все любят. Мужчины...

Я отогнал картинку: она со своим нападающим, который при этом листает просветительский журнал.

Я заправил рубашку.

– Не в этом дело.

– В чем?

В том, ответил мне внутренний голос, *что матери в рот не берут*. От этого я отмахнулся:

– А-а!..

И приподнял за влажные подмышки. Но она силилась к асфальту – материнским центром своей гравитации.

– Я, по-твоему, развратная?

– Нет. Вставай.

– Просто мне хотелось, чтобы ты не забыл...

Я бы никогда ее не поднял, если сама бы не надумала встать. Я поднял руку, но раздумал отряхивать пыльную полноту ягодиц. Одернул юбку и сел. Исполнившим долг блюстителем порядка в этом мире. Господи, тошно же было.

Она села рядом и скрестила руки.

– О-ой, – издала она так, что у меня заныло сердце. – Ой-ё-ой. Я все испортила. Ну, дура! *Я все испортила.*

Закрыла лицо и зарыдала.

Я вынул согнутую сигарету.

Я сломал спичку и вынул сигарету изо рта:

– Не надо... – И почувствовал, как обожгло глаза. – Ну, я тебя прошу, Наташа!

Обещая прекратить, она кивала. Слезы текли сквозь пальцы и по рукам, и, отрываясь, соскальзывали по ляжкам в желоб сплывшейся между ними плоти. Колени она себе свезла. Я достал бутылку и облил эти ссадины коньяком.

– С-с-с!.. Что ты делаешь?

Я почувствовал себя законченным садистом.

– Дезинфецирую.

– Но это же армянский! – Она вытерла лицо. – Давай лучше допьем.

Допив, душа потребовала разбить ее со звоном на весь мир. Я взялся за горлышко и замахнулся, но она сказала, не бросай: "Оставь старушке", – и я приставил 12 копеек к чугунной лапе скамьи. Она мне казалась взрослой женщиной, но на самом деле мы были ровесники той летней ночью 1970 года в Менске – столице одной из западных республик Союза ССР. Мы еще способны были думать о бабках, собирающих наутро стеклотару, не говоря о том, что были набиты комплексами, которые казались окончательными, поскольку мы не ведали, что станет с нами в перспективе жизни, а сейчас вот я не понимаю, что именно определяло меня. Почему расстроил любящее сердце. Зачем крутил динаму? Кто был тот я – который мог только так и не иначе? Который, еще не вырвавшись, еще только толкнувшись, открыл список долгов, преследующих и в загробной жизни?

Глядя в ночь, она произнесла:

– Значит, ушел наш поезд...

С таким оттенком вопросительности, которым можно было пренебречь, и я лишь затянулся сигаретой, имитируя отчасти как бы вздох.

– А я его найду!

Подхватив сумочку, она порывисто поднялась, пошла к краю перрона, заглянула, села на этот край и спрыгнула.

Первым чувством было раздражение: тоже мне, Анна Каренина! У края я остановился. Я был пьян. Не настолько, чтобы свалиться на рельсы, но все же.

Тень далеко уже ушла, и уходила дальше. Я шел вдоль края перрона, взывая к ней гнусным от фальши голосом. Но тень ускользала так быстро, что я удивился, но потом она вышла к светофору, и я увидел, что – туфли в одной руке, сумочка в другой – уходит она не по шпалам, а по рельсе почти бежит, причем не оступаясь.

Я вернулся на скамью. Этот путь я знал. Однажды в нежном возрасте я описал его с красивой и нарядной мамой, которая, по-моему, в то воскресенье даже натянула батистовые перчатки. Вагоны Детской железной дороги им. И.В.Сталина были открытые, такие платформочки с проемами входов в купе, в которых скамейки, слишком низкие для мамы, были обращены друг к другу лицом, так что ей пришлось увести колени в сторону и, напрягая мускул, так держать всю эту дорогу, которая , как настоящая, постукивала под нами стыками рельс, над которой поднимался

веселый семафор, которая, описав кольцо с тоннелем Серебряного бора посредине, подкатывала обратно к станции, на которой сейчас сижу только я, роняя под ноги очередной окурок и морщась от болевых усилий по затаптыванию огня, ибо яйца мои – как снова тем мячом ударенные.

Мама уже давно должна вернуться.

Ее все нет.

Я жду.

Совершенно затекшего в эмбриональной позиции, с первыми лучами солнца меня разбудил божий одуванчик – в галошах на босу ногу, в пыльнике, подпоясанном посылочной веревкой, и с распертой кошелкой:

– Бутылочку можно, сынок?

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «СТРЕЛЬЦА»:

Проза: Георгий Иванов, Юрий Мамлеев, Дмитрий Савицкий, Леонид Коныхов

Поэзия: Анри Волохонский, Елена Дунская, Александр Миронов, Ирина Муравьева, Генрих Сапгир, Михаил Сапего

Эссе Василия Аксенова и Ольги Седаковой

Воспоминания Беллы Дижур

Интервью с Сергеем Голлербахом

Рецензии на новые книги



Марина ТЕМКИНА

НОВЫЕ СТИХИ

Песенки Офелии

1.
Что, милый, выходя во двор
и видя веток шевеленье,
с листвой вступаешь в разговор
за человека неименьем...

Что, милый, прислонясь к стене
и глядя снизу в поднебесье,
печалишься не обо мне,
не ведая, что с вами вместе –

с тобой, с листвой и со стеной,
с окном и с незакрытой дверью
над всем взошедшею звездой
я настаю и в чудо верю.

2.
Меж нами полсвета сейчас.
И ночь, звездным шелком струясь,
несет балахона поток.
Еще не светлеет восток,
уже не темнеет у вас.

Луны золотая хоругвь
задержит процессию вдруг,
и времени замерший миг
нас взглядом перекрестит
на точечке звездных подруг.

И стронется ночь, как река,
как свадебных шествий толпа,
небесному пологу вслед.
– С тобой не расстанусь, мой свет.
Идут. И по свечке в руках.

1988

Сонет: В обратном направлении

На рассвете, когда в одиночестве Ангел с крестом
появляется тихо в дворцовом окошке одном,
словно пункт наблюдательный Александрийским столпом
с караульным поставили, там мы себя и найдем.

Пусть не в близости явной, но все же и не вдалеке,
не в колонне других, а вдвоем, без вещей, налегке,
прошатавшись всю ночь, направляемы жаждой к реке,
то ль походкой самою, гудящей от стен в столбняке.

Как в объятия пасть с мускулистой водой, что не врет,
что скучала по мне, словно целую вечность, не год
(тут мой друг, доедающий жизнь, словно свой бутерброд
на скамейке, где площадь и садик музейный, уйдет),
но по города телу скучает мое естество,
ненадолго останусь, лет может быть только на сто.

Сонет: на мотив английских метафизиков

К лицу привитым глаз двойным дичком
...разрезом с косточкой... хрусталиком, вошедшим
в трефную мякоть... белым почтарем,
под веко, в маленькое небо, залетевшим
.. догадкой радостной иного бытия,
оскресшей не для бренности конечной

... так смотрит, словно я сама себя
заметила впервые... летней речкой
младенчески-разумной, что родник
за ручку в океан препроводит...

Всей дельтой кровеносною во мне,
всем деревцем, во мне еще растущим,
костей тоскою по сырой земле,
так по тебе я... далеко живущем.
1988

На тему "Воронежских тетрадей"

1.
Мы те, последние, кто видел стариков
с печальными совиными глазами,
тех похороненного века чад и вдов,
что нас ответным взглядом отрезвляли

как маленьких: и мукой и хулой,
пропитанностью кухонь выживанья
и тем, как врос веселых детств устой
в хребтину взрослого страданья.

Мы те, в чьи их глаза в последний раз,
предсмертному обрадовавшись гулу,
отведав жизни распоследний час,
пред потуханьем вечным заглянули.

Туда, не знаю сам куда, вослед
тем стреляным , что на живую нитку
цепляли прочных дум словесный хлеб
и превращали в корм ушной улитке.

В их сердце, в мозг – меж этими двумя
натянутая струнка, как устройство
родного голоса, заложено в меня,
как мирозданья код:"Живи, не бойся".

2.
Книги пахнут крысами и складом,
затхлой гнилью земляных канав,
страхом крови, портвешком помады,
потом каторжанина обдав.

В топке раскалившегося мозга
шум раскочегаренной печи.
Череп. Тяга в дымоходе. Воздух
просочился: речь произнести.

Перенос эпитетов смертелен.
С костью качества разведены.
Мякотью словесной, словно телом,
как в войну солдатика, спасти.

Пересадка клубней в грядках строчек,
саженцев, хранимых в закутке,
корневых запасов, твердых почек,
неприкосновенных в языке.

Почву разрыхлил трудяга-лемех,
ножик наработался кривой,
разрезая связки предложений,
ток зерна озимо-горловой.

Языком глухих, немых и прочих,
первобытно-древнего костра,
слипшимися комьями ворочать
смыслов, прорастающих века.

3.
Я еще ненаписанное говорю наизусть,
не в словесной муке, но в молчании клейком побегов
обнаружив осмысленнейшую не суть,
но для сути извечной кормушку проведав.

От щедрот золотой голубятни в крапиве взросла
нерасчетливой дылдой в домах, зарифмованных тесно,
где как будто не вспомнить строку и ни голос отца,
где глядит с прозорливостью Истолкователь небесный.

Пробираясь внутри зеленеющих прутьев и жил
то ль к теплу, то ль к источнику смысла и света,
на ходу создавая из гласных словам хлорофил,
обрела, расклевав, алфавитные крошки и клетки.

Так и дятел сердечка морзянку об клетку забьет,
подключаясь всем телом к кровообращению века,
что в молчанку играл на полях площадных нечистот,
переписывал вставочкой ордер, чтоб взяли калеку.

4.
Стихотворенье, город-государство,
вселенную, чтоб жить, сооружу,
чтоб восходить и чтоб в Аид спускаться,
и воцарять как нищий на пиру.

Хозяйствуем: пенька и жгут – все "в се́мью".
Для каждой сгнившей щепки свой учет
над океаном, что облапил землю
и тело вздыбившееся не отдает.

Им завладел необоримый Эрос,
подталкивающий, как изнутри
тем непочатым краем ритма древних,
что письменности знак изобрели.

Клокочет слог. Согласные дробятся.
Слои геологических пород
сродняются, сместясь, в другие братства,
как новый династический народ.

Ткань бытия, когда пробежка ветра
над городской бессоницей ночей
чугунным эхом, каменною меркой
распуталась, тогда хватай скорей

все, что дают, как скопидом, и властвуй
простолюдинами словесных форм,
с мещанским гамом поддувая в раструб,
Иерихон напоминавший рот.

1987

Три связанных между собой стихотворения

1.

Растерявшихся связок молчанье, то ли шёлк теноровый,
с языка вместе с вдохом воришкой сорвавший и слово
самой царственной кражей: любови чужой присвоеньем,
не смутившейся в голосе – скрипом отмычки – ни в призвуке
пенья.

"Все со мной происходит, что написано в книгах", – сказавший
посмотрел, словно небо глядит, безответно и тяжко.
Кто ты? что же нам делать при этаком зреньи, двум зрячим,
как и первые те, наготы своей райской не пряча.

Человек начинается с за, он не может быть против
власти фраз нерешительных из-под ребра, этих азбучных точек
приложения уст терпеливых – труда без конца, без начала,
что б там жизнь о бессмертии сердцу об стенки внутри ни
стучала.

В милом нет повторения. – Милый, толпою поникшею тучи
в них стоящую влагу сдержали разбродом плакучим,
крик, проглоченный в детстве, в седьмом сберегается небе,
где себя мы не знаем, никто – из двоих нас – там не был.

17 авг. 1988

2.
Звуком, словно пытается скрыть от себя самого:
эти мысли, как музыка, их не сказать словами,
все слова чужаки (нараспев произнесено),
лишь "люблю" разрешенное слово одно между нами.

И тебе не послышалось: грохнет парадная дверь
разработкой стиха городского "внаем не сдается",
и щенячий скулеж, да и попросту глазу поверь,
как пойдешь за дровами в том детстве в дворовом колодце.

Безотчетно гляжу: заколоченный на зиму вход
в передвижке размытой, где крутит кино поднебесье,
у любви есть предел, то ль мостки обрываются строк,
то ли лесенка рифм из тобою припомненной песни.

Бултыхнется светило в те прочерки, где полынья,
разлетается пух и перо, взбивая постель брусчатки,
и всем телом месяц двенадцатый на меня
навалился, кусая в сердце, как бешеная собака.
1 дек. 88

3.
Любовь сочиняет язык, обороты речи,
понятия разбирает: приставка, суффикс,
препятствия устраняет внутри словечек,
еще не стоявших рядом, став, неразлучных.

"Бывает любовь", – узнавшему понаслышке
сама, сих будучи чувств неумелый податель,
пишу, а порядок слов в предложеньи вышел
так сжат, словно повторивший слитность объятья.

"За что я люблю", – не находит себе объясненья,
лишь сыщутся сами собой из запасов словарных
на свет извлекаемые нежноротостью всею
слогов, как двойняшек, аукающиеся пары.

Ты разные знаешь, не существовавшие в мире,
от недосыпанья припухлые , те, что за строчкой,
слова, невмещенные ею, откуда и взмыли
от крыш оттолкнувшись, курлыча журавликом черным.

Сиротскою памятью туже стяни в узелочек
того черновик нацарапанный и незабытый,
что в голову нам приходило двоим среди ночи
в неласковых гнездах, колючей кириллицей свитых.

88/89

Причитание

Меж одним и другим, опять-таки, стихотворением
миновать успевают века бесполезного времени,
и все смутные годы и всех самозванных димитриев
помещаешь легко в его платье, навырост пошитое.

Меж одним и другим не часы пролегли, и не сутками
измеряешь молчание строк, но костяшек постукиваньем,
так что слышен становится голос тоски смертной, Смертушки,
от которой спаси вас, спаси вас Господь, мои детушки.

окт.88

Валерия НАРБИКОВА

ВИДИМОСТЬ НАС

Рассказ

От нас осталась только видимость нас, Чящяжышын сколотил состояние на нас, чтобы увековечить нас в памятнике нам. Нас руками не трогать, не щипать, не колупать нас, смотреть на нас, изучать нас. От нас остался памятник нам, которому не уйти от нас, и он принадлежит нам. И кто за нас, тот будет за нас и без нас, а кто против нас, тот за нас и не будет. Пусть нам говорят про нас, что нас нет в памятнике нам, поносят нас, пусть изнасилуют нас надписями на нас, отсекут конечности нам, чтобы не узнать нас и приставят новые нам, чистят зубы нам и поливают нас; золотые коронки, мраморная шея и грудь и гипсовые тапочки годятся нам, и пусть три метра нас и две тонны нас послужат нам, атас, кто не видит, что из памятника нам выпирает бездна нас, ни венки, ни искусственные цветы для нас, ни корзины, набитые тряпичным дерьмом, не нужны нам, веселая картинка с хороводом скамеек не для нас, с классикой голубей на макушке, с негативом снежных масок, нас можно размножить дагерротипным путем и другим путем, наделать голлограмм, отснять и отпечать, чтобы вы подавились нами, расцеловали нас в памятнике нам, чего хлынули к нам, когда от нас остались только формы, чего прилипли с газонами и фонтанами к нам, чтобы нам в рот стекал ручеек из водо-

проводного крана, руки не мыть, не пить, не сорить на нас. Зато нас лижут собаки, нас, потому что нас по горло в памятнике нам, а какие еще памятники нюхают и лижут собаки? никакие не нюхают и не лижут, и кто сотворил нас, тот пусть и расхлебывает нас, а нам плевать на то, где нас нет. Менты охраняют нас, лимитчики, все до одного хотят жить в Москве, третьем Риме, продают себя в рабство в Риме, чтобы потом выкупить себя на свободу и жить через пять лет в кооперативной квартире. Так они хотят нас охранять или хотят жить в Москве, Третьем Риме, все равно. Вон, катит весна, листья лезут прямо на глазах, каждый лист вылезает по миллиону лет, этот процесс охватывает и жизнь Ивана Грозного, который уже четвертый по грозе, и других, пропустив зрелость и увядание и сезонные явления в жизни птиц и зверей. Наша квартира – не наша, она, квартира-музей, работает без передыха, каждый день – сегодня, даже в понедельник, выходной день, потому что все большие специалисты, которые изучают нашу жизнь, могут только сегодня, а завтра не могут, завтра каждый из них должен быть самолетом у себя на родине, поездом, куда ночь езды, электричкой – всего несколько часов, пешком – в десяти минутах ходьбы, говорят на нашем языке, потому что изучая жизнь объекта лучше всего говорить и думать на языке объекта, на пушкинском языке, на тургеневском, на языке Толстого и Достоевского, они пьют день и ночь за могучий русский язык, чтобы сохранить его чистоту. Русская литература – это вещь, и русская жизнь – явление, сказать почему? а только у русских литература смешана с жизнью до пассива и актива, и писатели – всегда актив, а героини – всегда пассив, живых женщин нет. Все мужчины хотели бы иметь дело только с Наташей, Сонечкой и Таней Лариной, начиная с детского сада – с золотой рыбкой, идеальной женщиной, а все женщины зато с самим Пушкиным, Толстым и Достоевским. Мы гуляем по ночам, по гостям, мокнем под дождем – от памятника к памятнику, которые сидят, стоят и мокнут под дождем, гуляют каждый напротив своей квартиры-музея, нет – чаще напротив отдельных квартир, чаще – напротив ресторанов; облепленные табачными киосками, отрезанные от улиц шоссе, напротив светофоров, чтобы легче переходить улицу на зеленый свет. Даже под землей, в метро, мы среди своих, и там памятники – в спортивных майках и трусах, физкультурники, атлеты, большие писатели, от кого торчит голова, кто по пояс, кто в полный рост.

Холодно. Прошел мужик и оглянулся на парочку, так нельзя ходить по улицам, так обнявшись. Сана и Отматфеян ходят по улице так обнявшись с утра, руки окаменели от холода, могут отвалиться. "Позвони еще раз". В телефонной будке на стеклах цветы из снега, в следующей точно такие же, но погрязней. "Не пришли?" – "Не-а". Туда, куда они звонят, должны прийти, чтобы их впустить, чтобы потом уйти и их оставить. "Надо было сразу ключ взять". – "Надо было". Теперь мост и река. Наверху мост, внизу река. Река длинная и кривая, вся в льдышках, из нее нельзя пить, вся в жирных пятнах, вон мусор поплыл... Пролетела тень птицы. "Давай еще раз позвоним". Никого. Руки, мраморные от холода, деревянные ноги. Тогда домой. Там Чящяжышын, он думает о нас. Он

так хорошо думает о нас, что неделю ест одни макаронные рожки, потому что все его деньги съедает памятник нам. Полно людей, они скапливаются под фонарями и в магазинах, греются. "Можно попробовать еще одно место, – сказал Отматфеян, – но я не гарантирую". – "Туда нужно звонить?" – "Да пошли так".

– А что хоть за место? – спросила Сана.

– Даже смешно сказать.

– А чего смешного-то?

– Сама увидишь.

Пока они шли, было не очень-то смешно, потому что уже хотелось скорей прийти, позвонили в дверь полуподвала, стало совсем не смешно, никто не открывал, между зоопарком и планетарием; искусственные звезды, искусственные звери в клетках, некуда деваться. Нет, шевелится кто-то за дверью, кто-то потоптался и спросил "кто?" "Открой", – сказал Отматфеян. Им открыли. Хозяин явно смотрел и не узнавал. К тому же было темно. "Не узнаешь?" – спросил Отматфеян. "А-а, – сказал хозяин, – заходи". "Я не один", – сказал Отматфеян и пропустил Сану вперед. – "Заходите", – сказал хозяин. Он зажег свет, и стало смешно. Торчали гипсовые физкультурники, в дверях лежали их отбитые руки и ноги, медведь, наполовину прикрытый тряпкой, обязательный бюст Вольтера, причем здесь Вольтер? в тазике с сырой глиной копошились сперматозоиды еще не развившиеся до физкультурников, медведей и Вольтеров, "Вон туда проходите", – а сам пошел отмывать руки. Комнатка ничего, куда они прошли, здесь и не пахнет творением, кровать, шкаф; унитаз, не включенный в сеть, в роли ночного столика, прикрытый сверху дощечкой. Хозяин появился вовремя, накинул скатерть на унитаз и полез в форточку за съестным. Из сетки он достал холодец, который кристаллизовался на морозе, по нему можно было изучать структуру льда, слегка начиненного мясом. "Да мы сыты", – сказал Отматфеян. Можно в магазин сбегать, там шампанское, но без медалей, тогда лучше пиво, а пиво что, с медалями? конечно, у хозяина есть имя, которое ему дала мама; для чего даются имена таксисту и билетеру, хозяину, к которому мы пришли в гости, чтобы лучше их запомнить? тогда не будем давать имя ни водителю автобуса, который нас вез, ни хозяину, чтобы лучше их забыть. А он все еще здесь, даже без имени, сидит и ест свой холодец, который сверкает на усах. Пошел ставить чай, пошел за чайником, Отматфеян пошел вслед за ним. Отматфеян шепнул ему одно волшебное слово,и хозяин стал по-быстрому сворачиваться, ему, оказывается, уже давно пора быть в одном месте, где его давно ждут, и ему неловко, но он должен сейчас нас покинуть. "На минутку", – позвал хозяин Отматфеяна. – "Понял, – сказал Отматфеян, – на гвоздике". А когда будем уходить, закинем ключ в почтовую щель, ему мастерская до следующего вечера не нужна, вообще никогда в жизни не будет нужна, так мы ведь только на пять минут зашли, тогда и хозяин только на пять минут вышел – погулять, до булочной и обратно. Распрощались. "Быстро ты его обработал", бьется сердце, может выскочить, у каждого с собственный кулак, "вот это да! какое у тебя сердце, как двинешь им!", – солнце взорвалось,

когда, всегда, нам взрыв светит и греет, это "ба-бах" уже сверкает миллиарды световых лет, не подлетишь даже со скоростью света, только со скоростью взгляда, у которого скорость больше, "помада на трусах", – "пускай", первозданный лес, вот так зарождалась жизнь в тазиках, под сырыми тряпками, вот так, чтобы еще завтра можно было поправить у объекта живот, если не нравится, мазнуть по ноге, оттяпать лопаткой лишний жир, "пойдем", – "куда?" – "пошли, покажу". Бассейн, подобие бассейна, чтобы месить глину или чтобы принимать грязевые ванны, ни то, ни другое, чулачик с бассейном наполнился паром от горячей воды, которая живо наполнила бассейн, воды по шею, все условия, чтобы замесить друг друга и слепить, как надо, потрудиться для себя, подогнать руки и ноги, как надо, произвести целое потомство, оплодотворить все тазики и горшки, "сюда вставай", – "что?" – "встань сюда", – "выключи воду, не слышу", – "ты моя". Так можно свариться от такой температуры, "включи холодную воду", – "что?" – "выключи совсем горячую". Среда сопротивляется, вода, если идти навстречу друг другу, среда против, "плыви ко мне", теперь – за. "Хочется курить", – "все хочется", – "пойди принеси". Отматфеян вышел на сушу, чтобы принести, равномерно покрытый глиняным пушком, скинул свои тыщи лет, которые были сейчас не нужны, "ты почему сейчас так на него смотрела?" – "на кого?" – "на того атлета", – "на какого?", в углу атлет, пропорциональный до мозга костей своим мозгам и костям, Отматфеян втянул живот, чтобы его туловище было пропорционально ногам, "ты хочешь с ним?" – "с кем?" – "тебе хочется с атлетом?" – "ты сам хочешь с медведем", – "только с тобой", – "с медведем". Отматфеян вытащил Сану из бассейна, чтобы она дозрела на берегу, подсохла, вот она, возня на суше, "я выбью из тебя медведя и атлета, поняла", – "прекрати", – "у тебя страсть к полу вообще, будь то кто угодно, в том числе и я", – "перестань", – "я только один из объектов пола", – " ты меня так убьешь", – "я тебя так убью, ты любишь пол как таковой, вообще мужской, и меня как представителя", – "тебя одного", – "врешь", – "правда", – "ты не любишь этого атлета?" – "ненавижу", – "а медведя?", – нет", – "только меня?", – "да", – "что да?" – "люблю только тебя", – "врешь!" – на кафельном полу, в собственной луже, из которой прямо на глазах лезет целое человечество, как на дрожжах.

Отматфеян разошелся, он подогнал атлета и швырнул его в бассейн, в его среду, из которой он вышел неделю назад, атлет растаял как сахарный, обдав волной, испустив дух тут же, и медведя туда же, всех, и Вольтера, "нас за это убьют", – "завтра своих слепим", не хуже, поналепим и выставим на солнышко просушиться, и Сану туда же, в бассейн к живым клеткам, и сам туда же, все вместе, "это чья нога?", – "это медведя", еще не растаяла, "а это чья?", – "это твоя", все мое, здесь, все твое, общее, все вместе, "это твоя рука?", – "а чья же?" – "я думала его", голова оторвалась, плавает и не тонет, почему она не тонет? потому что сухая, "чья голова?", неизвестно, целоваться, нахлебались, состоим из того же, "ты нахлебалась?", кажется, пошли

ко дну, "кто?", вот так потопить ее, уже нет лица, смазать по лицу, где лицо? одна болванка, хорошо, что мы не сахарные, "что?", мы прочней, кто кого вытеснит, тесно, булькает, "не обращай внимания", – "я нет, а ты да?", – " да, теперь куда?" – "что?", куда дальше, мы всюду, вытесняем объем воды и не тонем, как в море корабли, "что?" – "как корабли", – "так хорошо?" – "ой", – Вольтер по спине потек, "кто?", цепляется за жизнь, "плыви сюда," "куда?" ты где, это ты? смотри, сейчас завязнем в них, в нашем подобии, накрашенный рот, "у кого?", у медведя красная помада на губах, "у кого?", рот из красной глины, "у кого?", губная помада, "у тебя?" – вымазался в помаде, "в чьей?", в медвежьей, "в моей?", в красной глине, "чего тебе?" – "тебя", "ты где?" – "вот я", – "а я?" – "вот" – "а там кто?" – "никого?" – "а там?" – "все" – "а тут?" – "вот так хорошо" – "да" – "да", "это шерсть?" – "да", медвежья шерсть на ногах, на усах, на волосах, "звонок" – "что?" – "телефон" – "что?" – "в дверь" – "куда?" – "нас нет", – "пойду посмотреть", пошел посмотреть, кто звонит, Отматфеян пошел в дубовой коже, кто же это может быть, кого нам не хватает, снеговик, конечно, со снежной бабой, одного поля, одной температуры, и снеговика в бассейн и снежную бабу туда же, морковка вывалилась изо рта, плавает в углу, холодно со снеговиком, какой он холодный, морковкой закусить, от снежной бабы мурашки по коже, развалилась дура на три кома, "что ты к ней так прилип?" – "кто?" – "ты – к снежной бабе", – "ой, погоди", можно простудиться от снеговика, " можно", снеговик протаранил Сану в угол, скинул лишний вес, угольки из глаз вывалились, "не соси льдышки", – "это не льдышки", живые органы плавают еще тепленькие, "какой холодный" – "кто?" – "кто? ты, кто же еще", все растаяли, все вместе осели на дно, водоизмещение больше чем надо, от этих снежных тел, они нас сейчас вытеснят на берег, уже вытеснили, поддало прибоем из крана, располагаемся на берегу с кляпом во рту, язык не шевелится, проглотили язык... вот жизнь, все вхолостую, где оно, где потомство, которое произвели минуту назад для жизни, почему не кишит, не расползается на четвереньках для жизни, не делает стойку, какая расточительность, так нельзя, трудиться над потомством два часа, чтобы оно высохло за пять минут; ну почему оно не созреет на радость тут же, сейчас же, все целиком, почему созреет только один из миллиардов, да и то, чтобы его выкинули на третьем месяце, почему бы нашему потомству не разойтись сразу же по домам, прямо в шапке и пальто, в своей скорлупе, с рюкзачком на спине – с некоторым запасом съестного, которым мама одарила при рождении, на первое время, нет, подохнут все здесь же, задохнутся на суше, немыслимые похороны, схоронить миллиарды сперматозоидов в сырой земле, в тазике с сырой глиной, здесь похоронить будущее человечество, которое взойдет совсем в другой жизни, никогда не взойдет, никогда! никогда оно не взойдет, никогда! никогда ни при какой погоде оно не взойдет, ни с первыми лучами солнца, ни с последними, никогда! даже если удобрять и поливать, никогда не расцветет, никогда, тоска, вхолостую задирали руки и ноги до потолка, "что вхолостую?", – "все вхолостую", – "что ты имеешь

в виду?" – "все", – "тебе плохо?" – "даже не спрашивай", тогда лучше проглотить это недоразвитое человечество, слизать с пола, вылизать кафель до блеска и проглотить, это лучше всего, пусть человечество развивается в желудке, пусть оно будет не людьми, а калориями, все равно людьми, ах, как это питательно и полезно для здоровья, когда это человечество гуляет по кишкам до прямой кишки и выходит в астрал, папа-боже, если это только простая механика и процесс, то двинь нам в сердце кулаком с собственное сердце, чтобы не повторилось еще раз, папа-боже, у нас ведь тоже есть тоска по тому, что тонны нашей жидкости, в которой кишит жизнь, смываются с простыней в прачечной в общем потоке, "ты так позеленел, тебе плохо?" – "с животом", позеленеешь, крутишь динаму вхолостую день и ночь, "а ты белая, тебе нехорошо?" – "тошнит", побелеешь, когда человечество не усваивается в желудке и лезет наружу вместе с морковкой от снеговика, с глазками-угольками – активированным углем. Сана очистилась от человечества, ему нет места внутри, кишки не место для прогулок, кишки знаменуют действие звезд или поедание, да кишки и суть поедания всего, что человек вводит в свои кишки и что возросло из силы звезд, – учит Беме, "какой он счастливый, был твой учитель, Сана, он научил тебя глотать и очищаться", "кто?" – "твой первый учитель", кто, Беме или член союза Каменщиков, композиторов, позволивший себе биде и вominарии, теперь бегай между ванной и унитазом, поскольку вominарии, отделанные мрамором, расписанные лазурными рыбками, не предусмотрены в полуподвалах, между ванной и унитазом, как научил первый учитель, композитор, первоклассный каменщик, "как ты порозовела!" – "заткнись!" Отматфеян выпил таблетку интестопана и стал уповать на милость божью – пронесет-не пронесет, "твой каменщик не пил интестопан, Сана?" композитор? он просто сидел на горшке и уповал на милость божью, Беме, все же нельзя одновременно: и пить интестопан и уповать на милость божью, можно что-то одно из двух: или пить, или уповать, пронесло, где те горы, за которыми конец не за горами?

Отматфеян обтер Сану тряпкой – полотенцем для медведей и атлетов, которыми их обтирает каждое утро скульптор после душа, "ты меня так поцарапаешь", – "прости", вот поднакопили сил, неужели встанут и пойдут, – "встань и ходи", встали и пошли; ходят из угла в угол, ищут, чего они ищут? чем бы заесть, чем бы запить, что запить? запить и заесть процесс, молча передвигаются, сталкиваясь в дверях, "извини", во все щели дует, шевелится пыль, "не видела мою сумку?", нет сил, все силы ушли на сотворение мира, а где этот мир, который сотворили, этот, что ли? этих глиняных спортсменов сотворили? какая была бы радость увидеть, что после двух часов труда возник мир, воплотился мир, который звенел в ушах и рябил в глазах, с животными, людьми и речками, с криками птиц, ведь они были в ушах, крики, где они? речки текли по рукам; у атлета перебита рука, Сана уложила ее в гипс, чтобы правильно срослась, где все? нет ничего вокруг, что было в глазах и ушах, все стоит грубо и трехмерно, застыло. Остается привести друг друга в чувство для следующего

раза, и в следующий раз точно уж сотворить мир, наверняка, и так раз за разом, чтобы в какой-нибудь раз он возник наверняка, мир, ведь не может быть такой бессмыслицы, чтобы он не возник в следующий раз, может быть, в этот раз мы что-нибудь делали не так, мы в следующий раз сделаем, как надо, и он возникнет этот мир, прекрасно видимый, воплотится и новое человечество расползется и будет ходить на радость нам, только радость творения подстегнет нас к следующему разу, и чулки наизнанку, сапоги воспалят воображение, и этот раз будет ни с чем несравнимый раз, а "раз и два" и так каждый раз. Сана сошла в бассейн, легла под одеяло, под воду, ни волны, ни одеяла, ни ряби, нет, задвигалось одеяло, под ним гейзер, крошечный фонтанчик, который не заткнешь пальцем, палец дрожит от напора. Отматфеян нырнул под одеяло с головой, "спусти воду", одеяло уйдет в канализационные трубы, как вода, затычка под ногой, надо отмыться от потомства, которым мы все облеплены с ног до головы. Уже почти хорошо, нормально, все плохое смыто в прачечной, в мыльном потопе, ушло с талым снегом в землю, в Черное море .. и реликтовый стол, номерной экземпляр, стоит, облепленный с ног до головы именем, которое ему дала мама: стол, он же табль, он же тейбл, заигмеш, дунтун, где имена взаимоисключают друг друга. И название предмета сходит, как прошлогодний снег с предмета, уходит в землю, впадает в Черное море, вот для чего так много языков, вот для чего! чтобы дать название предмету на сотне, тыше языках, чтобы названия (языки) взаимно исключали друг друга и предмет опять остался без названия, ведь если бы один язык был на всех, и все до одного звали бы стол "столом" это было бы слишком серьезно, что именно такое сочетание звуков – ст-о-л – характеризует эту материю на четырех ножках, а поскольку тыща языков и стол, как материя, – и табль, и стол, и мук-мук, то можно принять условие игры, что у нашего племени эта штуковина называется стол, но только как условие игры и только у нашего племени! а так все имена на тыще языках исключат все имена; и тыщи глаголов, обозначающих какое нибудь одно действие, исключат тыщи глаголов, и мир останется безглагольно-безымянный, к которому не продерешься, он будет давить на слух и мозг чистотой звука и чистотой материи, он сразу будет слух, вкус и взгляд сразу! Звонок или в ушах звенит? Звонок, хотя и в ушах звенит, в каком ухе звенит? звонок, "надо открыть" – "не надо" – "оденься, я пошел открывать", так много языков, чтобы на каждом языке сказать одно и то же про солнце, звезды и луну, одно и то же, чтобы сравнить и увидеть, что сказано одно и то же про то же самое, что одно на всех, хотя бы то, что не дело рук человека – солнце, звезды и луна – было бы похоже на разных языках, одинаково бы звучало, состояло хоть из нескольких одинаковых звуков, то есть изначально имело одно определенное имя (название), а человек его неопределенно, по-своему изменял, а дело рук человека стол, кровать пусть звучало бы как угодно, на каких угодно языках – это было бы серьезно, можно было бы серьезно думать о названии; но и солнце как название у кого-то солей, у кого-то ку-ку, у кого-то му-му, значит, с самого начала предмет

называл человек и не один, кучка людей, а язык – дело рук человека, он на языке спит и видит, как пить дать – мыслит, а птица мыслит мелодией – поет, хотя бы синица, хотя бы воробей, белки улетели на юг; человека явно подучили языку тоже люди, но какие-то любители-изобретатели, не мама, совсем язык не естественен для человека, и если человек насовсем останется один, он совсем забудет язык, но пока человек живет среди людей, среди своих, не иностранцев, он будет продираться сквозь свой язык, чтобы определенным сочетанием звуков как можно более определенно сказать о сердце, чтобы каждому человеку было понятно глазами, ушами и сердцем сразу, что речь идет о сердце. Отматфеян разговаривает в дверях, кто там? какой-то ляйтер со своей туфтой, что им нужно? они замерзли, они то же самое, им то же самое, все-таки люди – странные люди, если есть место, то в нем те же самые в то же самое время; чужие люди, не свои, не то что иностранцы, а не "люди", как мы, скорее – неопознанные объекты, говорят на нашем языке, где, конечно, понятно каждое слово в отдельности, Отматфеян и не говорит, отделывается междометиями, "угу", "ага", а все понятно, потому что он не чужой, какой угодно, но свой, и мы не хотим открывать Америку, узнавать этих "новых" людей, как они устроены, где у них живет душа – в мозге, в сердце или у них душа в пятки ушла, не хотим, но они стоят, неопознанные объекты, белые пятна на тундре, у них с собой пиво, стерилизованное, сегодняшнее, 12 оборотов, хранить сто восемьдесят дней, полгода, и через полгода оно будет сегодняшнее? может, и поговорим тогда через полгода, и пива попьем, раз оно и через полгода будет сегодняшнее, нет сегодня, уже говорим... мы были, да, смотрели, да, и нам понравилось, и они были и смотрели, и им понравилось, красивые картины, как кино, но тогда лучше кино, чем такие картины, и они так же считают, и любовь, да, как работа на вредном производстве, да, за вредность нужно выдавать молоко, и они также считают, и времени нет, и счастья нет, а покой и воля есть, они тоже так считают, что нет, что есть и курить вредно, свинец оседает в груди, как пуля Дантеса, и все мы погибнем от пули, а не от времени, и только Пушкин от времени, а не от пули, полгода сидим и пьем сегодняшнее пиво "Шипка", за пять минут выпили полгода, за час, за дружбу, еще можно купить сегодня и еще просидеть полгода, пока тут рядом продают, туфта покажет, а Отматфеян принесет, а Сана пока ляйтеру спортсменов покажет; пока! ушли. Мы вместе, в отдельности, каждый – рядом с неопознанным объектом, зачем? чтобы объект стал опознанным и любимым? неужели, как только любой объект станет опознанным, он станет любимым? и любой может стать опознанным и любимым, и ляйтер, и туфта! никогда! пусть они лучше не шевелятся и не показывают себя с лучшей стороны – с хвоста. Даже через миллион миллионович лет и через миллион миллионович раз все н.о. будут шарахаться в темноте, как летучие мыши, каждая при своем ультразвуке, они будут чиркать в темноте, точно так же как ласточки на свету, но мы будем испытывать страх от неопознанной мыши – в темноте, и восторг от любимой ласточки – на свету, туфта стоит перед Отматфеяном, на полголовы выше, на

каблук ниже, в точке, в сиянье лампочки в сто свечей, начищенная до блеска, она сверкает, она светится так, что в глазах становится темно, перепорхнула через все лужицы, которые оттаяли-замерзли. Щебечет. Не то, чтобы он не понимает, он вслушивается. И не понимает. Она могла бы быть королевой Франции, чемпионкой мира, великой поэтессой, она могла бы подняться на такую головокружительную высоту, как звезда, чтобы там сверкать, она могла бы, но она не могла бы превратиться сразу из неопознанного объекта в опознанный и любимый, потому что, если неопознанный объект не становится сразу опознанным и любимым навсегда, он не становится им никогда, допустим, она даже приведет Отматфеяна в свою колыбель, и он ее расшнурует и увидит, что она так же, как снаружи, начищена до блеска и внутри, и у нее прямой нос, самый прямой из всех носов за всю историю человечества, и длинный овал лица; но она не умещается в длину на его длине, и его ширина перекрывает её ширину настолько, что ни о какой глубине чувства не может быть и речи. Но все поверхностно-прекрасное, как прекрасная поверхность, радует глаз всеми цветами радуги, которых, цветов, семь.

Сана провела ляйтера через девственный лес спортсменов, вольтеров и медведей, она показала их ляйтеру еще мокреньких, дозревающих под тряпками, "вот это медведь", и она ткнула пальцем в медведя, где у медведя живет душа? там-то, где вольтера живет душа? там-то, и они живут душа в душу? ляйтер осмелел, он дотронулся до Саны рукой, забарабанил по ней руками и ногами; что она, противоударная, что не разбилась? может, даже и противоударная; его руки и ноги отскакивали от нее с таким треском, что все трещало, главное, ляйтер искал ее губы, и не находил, она не подсказала ему, где они, хотя они были там же, где бывают у всех людей, но их сейчас не было на месте, они были не накрашены, они плавали, накрашенные, в бассейне и обсасывали морковку; ляйтер озверел от того, что она в упор не видит его руки, хотя они вделаны, как надо, и ноги приставлены, и голова на месте, он стал грубо доказывать руками и ногами правоту своих рук и ног, он был в чистом виде противоположный пол, который притягивает как противоположный заряд, его лицо пылало, как пламя, он взмок под своими тряпками, как спортсмен под своими, он был накачен какой-то дурью или воздухом, потому что он все время вдыхал в себя воздух и ни разу не выдыхал, "хватит!" – взмолилась Сана, но он был не железный, "душа моя!" – сказал ляйтер, – "ты мою душу в глаза не видел", – сказала Сана; у него вместо глаз было два тумана, и как в тумане плавали зрачки, "не сейчас же!" – сказала она, "скажи, когда?" – сказал ляйтер, и она так и сказала: "да хоть завтра". Это было первое , что Отматфеян услышал через дверь. Он стоял с хрустальной башней пива, с бутылочным дворцом в сетке, "а как же ключ?" – спросил ляйтер, – "он будет у меня, а его не будет" – Отматфеян запутался в ее ответе, кто будет у нее и кого не будет, ведь не будет же такого, что его самого у нее не будет, значит, он сам будет, а ключа не будет, но она ведь ясно сказала, что его самого не будет, а ключ будет. А ключ на гвоздике, размножается путем деления в каждой

мастерской. Отматфеян подтолкнул туфту к двери, вместе с остекленевшей сеткой и выскочил с ключом на дикий холод. Это был настоящий мороз по коже. Почему не замерзают глаза на морозе, а слезы замерзают? потому что глаза теплые? потому что слезы холодные? потому что глаза не из воды? потому что слезы из воды? потому что глаза глубокие? потому что слезы мелкие? ключевых дел мастер был мастером на все руки: пока Отматфеян ждал, пока ключ размножится, мастер приделал ему крепление к лыжам и конькам, починил молнию на сумке, смазал, наточил, заправил, Отматфеян шел обратно... потому что глаза двигаются? потому что слезы стоят на месте?

Они сидели втроем и ворковали, ляйтер и туфта – вместе, Сана отдельно, сетка была наполовину опустошена, пиво пенилось, из каждой бутылки, из пены выходила Афродита, было очень весело, "где ты был?", – спросила Сана. "Гулял, – ответил Отматфеян, – прохлаждался". "Ты же замерз", – сказала Сана. Она подошла к нему и взяла его за руку. Отматфеян промерз насквозь, как птица, которая замерзает на лету и падает, как деревяшка. Он, как деревяшка, сел. "Выпей вот это, – сказала Сана, "дура", – сказал он про себя, – "дает мне ледяное пиво". "Это чай, – сказала она, – он горячий". У нее в руках действительно была чашка с горячим чаем, который побежал внутрь и стал растапливать вечную мерзлоту. И когда Отматфеян растаял, расцвел и осмотрелся по сторонам, то увидел, что никого нет, что они сидят с Саной вдвоем, звезды убегают за горизонт и выбегает солнце, где ночь, куда она ушла за горизонт вместе с поцелуями, объятиями и слезами, и поцелуи ушли за горизонт? вместе со звездами, луной и сном, и сон ушел за горизонт? нет, сон как раз вышел из-за горизонта вместе с солнцем, утренней свежестью, бодростью, все наоборот: бодро заснуть, вяло проснуться, голодать на полный желудок; с голода быть сытым, да нет же, не наоборот, просто нужно правильно рассчитать оборот земли вокруг солнца, и сколько оборотов – столько и дней, а так из-за неправильного расчета мы не можем уложиться в оборот, и часть оборота переносим на другой оборот, нужно отыскать начало оборота, и с этого начала отсчитывать оборот за оборотом, и как только солнце сверкнет на горизонте, так и мы сверкнем на горизонте, а как только оно пойдет спать – и мы за ним, а на луну нечего смотреть, нечего её ждать, то она толстая, то она тонкая, то её вообще нет, но она же красивая, она же самая красивая на небе, как же её не ждать, как же на неё не смотреть, вот и ждешь её целый оборот, пока её светлость покажется, и её с в е т л о с т ь показывается. Ваша с в е т л о с т ь, не шутите с людьми, дайте поспать, дайте хоть вздремнуть! хорошо, что есть земное притяжение, а так бы луна всех к себе утянула; она хоть меньше и слабей земли, а земля больше и сильней луны, у её с в е т л о с т и есть сладкая привилегия – отталкиваться от земли, а у земли есть сладкая зависимость – притягивать луну, потому что её с в е т л о с т ь – наверху, а земля – внизу, она – над головой, а земля – под ногами, и то, что над головой, всегда кажется больше и сильней, хотя на самом деле меньше и слабей, опять все наоборот. Все на полу,

подушки и одеяла на полу, холодно и страшно рядом с любимым, который больше и сильнее, а ему жарко и весело рядом с любимой, которая меньше и слабей... Ведь если он больше и сильней, и у него особенно остро заточены органы нападения: пятки и клюв, он не должен долбать пятками и носом ту, кто меньше и слабей, раз он старше и сильней. Нет, должен долбать, потому что он больше и сильней, но наверху, как луна, а ее светлость меньше и слабей, но внизу, как земля, и он, наоборот, притягивает, как земля, а она, наоборот, отталкивается, как луна, будет долбать, пока будет верх и низ, а не каша, каша — это вещь! тыкаться в любимого, в кашу, как слепой щенок, клясться в любви, скулить соплями и слезами, тыкаться, как недельный беременный горностайчик, у которого еще не открылись ушные раковины и он не слышит, какие непристойности отпускает сорокалетний папа-горностай, прижавшись к стенке, напавший сзади, что он совсем слепой, что не видит ничего? может, у него до сорока лет не открылись ушные раковины? может, это он старый, но слепой щенок, который ничего не видит — глазки до сорока лет не прорезались. Все он видит, все слышит, только ему нравится потом облизывать слезы и сопли, что за страсть такая у человека довести до слез человека, а потом слизывать слезы со щек, обсасывать щеки до засосов, неужели нельзя просто? что за страсть выдувать из слезных мешочков в один вечер все, что скопилось там за полгода, ведь слезы для того, чтобы соринка из глаз выпала или ресница, а не для того, чтобы размазывать акварель на бумаге, для этого есть вода, но слезами лучше, еще бы! и глину замешивать лучше, а телячий язык — деликатес, бараньи мозги и глаза, птичья печень, кетовая икра — все деликатес, и слезы и сопли — деликатес.

Сана заснула в зените с солнцем в волосах, с размытыми контурами материков на щеках от потекшей краски, где материки были в одном измерении, а нос в другом, он торчал трехмерной горой между африкой и австралией в океане слез; крылья горы, ничуть не тронутые краской от ресниц, но чуть припыленные пудрой, слегка раздувались, гора дышала. Так Отматфеян и оставил ее спать в ее первоначальной среде с ее дутым глиняным потомством, которое она произвела за ночь, и не стал изучать дутое изображение африки и австралии, ему было ее не жалко; и оставил ключ на гвоздике и дунул домой. Дом был среди домов, квартира среди квартир. Чящяжышын разгуливал по квартире в одних трусах и жевал какую-то засохшую кашу, которую не прожуешь.

— А Шана гже? — шпрощил Чящяжышын шквожь кашу.

— Спит, — ответил Отматфеян.

— Где спит? — спросил Чящяжышын, проглотив.

Отматфеян поковырялся в сковородке и нашел, что Чящяжышын ест совсем не кашу, а жареную картошку с жареным мясом, и все это так ловко поджарено с луком, что как с грибами.

— Где шпит? — переспросил Чящяжышын, набрав.

— Ге жжаю.

— Как это не знаешь, — чуть не подавился Чящяжышын, — я тебя спрашиваю, где она спит?

— Ге жжаю.

Чящяжышын взял сковородку с картошкой и пошел в комнату. Отматфеян пошел вслед за сковородкой.

– Так где она спит? – спросил Чящяжышын.

– Ну, не знаю я, – и Отматфеян полез на него с холодным орудием – вилкой на сковородку. Чящяжышын загородился от оружия сковородкой, как щитом, и картошка вывалилась на пол. Отматфеян бросил оружие к ногам и достал белый флаг из кармана, вытер им рот, свернул на кухню – запить битву. Чящяжышын подмел на поле боя и приперся, как герой, на кухню.

– Где спит? – спросил Чящяжышын.

Отматфеян надел пальто и вышел на холод, который был, несмотря на то, что кончился пост, но несмотря на "post" пост было холодно.

Он стоял один среди бетонного холодного дня прямо под солнцем, высморкался в свой белый флаг – и пошел сдаваться; в кармане с белым флагом лежал номерок телефона, который он зачем-то начиркал вчера, оказалось, что за тем; Отматфеян позвонил, туфта была дома, он "можно зайдет", она "конечно, будет рада", и на самом дне кармана лежал дубликат ключа, почему с такой легкостью размножаются телефоны и ключи и с таким трудом живые клетки?

Не может быть любимый полигамом, он может быть даже крокодилом, но не полигамом, это крокодил может быть полигамом, а крыса гомосеком, а лебедь моногамом, а лебедь, рак и щука – басней Крылова, и моногамом любимый быть не может, если он не лебедь, но тогда кем же он может быть, любимый? а всем вместе – кашей: поли-моно-лебе-ко-крокодилом.

Туфта открыла крепость одним пальцем. Отматфеян как вошел, так сразу и сдался безо всякого сопротивления – чего там сопротивляться. Одежда с него как скатилась, так и раскатилась по комнате. Отматфеян присел. Как неохота быть на стороне, даже мозги не шевелятся, чтобы сказать, какая скучища в стороне от дома, по ту сторону океана слез. На стороне, по сути, в стране сменяется строй с регулярностью времен года, с то же нерегулярностью времен года, когда зима царит на подходе лета, и страна, по сути строй, провожает абсолютную монархию и встречает радостно лето, провожает радостно зиму и встречает радостно демократию, и борется за весну, приветствуя конституцию, провожая весну, выбирая из всех времен года, самое любимое время – полную анархию с мертвым урожаем в прекрасные осенние дни, с матриархатом, по сути, строем, с бабьем летом, по сути, погодой. И строй, по сути, страна, лежит за тридевять земель от рода, по сути, родины, раскинувшейся, как на ладони, с теми же очертаниями берегов, что и страна. Но эти берега не видны в стране из-за моря людей и леса голов, но хорошо видны на родине из-за моря, из-за леса. Все равно интимная жизнь возможна только в рамках рода (родины) – гуляющий н.о. или сразу становится папой и мамой, бель-пер и бель-мер, бель-сёр и бель-фрер или так и останется н.о.

Отматфеян отдышался и пошел прогуляться по стране – от окна к двери; все то же самое, что и на родине: тот же асфальт, он

же линолиум, допотопный, стол, те же горы шкафов – но туго доходит до сердца, в стране; все так тупо и застревает в глазах; не то, что на родине, где все так и валится в сердце. А какая веселая страна! может позавидовать любой иностранец, не то что у них – пришел и купил, здесь за всем нужно охотиться, все добывать, это не просто охота, как у зверей, это еще и спорт. Вот скоро будет новый стиль, французы его назвали бы а ля люрс, где все плохо скроено, раскрашено, сшито, ведь если "плохо" – так последовательно, то "плохо" может быть стилем? Нечего делать в стране, только наводить порядок, строить, перестраивать, ходить по струнке, не-а, неохота. Туфта раскинулась от и до. Отматфеян обошел ее стороной, чтобы не задеть. Но она распространялась повсюду. Уже не было места, где бы ее не было. Он отстранился от нее. Но она с самого начала настроилась так, что победа будет на ее стороне. Тогда надо быстро и сразу, чтобы не думать об этом, но думать-то надо, ну нельзя это делать со всеми людьми; еще под большим сомнением, можно ли это делать с одним человеком, но со всеми людьми это делать, точно, нельзя. "Я только отдам ключ, – сказал Отматфеян, – позвони мне через час". Туфта посторонилась, пропуская его к столу. Он старательно вывел номер телефона и стал распространяться насчет хозяина мастерской, который ждет его под дверью на морозе, и он должен его впустить для того, чтобы сразу выгнать, что как раз нельзя его не впустить, а выгнать как раз можно.

На морозе было даже жарко от холода. Отматфеян мог лететь на все четыре стороны.

Он подлетел к двери мастерской и стал орудовать ключом. Ключ проворачивался, но дверь не открывалась, он вертел в ту и в другую сторону – все вхолостую, ключ сам по себе, а замок сам. Вышибить дверь ногой, гром среди ясного неба, когда щепки летят, когда смена правительства, парад декабристов на зверском холоде, падение монархии, новая конституция! не надо вышибать дверь ногой, не надо нового правительства, пусть все будет по-старому, лучше еще ключом повертеть, ключ-лиллипут от замка великана, детский ключик от взрослого замка. В такую здоровую щель может еще и палец пролезть вместе с ключом. Отматфеян сунулся в скважину с ключом вместе с пальцем и чудо! замок поддался, что он, пальцем что ли его открыл? получалось, что пальцем. Значит, любой может пальцем, но такого пальца больше ни у кого нет, у ляйтера такого пальца нет, слабо ляйтеру пальцем, Отматфеян мог бы расцеловать свой палец с металлическим вкусом на пальце, такой палец не закажешь в мастерской, дубликат пальца, он единственный в своем роде, палец, ему нет равных в мире, он самый первый палец, первый и последний.

Отматфеян не боялся греметь, чего бояться, когда все равно никого нет. А надо было бояться. Надо было вылететь и летать по комнате, а не стучать колодками по мозгам. Он стучал и гремел. И мог бы еще в сто раз сильнее стукнуть и нагрянуть, все равно – Сана спала. Она спала в общей мясорубке стуков, под трамвайный лязг, автомобильный оргазм. Самолет пропилил, она спала. Он бы не поверил своим ушам, если бы позвонил, а она не услышала, но

он верил своим глазам – она на самом деле спала с треском. На нем были каменные ботинки, чуть ли не каменного века, и пока он вдоволь не нагрохотался этими булыжниками, он их не скинул. В конце концов он все скинул и сел голый на кровать, совершенно голый, без ничего, без единого перышка. Он сидел, как на берегу озера. Перед ним была вода, именно не H_2O, а вода, именно такая поверхность, которая "как вода", и даже больше чем сама вода, потому что в этот момент эта поверхность напоминала воду, больше, чем сама вода напоминает себя; даже чаще всего сама вода себя не напоминает, а напоминает, например, асфальт или забор или газон. Бывает, конечно, такая красота, тогда сама вода напоминает воду, но сейчас была полная видимость воды. Это самое приятное ощущение, когда в любой момент можно нырнуть с головой в воду, но именно в этот момент не хочется, потому что больше всего хочется в следующий момент, и так хочется сидеть и хочется хотеть следующего момента, что каждый настоящий момент становится как бы следующим, самое настоящее счастье. Счастье кончилось, как только Сана отвернулась, смутив поверхность воды, это все равно, что вода бы отвернулась. Вода не может отвернуться, а в общем тоже может: спугнет не то освещение, какой-то ветерок, посторонний шум. С ветерком и освещением было все в полном порядке. Но зато шум – его на дух не было! Спугнуло легкое отсутствие шума. Ни из одной страны, ни с какой стороны не доносился шум, все заглохло, и трамваи со своими копытами, и машины – абсолютно все! Было полное отсутствие даже звука, не то что шума, ну ничего не было слышно, ни из какой щели – ни писка, ни треска, просто полная расчлененка звука на звон в ушах от такой тишины. Отматфеян подхватил свое барахло, страясь не шуметь, но с него-то как раз шум посыпался, и он с шумом, с кандалами, со штанами вышел из комнаты. Но далеко не ушел – как безумный зазвонил телефон. Отматфеян скульптурно встал за занавеску вместе с медведем, вольтером и K^o

Сана шла на звонок, на ощупь, на свет. "А его нет", – сказала она. Как же она забегала, как заводная. Она проскочила в комнату с ножницами в руках и откромсала себе гриву. Выстригла себе виски и затылок и оставила на макушке пряди, которые зализала наверх. Она выбрила себя всю с ног до головы и зверски взялась за краску. Разукрасила глаза до красноты и черноты, вымазалась в помаде и румянах, не оставила ни одной живой клетки на лице без пудры – она была начищена до блеска снаружи и внутри, как туфта. Отматфеян в загончике с бассейном налепил себе плечи пошире, как у ляйтера, нагородил мускулов, он себя так хлопал по щекам после бритья, как после обморока. У ляйтера были прилизанные волосы, и Отматфеян тоже обслюнявил ладони и размазал волосы по черепушке; у ляйтера были жидкие усы, и Отматфеян также выщипал у себя львиную долю усов. Теперь он заявится такой молодец, вылитый ляйтер, и Сана ему даст, раз она такая, что могла только что сказать по телефону, "а его нет"; и сверху Сана еще перемазалась в креме, раз Отматфеян так хочет, Сана ему даст, как самая классная туфта, раз он такой, что дает

телефон направо и налево, и каждая туфта может позвонить, а она должна отвечать "а его нет".

Сана вышла на мороз погулять, пока Отматфеян не придет. Чтобы как только он придет, она сразу же придет как туфта. Отматфеян следом за ней – на мороз, чтобы потом войти с мороза как ляйтер, которого она впустит с мороза. Они оба столкнулись на морозе в дверях, слегка прихваченные морозом. Отматфеян поглядел на Сану, общипанную и разукрашенную, "вот как она разукрасилась для ляйтера", но не разглядел в ней и тени туфты. Она смотрела на него, как он измордовал себя для туфты, но он был насквозь обезображенный он сам, ничего в нем не было от ляйтера, а как же раньше все так весело играли – в Декамероне-Гептамероне: снял парик-надел парик – и готовый любовник, а тут снимаешь с себя скальп, и все равно похож только на себя самого, почему у них все так было весело, а у нас совсем весело не так. Прилипнуть друг к другу так, чтобы не отлипнуть, чтобы только внешность отлипла. "Ты зачем себя так искромсала?" – "Чтобы тебе было приятно", – "врешь!" – "ты зачем себе такие плечи налепил?" – "ты так захотела", – "не ври, это тебе звонили, и я сказала, что тебя нет", – "врешь, это тебе звонили, и ты сказала, что меня нет". Они докатились до того, что скатились туда, где Сана обстригла себе гриву, которая теперь налипла Отматфеяну на спину, и можно было заплетать косички у него на спине. Обстриженные волосы прилипли к ее щекам, было похоже, что у нее щетина на щеках, теперь он был девочкой, а она мальчиком, все равно.

– Ты меня не любишь?

– Нет, и никогда не любил.

– И в кружке?

– Нет.

– И во дворе?

– Нигде.

– И на луне?

– Нет, там любил.

– И я тебя.

Ее кожа была масленная от крема, и он катался, как сыр в масле. Зажала ватку в руке, придушила ватку. "Что это у тебя?" – "Белая мышка, уже подохла". Отматфеян съел тонну краски и пудры, которая хрустела на зубах.

– А ты меня любишь?

– Всегда любила.

– И я тебя.

О чем мы спорим? о названии чувства, которое есть, о слове, которого нет. Ведь "люблю" – это слово; а слово призрачно, оно самый настоящий призрак, который шатается по ночам и пугает воображение, фантом, и больше ничего, "тогда я тебя юблю, потому что такого слова нет, а чувство такое есть, значит, может быть и слово". Нет, мы не занимаемся словообразованием в два часа ночи, мы просто гоним слово, разрываем его на клочки и спускаем в унитаз, но и в унитазе живая вода. "Что же ты делаешь, так сжал" – "так тебя люблю", и ляйтеры кругом выглядывают,

мешают любить, неопознанные объекты, каждый при своем строе. Этот Четвертый пересажал всех на кол, повесил головы на нитку, это ему сушеные грибы, а нам это прадедушки и гранмеры и гранд-сёры, и мы будем плакать по ним; другой Первый согнал наших град-фреров, чтобы строить новый Амстердам, нет, чтобы завоевать старый, сначала выход к морю, потом вход, и так целая история человечества – это только вход и выход – дырка. Пусть кто-нибудь один завоюет! весь мир и пусть он будет хорошим, а мы будем его слушаться и любить; нет отца, есть папа Римский, но он не отец, есть матерь божья, но она не мама, некого слушаться и любить! давайте тогда все вместе писать по чуть-чуть, по капле в море один текст и читать друг друга, как возлюбленного, вот это будет лит.процесс! а разве это лит. процесс среди толстых пупсиков, которые сидят на горшках и грызут карандаши, давайте читать Толстого, как своего возлюбленного, и Достоевского, напишем и подпишемся все вместе под одним текстом, написанным всеми вместе, как самим собой, чтобы любить его всем вместе, как себя самого, это можно? нельзя; а бель-фрер говорит, что лучше трахаться, чем писать, он купил слепой ксеракс, это молитвы Беме, а не песенник, за сто рублей и не молится, "тогда зачем купил?" чтобы подарить своей бель-сёр на день рождения, и она не молится, тогда зачем взяла? чтобы затрахать молитвами друг друга, как уже затрахали ими бога, у которого уши от них вянут. Все в этом мире построено на соплях; и держится мир на соплях, ба-бах и взорвемся, но наше "ба-бах" не будет светить, как солнце, которое взорвалось и своим "ба-бах" нам светит и греет.

– Не любишь меня?

– Не-а.

– И я тебя.

– А ты меня любишь?

– Ага.

– И я тебя.

Вот самый классный ответ на "любишь–нелюбишь" – это "не-а-ага", потому что в "не любишь" столько же "не-а", как и в "любишь" – "ага", потому что любовь состоит не только из любви, но еще – из нелюбви, и нужно сильно-пресильно любить, чтобы еще и не любить, и самый ясный ответ на этот неясный вопрос – "любишь?" – это "не-а-ага", он ясный, как ясный день, – "не-а-ага".

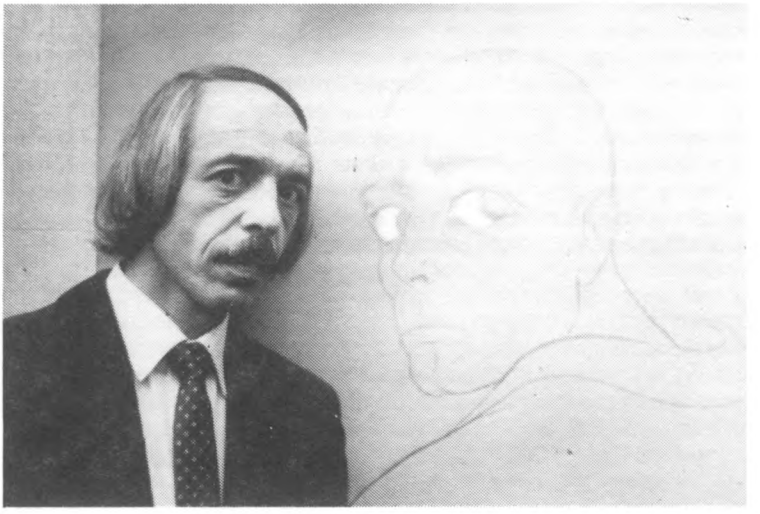
Напились какой-то дряни, какого-то компота со спиртом. Теперь все заспиртовано внутри: желудок – отдельно, печень – отдельно, сердце – отдельно. Ничего не разлагается, вся целка – в спиртовом растворе в памятнике. И поцелуй заспиртован для вечности у каждого в мозгах. Красота.

– Пошли на улицу!

– Пошли.

Выйти и влипнуть в снег, который облепил с ног до головы и сделал из двух одного. Вдвоем – один на один под кристаллической решеткой снега, который свалился, как снег на голову. Так и ввалились домой к Чящяжышыну. Пьяные и горячие под снегом, который не отрезвляет и не охлаждает. Чящяжышын открыл злой и –

жуткая вещь – не узнал памятник. Он не узнал наши какашки, слезы и сопли, заваленные снегом. "Никого нет", – сказал он и захлопнул дверь. Потоптались еще перед дверью, спустились на этаж ниже, почему мы никогда не стояли в подъезде у батареи, чтобы потечь, не стояли в собственной луже, вот теперь стоим под снегом, тычемся общипанные и размалеванные; и нос, холодный и мокрый, как у собаки, значит, мы не только живы, но и здоровы. Но снег не тает, то есть вода сходит, а кристаллическая решетка от каждой снежинки остается. Нас можно раздолбать, но разлучить нельзя. И стоим себе – памятник в подъезде себе.



Петр ВЕГИН

«ЯЗЫК, СПАСИ СВОЙ НАРОД...»

МОЛИТВА

Язык, спаси свой народ,
который устал кричать,
как будто попавший под
поезд: «Твою мать!..»

Не враг никому, не раб,
но в душу ему и в плоть
забили кровавый кляп.
Язык, спаси свой народ!

Сло́ва не зрят глаза,
когда проворней борзых
он ищет – где колбаса?
Спаси свой Народ, Язык!

В ЦК было – цык! – и чик! –
в ЧК – всего повидал.
Спаси свой Народ, Язык,
как заповедовал Даль.

Уж если кремлевский палач
народу вырвал язык,
оставив лишь вой да плач,
спаси свой Народ, Язык.

Сидел – не сидел, человек
со страхом пожив, стал дик.
Единственный, кто не зэк –
великий русский язык!

Спаси же страну свою,
зовущую, боже мой,
любую трагедию –
оптимистической.

Что Время еще проорет
под грохот своих машин?
Язык, спаси свой Народ!
Аминь!

КОНЕЦ 60-Х

Умереть было проще,
чем выпить кофе.
Жизнь и Слово ценились
не больше воска.

Как на римских монетах
окисленный профиль,
на стране проступал
проспавшийся Ёська.
Этот вечный мертвец
дал свободе под зад
и любой не подлец
назывался «жид»...
Силу жить пробуждал
лишь один Самиздат.
Мы пытались жить
и судьбу сшить.
И пока
бровастый коллекционер
из наград пытался
доспехи спаять,
становилось дороже
Слово в цене
и понятней было –
нельзя подыхать.
Своё слово сказать
становилось целью.
На свой роток
не накинешь платок.
Мы привязаны
к этому времени,
словно кружка громкою цепью
к вокзальному баку,
на котором написано –
«Кипяток».

1989

СОН О СЕДЬМОМ ВАГОНЕ

Памяти Евгении Гинзбург

на стыках времени грохочет сон –
стучит по рельсам седьмой вагон
и рельсы тянутся невидны
из края в край великой страны

битком набитый в нём нету мест
летит растерзанною страной
промчалась станция XX-й съезд
XXII-й и XXVII-й
прочь эти рельсы и полночь прочь
и жизнь не та и страна не та
так что ж мне снится и в эту ночь
что есть в седьмом вагоне места

1989

* * *

Когда снесли Таганскую тюрягу
под пьяный мат и поминальный плач,
толпу, как тесто посыпая страхом,
летал по небу отставной палач.

Чернел его гнездом тюремный цоколь
и остро пахли кирпичи мочой.
Но даже сталинским он не был соколом –
он оставался только палачом.

Взметенный в небо гневом, испоганя
собой пространство, в кровяном хмелю
он бы хотел повесить всю Таганку,
крутя над нею мертвую петлю.

Палач летел, сверкая прохарями,
всё северней – над вечностью снегов,
над поредевшими концлагерями –
вдруг сыщется работа для него?

Какой же для него явилось пыткой
жить – не расстреливать и не пытать! –
он пол-России черной тенью выткал,
он жаждет быть и страждет наверстать.

Страна, в которой нету безработных,
смири его, смирившая нейтрон!..
Вчерашнее – вчерашним, но сегодня
я его видел, выйдя из метро...

1988

НА СОЛЕНОМ СНЕГУ

Посоли́, Москва, свои снега,
как по скользкому ходить – скажи.
«А куда ты к черту на рога?
Хочешь двигаться и жить – скользи».

Високосная трещит зима,
за три годика Касьян казнит.
«Не сходи-ка, дуралей, с ума,
ты скользи, как всё кругом скользит!»

Скользко, скользко, генерал Ильин,*
На пятак я жизни не наврал.
Хоть и жил я среди балерин,
но урок скольжения не брал.

Сталин сдох? А я вчера видал
перед главным входом в «Интурист» –
крупной солью снег он посыпал,
на коньках катился, фигурист.

Боттичеллевская ты моя,
боязливо так чего глядишь?
Поскользнулась, больно, бедная?
Ты прекрасна тем, что не скользишь.

* Генерал Ильин – Ильин Виктор Николаевич, генерал-лейтенант КГБ (НКВД) в отставке. С 1941 по 1948 год просидел в одиночной камере внутренней тюрьмы Лубянки. После реабилитации был назначен Секретарем Правления Московской писательской организации. Руководил исключением из Союза писателей Вл.Максимова, А.Гладилина, Л.К.Чуковской, Вл.Корнилова, Вл.Войновича и других русских писателей и поэтов.

Словно в бочке огурцы – битком
рядовой и генерал – живем.
Огурцы обдали кипятком
и решили засолить живьем.

Опохмелья каркнет через стол
археолог – лет через пятьсот
ну и крепкий, скажет, был рассол,
ну и крепкий, скажет, был народ!

И рукой красивой рот утрет...

1972

* * *

Трудно дышать, когда видишь тебя...
На ночь осталась, еще не любя
(Боже, прости нам стихию!)
Случай нас крепко друг к другу пришил.
Бог в тебя сахару переложил,
так же как соли и снега в Россию.

Сладкая женщина в горькой стране.
Мир не в своей тарелке...
В койке и на коктебельской волне
кем приходилась ты, сладкая, мне?
И отшутилась серьезно вполне:
«Целки – не Музы, Музы – не целки!»

Я потерял тебя – ветер отнес.
Как ты среди почерневших берез?
Хлопнет шампанского пробка
и долетит через океан:
«Как я живу? – не впадая в обман:
сладко, морозно и ёбко...»

1989
Айова сити

* * *

дóжил я до того что могилу отца
на погосте нашел с трудом
то ли дождь то ли волосы мертвеца
слепок горя снимая с моего лица
над землею стоят под прямым углом

геометрия жизни вполне проста –
вертикаль и горизонталь
их соединенье – обретенье креста
это та единственная высота
на которую не взовьется спираль

здесь я вижу что жизнь промотал свою
в общем так же как и отец
так что нечего спрашивать How are you?
и могила ложится в ладонь мою
тяжела и вязкá как свинец

1989
Айова сити



Эдвин МИНКЕ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

МАЛЬЧИК

Я вышел на крыльцо, на солнышко, и сел на перила. Из коридора меня шуганула тетя Маша. Тети Машина очередь была мыть коридор барака и она шуганула всех, кто там ошивался.

По крыльцу ползали годовалый Рэм и его старшая сестра Венера. Они были голозадые, в синих маечках.

Хлопнула дверь у Хусаиновых в тридцать шестой комнате и, сразу же, еще одна дверь хлопнула, в девятнадцатой, у Христи.

Жильцы барака, почти все уже, вернулись с ночной смены и укладывались теперь, а детей отправляли во двор.

Выползли на крыльцо близняшки из тридцать шестой, Домира и Рустам. Вышла и Христина дочка, белобрысая Катя. Она села на ступеньку и подергала себя за косички, туго ли заплетены.

– Хошь, чё скажу? – спросила она.

Я съехал по изрезанным ножом перилам поближе к Кате.

– Батя опять грозился Мальчика прибить, быдто бы он, когда со смены шел, его застукал утром, как из сарая вылезал и опять двух курей придушил, быдто бы.

– Хорь это.

– А батя говорит, быдто бы, Мальчик.

Мальчиком звали кудлатую собаку, дворняжку.

– Зря говорит, – сказал я, – хорь это. Твои уже легли?

– Хошь, чё скажу! – спросила Катя.

Я соскользнул с перил и Катя зашептала мне на ухо, и я засмеялся и спросил:

– Покажешь?

– Дурак! – сказала Катя, быстро покраснела и, мотнув косичками, оглянулась на коридор барака, где тетя Маша шлепала по полу мокрой тряпкой.

– А ну, шуруйте отседа! – сказала тетя Маша. Она уже вымыла коридор, опять окунула тряпку в ведро из оцинкованной жести и, встав раком и подоткнув юбку, стала пятиться, спускаясь со ступеньки на ступеньку.

Солнце светило на крыльцо и от вымытых досок поднимался парок. Подмышки тети Машиной блузки потемнели. Она спустилась до первой ступеньки, пошаркала по ней тряпкой, отжала тряпку и, только тогда, выпрямилась. Она огляделась вокруг.

Барак стоял на пригорке, у дороги, а за дорогой была зона. Солдатик с вышки помахал тете Маше и, подняв автомат, чтоб она видела и, обхватив ствол ладонью, стал быстро водить по концу ствола вверх и вниз, как по живому.

Тетя Маша засмеялась, повернулась к зоне спиной, повесила тряпку на перила и выплеснула грязную воду из ведра на траву перед крыльцом. Капли воды заискрились на притоптанных листьях подорожника.

Из окна комнаты, где жила Катя, выглянула ее мать и поманила Катю пальцем. В руке у нее были свернутые в трубочку деньги.

– Скажешь Вале, что я послала, попросишь чекушку. И давай быстро, – одна нога здесь, другая там.

Катя помчалась за чекушкой, а я стал ладить удочку. У меня затупился крючок-заглотыш и я наточил его. Из кусочка пробки и спички сделал новый поплавок и привязал, все чин чином. А Мальчик крутился в это время возле меня, он страсть как любил смотреть, когда мастерят.

Пес появился в поселке зимой, в самые холода, его не прогнали и он остался. Под логово он облюбовал себе заброшенную, совсем завалившуюся баньку, что стояла на пустыре за поселком. Он, поначалу, старался по-

меньше попадаться на глаза обитателям бараков, не попрошайничал, мышковал в поле.

Мы сами стали его подкармливать и он перестал нас бояться. Придумали ему кличку. Мальчик был совершенно безобидным существом, даже рычал редко. Конечно, еще пару лет тому назад, беспризорную собаку у нас непременно бы съели, а шкуру пустили бы на рукавицы, но голодное время кончилось, люди как-то подобрели, приободрились, стали чаще вспоминать прошлое, рассказывать про места, в которых они когда-то выросли и жили, и начали даже строить планы на будущее. И вообще, говорили, что дело идет к лучшему.

Когда Катя принесла своим предкам чекушку, мы с Катей смылись на Белую. Мы, собственно говоря, хотели на тот, на левый берег, где высокие, красные, глинистые обрывы были изрыты норами стрижей, где на заливных лугах рос дикий лук и свистели суслики, тревожась при появлении человека.

Но дяди Коли, перевозчика, одноногого инвалида войны, не было ни на реке, ни дома. Дочь его, Варя, сказала, что он пьет где-то с товарищами, а лодку брать никому не велел.

Мы удили сперва у нефтеналивного причала, а потом перебрались к насосной станции, там лучше клевало. Часа через три у нас уже было мелкой рыбы, бакли и сороги, на хорошую жарку и мы смотали удочки и вернулись в поселок.

Еще издали мы услышали собачий визг и со всех ног рванули к баракам, туда, где столпились люди. На лужке между нашим и седьмым бараками, коротко привязанный к пню от спиленной на дрова в прошлом году березы, лежал наш Мальчик. Пес еще подергивался иногда, а люди стояли вокруг и ругались между собой.

Катин батя стоял, слушал, пока ему не надоело, отнес дрын, которым он убил собаку, в свой сарай и стал умываться под рукомойником. Он сказал Кате, чтобы она ему еще воды принесла.

Христя позвала его обедать, а потом он переоделся и ушел на завод. Сегодня он подменял кого-то и работать ему было в вечернюю смену.

* * *

Мы шли по Аварийному поселку из ларька к себе в барак, и я сказал маме что-то, заговорил с ней, как дома, по-немецки. Мне было тогда не больше пяти лет.

Военный, шедший перед нами, обернулся и сбил меня с ног. Я свернулся на укатанном тракторными санями, обледенелом снегу со следами гусениц. Военный ткнул меня еще носком сапога и ушел по дороге вперед.

* * *

Говорят, что Каин убил брата своего, Авеля. В то время, когда Господь сказал Каину:

– Где брат твой, Каин? – Авель стоял у врат рая и ему сказали, что он попал туда, потому что Каин его убил.

– Не может быть, – сказал Авель. – Этого быть не может. Не мог мой брат меня убить. Отпустите меня, – сказал Авель, я пойду искать брата моего, Каина.

Так сказал Авель и не вошел в рай.

Я знаю, что скоро увижу Авеля и, если он до сих пор не нашел брата своего, я тоже пойду. И мы найдем Каина.

И тогда мы спросим у Каина, правда ли то, что говорят люди.

* * *

Я у одной бабы, Катей ее зовут, угол снял. А она потом, внезапно, замуж вышла. За Василь Василича.

Дело-то хорошее, но Василь Василичей, вдруг, стало пятеро. И все они одинаковые, все, вроде, как близнецы. Не различить.

Комната маленькая, а они ни друг друга, ни нас не стесняются.

У них дети рождаться стали. Первый уже скоро родился. Они его Ихом назвали.

Катя ходит и жалуется, что имеют ее днем и ночью.

Я-то, человек тихий, лежу себе в углу, а Катя ходит и жалуется.

Жаловалась Катя, жаловалась, а уже совсем скоро пришлось ей второго Иха родить. Тоже получился похожий на ребенка.

– Что же это такое, – говорит Катя, – перед соседями стыдно, совестно ведь. Что же это, мне всю жизнь теперь этих Ихов рожать?

Тут я ей и говорю: «Пойдем, Катя, в парк на скамеечку. Давай мы с тобой по-человечески это сделаем, по-людски».

Катя подумала и пошла со мной.

Я у нее до сих пор угол снимаю.

* * *

Когда-то в польском городе Лодзи или его окрестностях был священник, который довольно сильно пил.

Его служки решили однажды над ним подшутить.

Они изготовили книгу в таком же переплете как Библия. Только все страницы в книге с переплетом Библии были неисписанные.

Вышел священник на кафедру, открыл книгу, и видит – ничего в ней нет, ни одного слова.

Церковь полна народу, священник поддатый, служки втихаря подхихикивают.

Священник перелистал чистые страницы и задумчиво проговорил:

– Тут ничего нет, – опять полистал страницы и сказал. – И здесь ничего нет. – И священник закрыл книгу с переплетом Библии. И сказал. – Совсем ничего нет. А из ничего наш Господь Бог создал небо и землю.

Утверждают, что это была его лучшая проповедь.

* * *

Ночевала тучка золотая на груди утеса великана.

От этого произошел ангел. И взлетел ангел. И подломились у него крылья. И упал ангел. И пробил землю. И попал в преисподню.

А там сидит дьявол. Сидит дьявол, среди костров, кипящих котлов и всякого прочего.

И спросил дьявол: – Кто ты такой, откуда и как ты сюда попал?

И ответил ангел:

– Вот, понимаешь, ночевала тучка золотая...

* * *

Первые месяцы нашей эмиграции, теплую и не очень ласковую осень, мы, иногда хоть и впроголодь, но не унывая, прожили в Вене.

Как-то, под вечер, гуляли мы по набережной. Дунай катил свои серые волны. Вдруг дочка спросила у меня который час.

– Ой, – сказала она, пойдем скорее домой, пойдем быстро.

– А что?

– Как что?

Оказалось, что по телевизору должны были как раз показывать очередную серию какого-то американского фильма на библейские темы, а именно, о Моисее, об исходе евреев.

– Пойдем, – торопила меня моя шестилетняя дочь, – а то опоздаем, а я хочу увидеть, как фараон евреев из Риги отпустил.



Илья КУТИК

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

КАНКАН

Эти ножницы жизни: угрюмец-пастор
и щелкач-остроножка а ля Фред Астер, –
им уже не расстаться, пока – но чей? –
гвоздик в точке скрещения двух мечей
вбит, но так, что когда для бокальных даск
их сбегаются гарды, из туч раздается лязг –
и редеет гряда, как летит тополиный пух
или перья ангелов, – аж замирает дух,
и полоской миражной я гнусь между лезвий сих,
словно кто-то коленкой меня угостил под дых,
но – морочит пятно... Попробуй-ка различи:
то ли злато-набойка, то ли сбившийся набок
узор свечи...

То: мефисто-профилем нагл нагар
остывающий, а язычок на паркете
кривляется в танце, который Легар
не мог бы внушить ни одной оперетте.

О ветер, бросай занавеску ловить,
набрасывать сети на это мельканье,
на всплески вот эти, где Швы Половиц
прижаты друг к другу, как ноги в канкане.

Танец сей – как разверзшийся нессесер –
наводняет Далилами эСэСэР,
и резвятся девы, чьих лезвий скрипучий шелк
соревнуется с птичьми "чирк" и "щелк",
и летят колечки с бород и волосьев, как
алфавитов чешуйки, сдунутые во мрак
опустевших логов, не зная куда упасть,
и рука машинально львиную ищет пасть...

А ведь было так: тот, что слева – лев,
тот, что справа – прав, и сверкнув, как почерк,
зверь растекся кляксою, вмиг сомлев
совершенно – в объятьях его рабочих.
Но: Самсон – сам сон, потому во сне
был острижен он, и оставлен силой,
коренившейся в космах его, а вне
сновиденья – неодолим Далилой...

А на нас – наяву– напирает марш
шелестящих шелковых парикмарш,
и на крест их ножниц – лохматым соней –
осеняю себя – как святой Антоний.

Этот шаг отбойный – что мух – от себя гоню,
и надвинув тряскую простыню
на глаза, покорствую – недвижим;
но внутри – как зашитый во мне зажим –
шевелится холод, и если я простынь скину,
золотою ряской затянется тьма, и свет
поменяется с холодом температурой сред,
леденя – словно кино-дворцы Лукино.

Их зеленое золото, аквариум для теней
и для танца, медленного, как бедра
истощенных водорослей, – страшней
меньше тех, что мой одр атакуют бодро.
Но: сквозь жабры оркестра, вздымающие песок
и соринки света, вижу я слизь кишок

этой музыки, где талисманом с пальца
Поликрата – везенье мое гниет,
пока ей не вспорют – но как? – живот
эти ножницы танца, щупальцы и жужжальца...

Между двух зажимов, как "нет" и "нет" –
мое "да" отростками двух дефисов
протолкнуться пытается, но запрет
держит крепко его бесполезный вызов.

Крепко так, что, наверное, рыбья кровь
заросла чешуйками света в оном
промежутке, ничтожнейшем, чтобы кров
откровения новым ссудить Ионам.

Может, и оппозиции больше нет,
только – разница, если в цейтноте неком
упраздняется – сразу – различье сред
между них случившимся человеком?

Если так, то на что мне утробный перл,
убаюканный в скользких объятьях тины,
лучше сделаться жертвой, как Робеспьер –
из ребра его созданной – гильотины.

Или, может, вообще все обман – и за
мной, или перед? лишь воображенья обжиг?..
а Кальман – как кальмар – пускает нам в глаза
лишь газ и мускус этих черных ножек?..

СЦЕНА ГНЕВА И ОТРЕЧЕНЬЯ

Невыносимо, в целом, быть разъятым
на сто частей, себе – наперерез.
Но почему тогда мой каждый атом
звенит, как Ахиллес?

Есть слово "месть", похоже на "мест
свободных нет" – ни для чего другого,
и оловом сгибает это слово
шальной норд-вест.

Я говорю о дьяволе. Пока
он ветром рыщет в мировых пределах
и золотым зерном из кошелька
засеивает души мягкотелых
и длинноногих, –
как за "конский хвост"
их вырвать из его борозд?

Но дух молчит, свернувшийся улитой,
о дух-моллюск, в пяту свою убитый,
как Ахиллес...
Иль нет – как Филоктет:
распухшую поддерживая ногу,
подобный древнегреческому йогу
и отрешенный от земных сует...

Есть слово "месть", антоним ей "хандра",
хоть там где пишут мировые воен,
их смысл-антоним лишь чуть-чуть раздвоен,
как наконечник одного пера.

Я смят и скомкан, и впадать во гнев –
нет у меня ни силы, ни отваги,
ведь сердце – как комок бумаги –
вмиг распрямляется в огне...

ИЮЛЬ КОТОВ

Н. Трауберг

Имущие имя котов, это – вы,
которые, сонным предавшись утехам,
вдыхают, не пошевельнув головы,
с карниза нагретого ржавое лето.
Мышиные сны их бугрятся под мехом,
как мышцы атлета.

Июль – это месяц паломника ласк
египетской киски, чей визг и обиды,
и когти в подушечках красных, и воск
растопленный во многолюбящем лоне,
и марта кошачьего шумные иды...
Вы видели, сони?

Но сами того даже искренним снам,
смотрите, не выдайте видом иль словом.
Что вам дон-жуанская слава, что вам
нелепые страсти, а в старости – лепта
от солнца – лучами по шкурке, и что вам
все мурки Египта?..

Молчание – золото ваших пустынь,
обильных песком и трудом водокачек,
и речь их – журчанье в полдневную тень,
а ваше – урчанье, когда невесомый
Венерина зеркальца солнечный зайчик
вы ловите дремой.

Коты, но скажите, кто помнит из вас
военные песни роскошного Рима?
Не с ними теперь вы пускаетесь в пляс,
по комнате фантик бумажный катая,
вам их заменили буддийская дрема
и жмурки Китая.

Но если вас ливень в окне испечет,
ленивцев, объевшихся сном и мечтами,
когда вспоминает разнеженный кот
про рыбье густое и сладкое мясо,
ваш мех золотой засверкает мечами
железного Марса.

И в сон ваш пробьется сраженье галер,
в борта запустивших блестящие когти,
и вспыхнет зеленое марево склер
огнем неуемного рвенья и прыти
отважной. Антонии ревности, спите,
дремлите... дремлите...

ОРЕСТ

1

Блевотины корсет на теле правежа.
Кривая борозда на лезвии ножа,
а пахарь — Аполлон: в ее стальное лоно

он засевает рожь, а прорастает — ржа
кровавая. Но все ж коврового ужа
он выдернет из-под корявых ножек трона.

Он корень правоты, он сам себе корона,
но почему тогда так утренне свежа
туника паники, и плугом Аполлона
для бегства, может быть, оставлена межа?

О Гамлет греческий, твоих морщин гармошка
сыграла, дрожь уняв, мелодию конца...
Ковролово-красная дорожка
стекает с лестницы дворца...

2

Не Гамлет греческий, о нет!
Он просто венценосный ужик,
и после фебовых кормушек
потух его змеистый след.

Он сделал ровно два глотка:
из материнского соска
и из молочной соски бога,

чтобы, лизнувши сталь клинка,
узнать в ней привкус молока,
забыв про близость эпилога,

забыв драматургии ход,
к груди припав, как к двум фиалам,
в недоуменье мертвый рот
целуя пересохшим жалом.

3

Он уподобился отцу,
что, стоя над убитой ланью,
опешив, меч поднес к лицу,
который дочь подверг закланью.

Царь обнял сына на прощанье
и поручил его гонцу,
чтоб тот мальца учил венцу
и подготовил к встрече с бранью.

Хоть телом был Орест не хил,
не вышел из него Ахилл,
он только ахнул и по-новой

в родную жертву меч вонзил,
вложив в удар всю ярость сил,
на опыт положась отцовый...



Михаил ЛЕМХИН

ЗАМОК

Повесть

Гансу Бауму
и
Вольфу-Гюнтеру Вильмзену

Макулатуры на столе явно не убавлялось; Андрей пересчитал – хотя с утра решил, что до конца дня считать не будет – отработанные заявки и тоскливо глянул на рыхлую гору писем, буклетов, чертежей, занимавшую полстола. В конце-концов, у меня еще три дня. Ну, четверть-то я сегодня сделал.

Видно было, что, наверняка – нет. С другой стороны, нужно в эту нудятину включиться. Сегодня – пусть десять процентов сделал, завтра двадцать, а в среду и в четверг – по тридцать. Это здраво. В пятницу сдам – и пламенный привет. Выгорит, так после отпуска прямо к Славке в отдел выйду. Уж, всяко, после отпуска, даже если и в БТИ останусь, такую гору запускать не буду.

Это называется, подумал Андрей, онанизм. Тос-с-ка. Курить брошу. Зарядка по утрам. Бегать каждый день по три километра. Какой-то ведь сюжет забавный вертелся о благих намерениях? Вертелся, вертелся и пропал. Сгинул. Ни фига не вспомнить. Жалко, хороший, кажется, сюжетик был.

Эти смутные сюжеты, казалось, не могли никуда подеваться, днями он повторял фразы – смешно было записывать, а потом их оттесняла суета, и вдруг через несколько дней оказывалось, что какой-то туман застелил, покрыл их и он, сколько ни тщился,

вспомнить не мог ничего, и тут уж, разумеется, забытые сюжеты превращались в замечательные, просто единственные какие вообще стоило писать, и Андрею чудилось, будто, вот он упустил самое значительное.

Правда, когда он проигрывал свои сюжеты, придумывал фразы, лица, все это оставалось бесформенным и невнятным, Андрей никогда не мог и боялся додумывать до конца. Это он твердо знал – если все продумать и разметить, не останется никакого стимула, чтобы сесть за стол, никакого интереса. Ему нужно было состояние, может быть просто слово, и писать не думая ни о чем, кроме фразы, и если фраза шла гладко, значит – порядок. Фраза всегда вела сама.

Переберусь к Славке – во всяком случае избавлюсь от писанины, думал Андрей. Попробуй-ка чего-нибудь напиши, когда к бумаге отвращение, хоть тебе сюжет шевелится, а писать, ручкой по бумаге водить – просто остоебло. Уважаемый товарищ Какашкин! Высылаем Вам документацию на БН-14/17. К сожалению, описания 14/19 мы пока не имеем. Глубоко, блядь, и стилистически остроумно. Крутой новатор. У Володьки в лаборатории уже на моих глазах шесть лет висят те же самые фотографии. Говорит, когда был фотолюбителем, даже камеру с собой таскал повсюду, а теперь попросишь пленку проявить, морду делает. Прямо ты его этой пленкой обременил. Естественно. Для себя может быть только то, что никакого отношения к работе не имеет, чистое хобби, марки собирать, говорит Володька, лучший наркотик. Нельзя же на работе писать и после работы писать. При этом и совершенно не существенно – что. Пишешь и пишешь. Может, я в свои бумажки душу вкладываю. Где же я ее еще одну возьму после работы? А чего, душа-то ведь там и живет – в стержне шариковой ручки. Могу писать рассказ, могу – отчет за первый квартал. Паста одинаково расходуется. Потом стержень выбрасываешь и вставляешь новый. Потом ручку выбрасываешь. Кстати, и нет. Хрена ее выбрасываешь целенькой. Она ломается, меняешь пружину, скотчем ее заматываешь, клеишь. Околеваешь-то не целеньким, а развалиной тоже. Тридцать два года – не хуй собачий. Полжизни вытекло бессловесно. Чтобы есть. Работаешь, чтобы есть, а ешь, чтобы работать.

Дежурная эта не хитрая фраза как-то уж очень застряла в голове. Андрей произносил ее и укорял себя, что говорил об этом с теми же людьми, и фраза была затертая и неудачно построенная, проговаривалась – и продумывалась автоматически, не меняя даже тональности беседы.

– Пойду перекусить, – произнес Андрей ни к кому не обращаясь. Он погасил сигарету и вытащил из под стола свой портфель. Вот где кайф. Пришел, отметился и можешь хоть сразу линять. Тоже не во всякой конторе позволят.

Пройдя коридор, Андрей поднялся на третий этаж и двинулся по симметричному коридору назад, только этот коридор был чуть длиннее и упирался в лестницу, по которой можно было спуститься в подвал. Какой-то мудак придумывал эти коридоры. И

лестницу целевого назначения – в подвал с третьего этажа, минуя второй.

В подвале располагалась множительная техника – "Эра" и ротапринт. Володькина лаборатория тоже была в подвале, в конце подвального коридора, и Володька считал ее самым удобным местом в замке. На дне, говорил он, и это словечко переняли. То есть, без крайней нужды никто сюда не ходил. Место здоровое, говорил Володька, в социальном отношении. Дверь лаборатории была оббита металлом, и Володка еще говорил – за железным занавесом, но это не привилось. Только – на дне.

– Ну, вот, старичок, – сказал Володька сразу в дверях, – ты в самое вовремя. Я тут халтурку маленькую сделал – выставил одного типа на коньяк.

Андрей прошел в большую комнату – Володька ее называл светлой. Здесь стояли шкафы с негативами и письменный стол, здоровенный реликтовый диван, оббитый коричневой растрескавшейся кожей, и была еще машина, чтобы сушить фотографии.

Можно было, конечно, и не пить, хотелось жрать, а пить не хотелось.

Приблудные люди, посетители, говорили, что замок на них нагоняет тоску. Может, с непривычки тоску, а так скука, ну, обычная. Здесь вот действительно тоскливо в этом подземелье. И написать про все это – не враз, размышлял Андрей, сглатывая и пробуя языком нёбо, коньяк обволакивал рот, хоть схему черти. С первого этажа и до подвала – ни одной двери.

– Слышь, старик, – сказал Андрей. – Зачем ему был нужен такой замок?

– Зачем заниматься спортом?..

– Едрит твою, я ведь апельсины утром купил, – сказал Андрей. Он нагнулся, открыл портфель и выбросил на стол четыре апельсина. – Закуска.

Володька налил еще по рюмке и принялся расчищать апельсин; он надорвал зубами апельсиновую шкуру и сдирал ее, подковыривая пальцем, чтобы не повредить дольки.

Андрей с удовольствием следил за ним. Много ли надо – человек чистит апельсин так же, как и ты, и достаточно. Чистит так, значит так приятно. И мне приятно – о чем же говорить? Какого поэта вы любите, спрашивать? Из современных? Ах, Евтушенко... Что – кричать, ногами топать? Так уже не семнадцать лет. И мне какое дело.

Динькнул звонок.

– Сейчас, – сказал Володька. – Оставь, не дергайся, – сказал он Андрею, – кого это волнует.

– Как хочешь, я бы убрал.

Лязгнула дверь, потом с грохотом захлопнулась, и Володька произнес:

– Светочка, проходите сюда... Да что вы. Звоните пожалуйста сколько угодно.

– У вас тут весело, – сказала Светочка, входя.

– Скорее наоборот... – фраза не сложилась и повисла в воз-

духе, и Андрей сообразил, что слегка уже опьянел.

– Грустно?

– Да нет, – проговорил Андрей, пытаясь взять себя в руки, – у нас, Светочка, ни грустно, ни весело.

– Сидим-скучаем, – включился Володька. – Без женщин ни веселья, ни грусти – никаких чувств.

Светочка плюхнулась на диван рядом с Андреем, подвинула к себе телефон и стала набирать номер.

Светочку эту Андрей видел двадцать раз, не зная, правда, что ее звать Светочкой, она работала на "Эре", в том же коридоре, рядом.

– Украсьте нашу компанию, Светочка, – говорил Володька, извлекая из сейфа еще одну рюмку. Светочка держала трубку и прислушивалась, видно, там, куда она звонила, к телефону никто не походил. – Украсьте нашу скучную компанию. Оживите наши чувства. Погибаем.

Засечь бы как-нибудь переход, когда одно настроение сменяется другим, думал Андрей. Даже не настроение, а состояние – безразличие и любопытство... Вдруг все приятно: курить, слушать Володькин трёп, разглядывать девицу.

Написать рассказик про человека, который не в силах справиться с этим – ему то смешно, то плакать хочется, и он сам не может разобраться в себе. Формально такую штуку очень интересно сделать. Все внутри. Слово, ну предложение описательное, снаружи – потом две страницы внутри. И нудятина выйдет. Никому это неинтересно. Пустом надо быть, чтобы так написать. Тоже мне – сюжет.

Черт с ним, с сюжетом, думал Андрей, закуривая, хоть бы начатые сюжеты сделать. Да вообще – сюжетов, что грязи. Забавный, между прочим, сюжет про Пикуля, то что Витька рассказывал, говорят, что сам Лёлик его читает и покровительствует ему. Сам не сам, а покровитель, несомненно, есть. Почему не Лёлик? Написать это можно было бы обломно: Лёлик читает книжку Пикуля на фоне каких-нибудь событий. Скажем, донесения советского шпиона, а он все примеривает на сюжет книжки, перемешивает, сплетает, отдает команды, грызня, подсиживание и "У последней черты" – или как там называется? – войска входят в Афганистан, а Лёлик на заседании под столом, как школьник, читает Пикуля. Ну, конечно, не так в лоб, но все одно, у него под руками такие сюжеты, целый мир можно перевернуть одним жестом, а рядом – даже не рядом, а впереди, потому что хобби всегда впереди, эрзац, заменитель реальности. И куски из Пикуля в Лёликином исполнении, скажем, внучке назидательно читает или Суслову пересказывает сентенции из Пикуля, выдавая за собственные умозаключения... Все это перемешать с анекдотами про летающего, но очень низко, бегемота, про оловянных солдатиков и – просто фразы со сжатыми зубами: "Дроххие тэррищи... ц-цк... имперрэлисты эвсэх срэннн..." или "Ммэнння чассто крэтиккуут... ц-цк... зэ тэ чтэ ийя... ц-цк... нэ уммеию оддыхэть..."

И двое младших референтов, которым весело, – есть же там такие – насмехаются над шефом, вставляют ему в текст фразы,

которые он прочесть не в состоянии, а где особо одушевленные места – втыкают цитаты из Пикуля или из журнала "Здоровье", одним словом, из любимых книжек. И сочиняют стишки, вроде:

Дорогой наш Хомейни,
Ты чуток повремени –
Вот расправимся с Бабраком
И тебя поставим раком.

Сочиняют стишки и выдают один другому за фольклор.

Слабо́, подумал Андрей. Слабо́. Он знал, что не напишет такого, и знал почему. Потому что страшно. Ну, страшно, я и не хорохорюсь и не прикидываюсь, страшно. Да ведь это все равно, что облиться бензином и сгореть на Дворцовой площади. Пользы – ноль. И еще меньше.

–... Оживите наши чувства, – Светочка передразнила Володьку. Она положила трубку. – Куда же делись ваши чувства? Умерли?

– Заснули Светочка, спят наши чувства, – ворковал Володька, наливая. – Да вы уже их оживили одним своим присутствием, замечаете? Вот я вдыхаю аромат ваших духов, и это прекрасный запах...

– Как же я могу оживить ваши чувства? – перебила его Светочка.

Она протянула руку за своей рюмкой, и Андрей, обмирая, ощутил ее прикосновение. Мельком проскочила, уйдя на второй план, боязнь, что тело может не выдержать такого напряжения, но этот секундный испуг сменился другим – страхом показаться смешным, в таких случаях за столом или где-нибудь в автобусе надеешься, что это никому не заметно, но Светочка почувствовала сразу, и Володька заметил и завопил с разыгранным по всем правилам восторгом:

– Вот видите, глядите, сколько в нем сразу чувств!

– Ну, допустим, не сколько, а одно, – произнесла Светочка.

Андрей глянул на нее. Сознание смикшировало ее голос и удары крови в затылке. Андрей пропустил момент, но был уверен, что и Володька дрогнул.

Но Светочка не остановилась:

– Это чувство вызвать не сложно, – продолжала она. – А какие еще?

– Например, – сказал Володька (по нему ничего не было заметно), – здоровое мужское соперничество. Очень естественное чувство, украшающее человека.

– Несуществующее чувство, – сказала Светочка. – Это архаизм. Устаревшее. Как в словорях пишут, – пояснила она: – "Сударь, сударыня" и рядом – устаревшее.

– Вы, я вижу, решительная женщина, – произнес Андрей, физически ощущая уже просто пошлость такой фразы, чувствуя, как переступает вкусовую границу и, вероятно, именно, как следствие этого, Андрей, поворачиваясь к Светочке, съехал по зыбкой поверхности дивана совсем к ней вплотную.

Это могло быть случайностью, а, возможно, он сам хотел изобразить это случайностью. Наблюдай он со стороны кого-то дру-

гого, он обязательно, с усмешечкой, обратил бы внимание на такое, якобы неловкое движение. Во всяком случае, он бы не поверил другим и честно не поверил себе в этом мимолетном расследовании, которое провел его мозг – где-то там, внутри, в себе сохранившей методику и самый процесс анализа, – выбросив на поверхность только результат.

Ольга, жена Андрея, говорила, что он вечно выискивает плохое, будто бы лишь дурные бывают побуждения. Андрей – тоже с Ольгиных слов – и бравировал этим: подсознательную, инстинктивную механику поступков Андрей всегда, это правда, выделял.

– А вы, я вижу, решительный мужчина, – отозвалась Светочка, легко перейдя в предложенную стилистическую манеру.

Андрей протянул свою несколько одеревеневшую руку и положил ее на диванный валик, за спиной у Светочки.

– Ага, – сказал Володька. – Уже обнимаются. Начнем здоровое мужское соперничество.

Он налил себе коньяку и, усевшись на валик слева от Светочки, забросил свою руку чуть выше руки Андрея.

– Кого выбирает прекрасная дама?

Прекрасная дама поставила рюмку на стол.

Она держалась отлично. Не было ничего противного, дешевого блядства, когда чувствуешь сам свое унижение. Попробуй, напиши так! В ее поведении была несомненно игра на повышение, игра, но не профессиональное подначивание.

– Так кого же выбирает прекрасная дама? – повторил Володька, перебрасывая свою руку на плечо Светочки.

– А я должна выбирать?

Андрей тоже переместил свою руку, и пальцы сразу же обрели удивительную чувствительность. Мизинец, двигаясь вверх и вниз, ощущал через тонкое платье какую-то бороздку на теле, пальцы скользили по гладкой материи, словно бы не замечая ее, словно ее и не было вовсе, средний палец мягко погружался глубже остальных.

Казалось, все ощущения из внешнего мира поступают только через эти пять пальцев; волнами, начинающимися от пальцев, по телу прокатывалась дрожь.

– Зачем же ограничивать мою свободу выбором?

Эта фраза своей неуместной серьезностью, даже не сразу понятная, выхвачена была откуда-то из другого мира, из мира за границами игры, и она разрушала игру; тут должно было включиться сознание, чтобы продолжить ее на другом уровне, и сознанию пришлось взять контроль в свои руки, но прежде, какие-то мгновения, словно воздух, вырвавшийся из шарика, ощущения, каждое из которых было острым и свежим, и неизведанным – растворились без следа, потерявшись среди всяких шумов, доносившихся с улицы, рокочущей в трубах воды, ударов сердца, гудения вентилятора за стеной, запаха сырости, плесени, подвала, и пота на ее шее, на лбу и даже на кончиках пальцев. Запахи, звуки уже проникали в мозг через уши, через нос, а не через пальцы, которые опять стали просто пальцами, утратив свою сверхчувствительность.

— Что делает женщина с человеком! — воскликнул Володька фальшивым голосом, продолжая зачем-то игру.

Всегда странен этот переход из игры в действие, пытаешься увидеть себя со стороны, оценить, сохранить лицо, донимая себя: то ли же самое чувствует и она или — что-то другое, наблюдает и просто ждет, когда ты доставишь ей удовольствие. И это одновременно — хочется сохранить контроль, быть хозяином положения (разумеется, хозяин тот, кто владеет собой), и хочется вырваться из себя, потерять голову. Желание, конечно, говоря красиво, парадоксальное, нелепое желание, нелепое, как и все желания. Хозяином хочется быть, это от страха, боишься всех, если беззащитен — каждый может ударить, когда откроешься, если беззащитен, ты бы ударил, я — нет, но другой ударит, а кто — не знаешь, каждый, тот, кто не ты, — загадка, неправда, ты тоже ударишь, покрасуешься перед собой, а все равно ударишь того, кто беззащитен, потому что ты сам такой же, не лучше других.

... Сознание возвращалось естественным путем — обороняясь, проворно поглощая ставшие на короткий миг бесконтрольными ощущения. Перенасыщенный их раствор смешивался с чем-то другим: опытом, иронией, страхом. И вот опять — все понимаю; вот и вся механика, думал Андрей, ощущения, если их оказывается вдруг больше, чем может мозг осилить, создают иллюзию — или это и есть? — свободы. Мозг не справляется. Удар может всколыхнуть нас. Прикосновение. Сигарета обожгла пальцы. Секунда — и пошли круги, и все ушло вниз, под воду, в немоту сознания. Перемололось и усвоилось, и ничего не осталось.

Андрей ткнул в пепельницу забытую сигарету, освобождая вторую руку.

Звук расстегивающейся молнии — тоже толчок — всколыхнул какие-то обрывки сексуальных фантазий, слова, картинки — словно стоп-кадры из порников в переводе на язык отечественного быта.

Естественно, текли мысли, изощренное воображение и минимум чувственного опыта. Вещи, брошенные на спинку дивана, привлекают взгляд сильнее того, что было ими скрыто; любопытно рассмотреть их, уловить запах этих вещей, фактуру, какие они на ощупь, если легко, чуть касаясь, провести рукой... синтетика, отливающая по белому разводами неестественных оттенков... Все придумано заранее. То, что известно, изведано — повторяется, повторяется, повторяется, и то, что выдумано — повторяется, и глупо прилагать усилия, в надежде найти нечто новое; сознание давно — и, несомненно, справедливо — рассудило, что ничего иного быть и не может. Или ничегошеньки не понимать и всего хотеть. Поэтому хотеть. Или — понимать, и поэтому ничего не хотеть. Третьего нет. Третье, это жить счастливой спокойной жизнью олимпийца, время от времени, для разрядки, для здоровья, совершая маленькие легкие безобразия. Ездить к Луизе Ивановне на заставу. Интересно, теряли они хоть на секунду контроль над собой, черт, отчего я такой урод, вот женщина наверняка — я уверен — не видит сейчас меня, эту комнату, потолок, паутину, Володькин уже выпирающий животик с блеклой

рыжеватой растительностью, его клетчатую рубашку "Lee", болтающуюся перед самым ее лицом, глаза закатились, кажется даже, что она сейчас невменяема, придется давать ей воды, слегка похлопывать по щекам... Но этого не случится, пройдет минута, две, три и она будет сидеть на диване, покачивать ногой, шутить, ревниво поглядывая на нас, ценим ли мы, чувствуем ли, какая удача нам привалила. А я размышляю сейчас, со смыслом ли движется ее рука, и мои губы, мой язык, мое тело механически делают то, что всегда, ощущая знакомый вкус, известный запах, обычное, мгновенными волнами, выключение сознания, на доли секунды вожделенное расслабление, но не существенное, потому что сознание работает, хотя и дискретно – а откуда известно, что оно и вообще не дискретно? – работает, как всегда, и судорожные толчки не затмевают реальности зрения, слуха, обоняния, мысли – как пространство между кадрами в кино не помогает нам распознать, что здесь жульничество, 24 кадра в секунду, изображение не прерывается, кажется плавным, а мы даже не замечаем этих толчков, сознание работает постоянно, оно обманывает нас, пленка должна разорваться, чтобы мы увидели чистый белый экран, который нас дурачит...

Допили коньяк, и разговор клеился связный и спокойный; Андрей сидел удобно, в самом углу дивана, прислонясь к валику и к спинке, из которой лезли клоки слежавшейся ваты, и разглядывал картинки про атомную войну, расклеенные Володькой по стенам вперемешку со своими фотографиями.

Плакаты были настоящие, высокий класс, не современное эклектическое сюсюканье меж фразами об американской военщине и разрядке, а цельные, конгениальные эпохе, родившиеся под истерический, с дребезжанием в голосе, визг: "Империалисты!!!" Несомненный китч.

Кто-то, естественно, лежал ногами к взрыву, обозначенному на горизонте белым облачно-дымным грибом, однако, вся картина имела зловещую пурпурную окраску, кого-то несли – синюшное лицо с пурпурным же отсветом на щеках демонстрировало, если можно так выразиться осознанное страдание, а положение пострадавшего на носилках вполне соответствовало бы положению данного лица в строю, если бы его сейчас перевернули и поставили бы на ноги, широкие брюки, напоминающие почему-то щеки хомяка, свешивались с носилок, но не опадали вниз – это было бы некрасиво, – брюки колыхались, нарисованные по всем правилам реализма. Кто-то, среди фундаментальных наших билдингов в стиле 50-х годов, строился в равные шеренги, обрядившись предварительно в противогаз...

Проснулся Андрей мгновенно, может быть что-то разбудило его, а может быть постепенное пробуждение слилось со сном, но сна Андрей вспомнить не мог, хотя, кажется, что-то снилось.

Шумела вода в трубах, где-то на набережной прокатилась машина. На столе было пусто – ни рюмок, ни корок апельсиновых, ни пепельницы: аккуратный Володька все убрал.

Андрей глянул на часы как раз в тот момент, когда в правом углу дисплея мигнула в последний раз девятка и, немедленно,

четыре цифры, перестроившись, изменили свои очертания. Андрей даже не сразу сообразил, что "1:00" – это час ночи. Какое-то время он пытался вспомнить, когда смотрел на часы в последний раз, хотя уже понимал, что сейчас не день, а ночь.

Здорово. Нехудо я поспал. Андрей встал и на затекших ногах сделал пару маленьких шажков. На столе лежала записка: "Андрей! Вертухни рубильник. Дверь закрой на оба ключа. Эти ключи мои, принеси мне их завтра, казенные я сейчас сдам. Старик, не забудь выключить свет. Все равно куда повернуть: вправо или влево".

Ключи лежали на столе.

Андрей опять посмотрел на часы. Было час и две минуты. Чего это я отрубился? Выпил чуть-чуть. Удивительно, неужели эякуляция отнимает столько сил. Всегда в сон кидает. Нужно полюбопытствовать у кого-нибудь, кто понимает, как это связано одно с другим.

Андрей прошел в темную комнату, там горел красный свет, но Андрей бывал здесь тысячу раз и ориентировался хорошо. Он умыл лицо холодной водой, потом пустил немного теплой и прополоскал рот.

Кажется, совсем теперь проснулся.

Андрей порылся в портфеле, нашел там апельсин, расчистил его и съел несколько долек. Больше не хотелось. Он вытащил из стола чистый лист бумаги и положил на него апельсин.

Всё, пошли. Андрей закрыл портфель, сходил ополоснул еще раз руки от апельсинового сока и вернулся в светлую комнату.

Все тут было в порядке.

Андрей выключил свет, немного повозившись закрыл дверь на оба ключа, а ключи бросил в портфель.

По-прежнему шумела где-то вода, и больше никаких звуков не доносилось. Естественно, никого и не было. Дежурный, наверное, спит где-нибудь, а кому еще здесь толкаться, думал Андрей, шагая по лестнице. Скользя рукой по металлическим перилам, приделанным к стене, Андрей взобрался наконец на третий этаж.

В коридоре свету тоже было не густо, но тут, по-крайней мере, не ёбнешься. Здесь бы мог Андрей пройти и на ощупь. Коридор поворачивает, дальше – как бы холл, прокуренный, здесь раз в неделю проводят летучки; на стене справа доска почета, показатели, объявления, стенгазета, доска приказов, коридор и опять поворот.

Пол скрипел под ногами, Андрей подумал, что встречаться с дежурным совсем неохота – разговоры, объяснения, хотя, наверное, дежурный спит.

Андрей вышел на лестничную площадку. Теперь вниз. Только еще летучих мышей не хватает, думал Андрей, поглядывая на серые своды, чуть потерявшие в полумраке свою знакомую конкретность.

Последние два марша были настоящие, дворцовые: мраморные ступени, перила с бронзовыми балясинами и вестибюль, отделанный каким-то известняком с прожилками под мрамор.

Этот вестибюль с мрамором, бронзой, ампирными светиль-

никами, немедленно извлекал из подсознания кухонные запахи.

Года два назад здесь свалили барахло из буфета: ржавые титаны, витрину с обломками оргстекла, торчащими наподобие горных хребтов, прилавок-раздачу с колыхающимся и гремящим металлом — и все это воняло подгоревшим жиром или солидолом, на чем они там готовят. Два года уже воняло, хотя, казалось бы, железки-то запахов не впитывают — воняли, вероятно, пластмассовые детали. Во всяком случае, эта вонь в вестибюле превратилась в своеобычный запах работы — вход и выход, — отмечаемый каждый раз не сознанием, а спинным мозгом, условный рефлекс на запах.

На последней ступеньке Андрей остановился и достал сигарету, чтобы прикурить не на улице — на улице задувало зажигалку.

Он затянулся, щелкнул зажигалкой еще раз, просто так, и, перехватив портфель левой рукой, направился к двери.

Массивная дверь открывалась со скрежетом, но теперь было уже наплевать, если дежурный и услышит, и выглянет в окно, увидит Андрея, пересекающего двор, шансов нет распознать, кто это: портфель, майка, джинсы — ничего индивидуального со спины. Все-таки Андрей придержал тяжелую дверь, чтобы она не грохнула, и закрыл ее почти без скрипа. Так же аккуратно он нажал на вторую дверь, но она не поддалась, Андрей толкнул ее сильнее, уперся плечом, поворачивая одновременно ручку, звякнули стекла, дверь, похоже, была заперта.

В панике Андрей снова толкнул дверь, опять что-то задребезжало, зараза, дежурный сейчас примчится, со страхом подумал Андрей, он пнул первую дверь и, в три шага проскочив вестибюль, побежал вверх по лестнице. За спиной с визгом захлопнулась дверь, подгоняя его, а он в это время уже был на втором этаже. Чуть не налетев с разбегу на штабеля стульев, которые загораживали полкоридора на повороте, он пробежал через холл, по коридору, миновал актовый зал и через сцену, гулко отдававшую его шаги, через заднюю комнату, выскочил в другой коридор.

Здесь тоже было темно. Горела одинокая контрольная лампочка. Это уже была новая контора; Андрей знал, что впереди есть лестница, но с разбегу проскочил ее, добежав до конца коридора, он с ужасом увидел — тупик. Перед ним была стена, справа и слева двери каких-то кабинетов.

— Идиот, — произнес он вслух.

Сердце колотилось. Постыдный, глупый страх, вдруг погнавший его, представлялся ему теперь каким-то просто помешательством. Наоборот, стучать нужно было, в дверь колотить, дежурный явился бы и открыл.

Андрей зажег погасшую сигарету, перебросил портфель в правую руку и двинулся обратно. Разумеется, дверь была на месте.

Кайф, что у нас здесь не ящик, думал Андрей, спускаясь, а то какой-нибудь комитетчик, наблюдая через камеру мою беготню, умер бы от смеха. Одним комитетчиком меньше бы стало. Он весь взмок от этого бега. Или от стыда, подумал Андрей. Ну, чего

я испугался, дубина? Вот балда... Андрей оступился и, опять облившись потом, согнув ногу и вытянув свободную руку, скатился по ступенькам и как-то боком брякнулся на лестничную площадку.

Света здесь не было совсем. Андрей посмотрел назад. Слабый отблик играл на отполированных за два века ступенях, а рядом, левее, была почему-то еще одна лестница вверх, и на ее ступенях тоже играли блики.

Черт, подумал Андрей, это перст судьбы, что я ёбнулся. Значит, сейчас бы с этой площадки я бы поплелся по коридору и в какой-нибудь тупик. Падлы, надо же, все перегородили.

Хотя Андрей и не помнил этой лестницы, снова ведущей наверх, но такая система лестниц была вполне знакома: спускаешься на площадку, скажем, второго этажа, и перед тобой два пути – коридор, обозреть который невозможно, потому что через три метра он круто заворачивает, и другая лестница вверх. И, наверняка, коридор упрется в тупик, лестница же вверх приведет тебя к другому магистральному коридору. В замке таких идиотских лестниц было множество. И все одинаковые – сводчатые, узкие, только одна серенькая, думал Андрей, поднимаясь вверх, осторожно пробуя ногой ступеньки, а другая голубенькая, третья, сволочь, бежевая, Андрей сделал шаг и стукнулся коленом о твердое, а ступня повисла в воздухе.

Дыхание сразу перехватило. Страх как уж взялся сегодня за него, так и не отпускал.

Теперь было ясно. Идти нужно было с площадки вниз, как он и шел, пока не навернулся. Там конечно же не было никакого коридора, а была там нормальная лестница, а эта коротенькая лестница вверх – непонятно зачем вела к каменной яме. На правой стороне этой ямы, внизу, имелось окно с закрашенными голубой краской стеклами. От окна шел слабый свет. Дно ямы – неглубокой, метра два – было забросано окурками и пачками от курева, а край лестницы отгорожен перилами из двух параллельных прутьев.

Мило. Вот большевики перила поставили, спасибо им, а то бы сыграл я сейчас туда.

И на хрен она нужна?

Андрей бросил в яму свой окурок, плюнул, послушал, как шлепнется плевок, и пошел вниз.

Конечно, была лестница вниз. Самая обыкновенная, как все. Андрей, размышляя о собственной трусости, шел теперь очень осторожно, но больше ничего неожиданного не встретилось. Тем более, что стало немного светлее.

Он вышел в вестибюль, здесь догорала, помигивая пурпурным светом, люминисцентная трубка. Стены, увешанные объявлениями, вызвали в памяти плакатные картины атомной войны, персонифицировавшейся почему-то в образе противогаза, который, надо думать, нужен будет, случись война, как гвоздь в жопу.

Здесь были закрыты обе двери. То есть, до наружной двери Андрей и не добрался, уже внутренняя оказалась заперта.

Так. Это финиш. Значит, все закрыто. Можно, конечно, дернуться дальше, но, сто из ста, что и третий вестибюль заперт. Впрочем, Андрей и не знал, как туда пройти.

Есть еще до фига выходов в наружной части замка. Парадный-то наверняка заколочен, но есть еще штук пять или шесть, к ним, похоже, нужно пробираться через подвалы. Да нет, это несерьезно. Бродить по подвалам – Андрея даже встряхнуло – со слабой надеждой отыскать эти двери и убедиться, что тоже заперты и они.

Андрей представил себе, как выходит через наружную дверь, прямо в объятия милиционера, который всегда там, на набережной, прогуливается. Ночью. Андрей взглянул на часы, в половине второго ночи. Будь я на месте милиционера, я бы точно замел этого типа с портфелем. И уж по крайней мере поинтересовался бы, что это он в портфеле тащит, чего он в замке напиздил. А у меня папка со всеми бумажками, тетрадь и блокнот.

Конечно! Там прямо на обложке написано, мол, диссидентские писания. Крамола. Он так враз к ним и кинется! Хотя, с другой стороны, случайно можно открыть на любом месте. Андрей принялся соображать, какие это там, в его рукописях, могут быть места, которые и при случайном взгляде покажутся криминалом. Самое смешное было в том, что Андрей даже не мог толком припомнить содержание всех этих обрывочных записей, эпизодов и фраз будущих рассказов. Два были начаты, но очень давно, года три назад. Хрена – три! Про поезд и вообще до армии, значит семь лет назад, три года – это про встречу класса и отказников.

Последний рассказ-то я написал шесть... пять лет назад, подумал Андрей.

Писатель, думал Андрей, поворачивая с лестницы в какой-то коридор, писатель. Вот ведь – гордыня. Писатель, с презрением прошептал Андрей. Таких писателей культивировать нужно. В торфоперегнойных горшочках. Я бы на месте Андропова таких писателей бы поощрял. Пусть думают, что они писатели, упиваются своим писательством. Себя сохраняют, оберегают. Для грядущих боёв. Все равно – хуй напишут.

Ну и что, подумал Андрей, выходя опять на лестницу, ну напишу я про поезд, дальше что, ну прочтут два, три десятка приятелей, им станет от этого хуже? Ах, невидаль! Да если бы каждый прочитал – какая была бы польза? Комар пискнул. За бугром "Архипелаг" прочитали – и что? Ну а у нас? Ну, прочел бы каждый совдеповский житель "Архипелаг"? Неприятно, конечно. А произошло бы что? Ни хрена бы не произошло. Это после "Архипелага"!

А что вообще после "Архипелага" можно написать? Смешно даже говорить. Автобиографию в трех экземплярах.

Андрей наобум прошел по коридору, опять уткнулся в незнакомую лестницу и по ней двинулся вниз.

Пусть этюды, думал Андрей, но все же свое время они характеризуют. Что-то они дают для характеристики времени?

Он остановился на площадке второго этажа, разглядывая крапчатые ступени, ага, это мел не до конца отмытый, видимо, ремонтировали здесь недавно. Он закурил и двинулся вправо по коридору.

Детские этюды, сексуально-политическая атмосфера шестидесятых-семидесятых годов. Для таких же детей. Дети теперь другие. Сашкин сын в восьмом классе девок одноклассниц натягивает, да, Сашка говорит, что все там уже трахаются, ну, не все, человек десять, самые шустрые, они же не самые плохие. А почему вообще сразу — плохие? Откуда это слово возникло? Конформистское сознание, насквозь конформистское, писатель сраный, плохие сразу, как классный руководитель рассуждаете, товарищ писатель доморощенный. Вообще-то это вряд ли хорошо, что они уже трахаются. В принципе. Ну, и не плохо — в принципе. Что воду-то толочь, вот и напишите об этих ребятах, гражданин писатель. Для этого нужно побыть на их месте. Любопытно бы, да невозможно, к сожалению.

Он именовал себя писатель чаще всего иронически, одновременно и занося эту иронию в свой актив, но все же писателем себя считал, и вот сейчас, с каким-то страшным холодком внутри, он перебрал в уме в одно мгновенье всю свою писанину — свои жалкие крохотные рассказики, две повести, которые он уже несколько лет не решался взять в руки, боясь прочитать оттуда хотя бы строчку.

Если бы я сегодня выбирал, подумал он, ну три, ну четыре рассказа, от силы, не стыдно было бы напечатать. Как приложение, подумал он, утешая себя, вот если бы я написал про рефьюзников и еще про поезд, и эти старые рассказы чего-нибудь бы значили. Именно, как приложение.

Андрей шел по незнакомому коридору, тут, видимо, размещалась какая-то понтовая организация. Не валялся мусор, двери кабинетов были новенькие, выкрашенные одной и той же краской, в коридорах поблескивали витрины, богато уставленные графической продукцией и оформленные модерново, в пределах, разрешенных начальством, прогрессисты тут, видимо, обретались. Кажется даже, коридор был шире чем обычно.

Коридор, как положено, завел в тупик. Андрей толкнул дверь в торце коридора, она была закрыта, и он повернул назад, пробуя подряд все двери. Он делал это из баловства, любопытства не было почти никакого, но одна дверь — дверь парткома — оказалась незаперта, и Андрей вошел.

Это был обширный эркер с четырьмя окнами в сторону набережной.

Уже светало, но в комнате было довольно темно — свет попадал сюда в основном из коридора, а окна будто бы освещались снаружи только для вида, просто чтобы не были черными провалами — свет был слабый, рассеянный.

Андрей пошарил по стене и надавил клавишу выключателя, потом закрыл дверь.

Занавески были подняты, Андрей обошел все четыре окна, посмотрел, что из какого видно, — там были деревья, вода и противоположный берег, — потом, не думая о милиционере внизу, обошел снова окна, распахивая их. За окнами был длинный сплошной балкон, Андрей с опаской поставил на него ногу, потрогал и, постепенно, придерживаясь за край рамы, перенес на эту

ногу центр тяжести. Балкон, конечно же, был вполне прочный.

Андрей вышел на балкон, постоял минуту и вернулся в кабинет.

Стены кабинета были облицованы кремовыми дырчатыми плитками из какого-то синтетического материала, такими же, как вычислительный центр на первом этаже.

Стояли неизбежные два стола буквой "Т" – письменный стол без единого предмета на нем и, перпендикулярно, длинный стол, тоже абсолютно пустой. В простенках между окнами висели портреты Ленина, Брэжнева и Карлы-Марлы, точнее сказать – Маркса, Ленина и Брежнева, так, чтобы прямо над головой секретаря располагался бы портрет Ленина, по правую руку Маркс, а по левую Брежнев.

Больше ничего в кабинете не было. Ни шкафа, ни сейфа, ничего, кроме стульев.

Андрей сел за письменный стол и принялся выдвигать ящики. Все они были пустые, чистые, без пыли и остатков былого вложения – скрепок, листков копирки, кнопок, скоросшивателя, или, хотя бы, чернильного пятна. Только в самом нижнем ящике Андрей нашел совершенно чистые пепельницы-вертушки, явно не бывшие еще в употреблении.

Вероятно, это здесь у них заседания парткома проходят, решил Андрей. А кабинет, наверное, рядом по коридору. Посмотреть, что-ли? А, хрен с ним... Мне-то что до ихнего кабинета? Есть он, нет его.

Теперь, сидя за столом, Андрей почувствовал, что устал, спать, как ни странно, не хотелось, но кости ныли и ноги казались очень тяжелыми. Андрей нагнулся было, чтобы развязать кроссовки, но раздумал, встал и отправился искать туалет, который ему попадался, кажется, почти в тупике. Точно, там он и был: прокуренный, воняющий хлоркой и мокрой тряпкой – каковой тряпкой был как бы обернут один из писсуаров, очевидно, сломанный.

Андрей, как обычно стараясь не касаться ничего, пописал и, подковырнув дверь ногой, вышел в коридор.

Теперь Андрей уже был уверен, что никого в замке нет. Да и какой может быть дежурный, это в праздники оставляют дежурных, а так – уборщицы убрали и закрыли двери, и привет, думал Андрей, закуривая.

Он пнул соседнюю дверь – в женский туалет – и вошел туда.

Хотя здесь не было закутанных тряпкой писсуаров, запах был тот же, что и в мужском, – подгнившей ветоши и хлорки. Видимо, это были основные запахи, неистребимые. Прочие улетучились в окно.

Такие же унитазы, такая же раковина в рыжих подтеках от горячей воды – с одним отличием: на раковине лежал кусок хозяйственного мыла. Ваши пальцы пахнут ладаном, подумал Андрей. Весьма тонкий волнующий запах.

Внутренняя сторона двери была увешана объявлениями – на кнопках, на клею, а некоторые на скотче.

Андрей прочитал:

"Продается хороший венгерский манеж. 214-27-13. Лида"

"Меняю фирменные синие джинсы W 30 – L 34 на синие или

вельветовые джинсы W 33".

Андрей, изогнувшись, с трудом разобрал на своих джинсах – "W 33". Здоровенная тетка.

Крупно сверху было нацарапано, а потом обведено фламастером:

"Ищу подружку. Без ханжества. Комната 17. Второй стол от двери".

Видно было, что кто-то пытался уже соскоблить, а некто другой – другая – восстановил надпись фламастером.

Андрей выбросил окурок в окно и вышел.

Было два часа ночи.

Он добрел до своего парткома, расшнуровал кроссовки, снял их и уселся за стол, поджав ноги. Потом он достал пепельницу, поводил рукой по скользкой столешнице и поставил пепельницу справа от себя.

Чтобы извлечь сигареты из заднего кармана джинсов, пришлось снова выбраться из-за стола; зажигалка, сигареты и пепельница на пустом столе образовали простенький натюрморт, вот только голубая пачка "ТУ" выбивалась по цвету. Андрей открыл портфель, вытащил оттуда свои блокноты, тетрадь за сорок четыре копейки и папку и положил все это на стол. Портфель он отставил в сторону, подтолкнул к нему кроссовки, потом снял джинсы и, подумав секунду, майку тоже. Майку и джинсы он бросил на портфель, опять уселся за стол, чувствуя, как приятно обдувает его из окон, он развязал тесемки на папке, закурил и достал из папки десятка два разнокалиберных листков.

Андрей взял самый верхний:

"Озноб по позвоночнику толчками.

Где-то около. Представляется это, как полуобглоданный куриный позвоночник (спинка). Нужен еще какой-нибудь зрительный образ.

Толчками пульсирует в теле: затылок горлу, кисть – пульс.

Облупившийся маникюр. Рука. Чашка с кофием.

Появилась – исчезла. Я не стал оборачиваться, а попробовал вообразить себе, кто она."

Андрей попытался вспомнить, когда это было записано, но ничего не вспомнил и положил листок в папку. Когда-нибудь пригодится.

Следующий лист был вырван из тетради в клетку:

"А когда ты умрешь, мама, я возьму тебя за руку и буду водить тебя за руку и ты будешь как живая, буду водить тебя за руку, лицо умывать, и ты будешь по-настоящему хорошая игрушка

20 апреля 1980 года"

Тут Андрею не нужно было вспоминать: Ольга мыла дочку в ванной, а Андрей, проходя мимо, услышал эту фразу и записал слово в слово.

Андрей прочитал эти четыре строчки еще раз, он сидел, прижавшись грудью к столу, и чувствовал, как бьется сердце, ставшее заметно тяжелее, то есть, минуту назад его как-будто и не было, а теперь оно тихонько бумкало в груди, болезненно, слева и, определенно, не невесомо.

Сквозь бумагу просвечивали чернила, Андрей поспешно перевернул лист, там были выписаны стихи Некрасова, а под ними карандашом одно под другим: "На хуй нужно, скажем дружно" и "Сикофанты – псы народа".

Следующим был обрывок газеты, криво оборванный кусок газетных полей. Андрей прочитал:

"Выхожу из метро.

Странное освещение – полумрак, но не темно.

Уютная машина".

Эти три строчки почему-то немедленно извлекли из подсознания отчетливую картину, которая была не сама по себе, а за нее что-то цеплялось, что – Андрей не понимал, но он доверился этому состоянию, открыл тетрадь, торопливо принялся писать:

"Через пятнадцать минут, когда он вышел из метро, на улице оказался уже вечер. С ореолом вокруг, словно светился воздух, горели окна, вспыхивали автомобильные фары, быстро перемещаясь, маленькие как светляки, парами мелькали красные габаритные огни. Но и дома не теряли при этом своих очертаний и даже объема, не сливались в темную массу. Еще минут через десять, подумал он, исчезнет все дневное и останутся только эти огни, машины превратятся в агрессивные пучки света, в бликующее стекло. Сейчас же цвет особенно был активен в этом начинающемся полумраке, под фиолетовым небом.

Вот на углу Московского и Первой остановился зеленый "жигуленок", лихо тормознув у тротуара. Из него выскочил милиционер, направился к стакану, а "жигуленок", круто взяв с места, выехал, описав широкую дугу, на Первую и помчался, а он только и успел заметить водителя в белой рубашке, висящий в салоне пиджак и подумал неожиданно, как, наверное, уютно там, в этой машине, человеку, маленький дом, так он, видимо, себя чувствует.

Темнело на глазах, так что десять минут – это он зря сказал, когда он дошел до сада, было уже совсем темно.

В темноте, шлепая по лужам, он вдыхал влажный воздух, знакомый запах сада и думал что-то невнятное, что это его дом, сад, что человек и должен жить там, где ему хорошо, где всё его, его интересы, жизнь, все знакомо и ничего не страшно, подумал он. Это был страх, теперь он понимал. Это был только страх. Страх, с которым, ему кажется, удавалось справляться весь день и прошлую ночь, или ему только казалось, ведь попросту он думал о том, что зря ввязался, хотя, конечно, нельзя было отказаться, мог отказаться. И зачем мне все это? Если бы я не поехал, я был бы трусом, сказал он себе. Да муть, слова всё! При чем тут – трус. Трус – это я не скрываю. Какое все это имеет значение. Вообще – не те слова. Главное другое, главное, я-то знаю, что я обязан был поехать, я сам этого хотел. Мне нужно было поехать. А уж теперь эти зачем и почему совершенно бессмысленны. Вопрос другой – как на этом стоять. Собственно, не исключено, что так, как было, все и останется. Но они ведь поняли теперь, что их дурили. Неужели они махнут рукой, забудут? Немыслимо. Почему Колька попросил меня, зачем я сам-то ввязался, я же не

борец какой-нибудь с ветряными мельницами. Неправда, тут же думал он, никто меня не впутывал. Так и должно было произойти. Каждый занимает — хочет или нет — свое место, которое уже определено его жизнью, да и не занимает, а осознает однажды себя на этом месте, обстоятельства помогают осознать, а он-то давно тут и занял уже свою позицию с винтовкой... эко, ведь, уж лучше — свое место на наковальне, над которой поднят молот... Пошлятина все это, слова, черт, конвульсии, а не мысли. Но, опять-таки, в чем суть — не отдавать никому своего места, не уступать. Здесь я стою. Потому что место твое может быть только одно, а если уйдешь, сбежишь, переступишь от страха или не подумавши, — значит ушел. Даже можно покаяться, повиниться, получить прощение, простить самого себя, но места своего не вернешь, ищи другое, потому что его уже нет больше. Как в калейдоскопе — единственное, может быть даже опрометчивое движение, и все уже новое, иное. Неужели все такие трусы, думал он. Да меня пальцем тронь, я, наверное, забьюсь в истерике. И уже выходя из сада, он глянул в свое окно и обмер — в комнате горел свет, ампирная люстра во всей своей красе полыхала, словно в саду, свет радужно преломлялся в хрустале, отчетливо через окно были видны позеленевшие бронзовые цепи, на аллее, прямо у его ног, лежал, нарисованный тенью, грифон.

Он замедлил шаги, но ему вдруг показалось, что из окна за ним следят, и он побежал, лихорадочно соображая, какие вопросы он сейчас услышит и что будет отвечать. Почему-то даже неинтересно было, как они вошли в дом, он знал — кто это и знал — почему они там.

Он обогнул дом, пересек боковой двор и выбежал в круглый.

Не было ни машин, ни людей, праздно, якобы, фланирующих по двору. Сердце замирало в такт шагам, и ноги словно нуждались в специальной команде, чтобы двигаться, чтобы переступать, он прошел круглый двор и вошел в парадную.

За дверью ничего не было слышно — голосов, движения — он позвонил не задумываясь, и сейчас же волна стыда охватила его. В свою квартиру! Словно так и нужно! Значит, я согласен, что они хозяева, он выхватил , цепляя бородкой за карман, ключ, воткнул его в скважину и повернул, стараясь успеть раньше, до того, как они сообразят, что нужно отпереть. Рывком распахнул дверь — эффект был не меньший, чем в саду. Было темно. Запах сырости и чего-то скисшего — вероятно, не вымытых бутылок из-под кефира — и кто-то метнулся из полосы света, сердце упало, он непослушной рукой нашел выключатель.

Посреди кухни лежал обглоданный кусок хлеба, около мойки валялась бутылка из-под кефира, растекшаяся и уже высохшая лужица образовывала на линолеуме как бы ледяную дорожку. И никого не было.

Он вытащил фонарик из ящика, положил свой дипломат на табуретку и, присев на корточки, посветил под мойку. Конечно, крысы опять прожрали пол. Бл-ляди! Хоть весь пол зацементируй.

Пиная ногами, он выбросил хлеб на лестницу, но входную дверь закрывать не стал, потом снова вытащил ящик, вытащил

оттуда молоток и коробку с гвоздями, и горсть мелких гвоздей всыпал в крысиную дыру. Затем снял с полки пустую литровую банку, пристроил ее около дыры и, не глядя, шарахнул молотком. Под мойкой размахнуться было трудно, банка раскололась на три больших куска, и он принялся наобум лупить по ним, стараясь расколоть их на мелкие кусочки; молотком он затолкал эти стекла в крысиный лаз, замел веником самые крохотные кусочки и ссыпал их туда же, после закрыл дыру куском фанеры, подсунув его под вспучившийся плинтус. На фанеру он поставил тяжелый утюг.

С крысами было все.

Из комнаты за это время не донеслось ни звука.

Он достал тряпку, вытер кефирный подтек, вымыл тщательно руки и закрыл входную дверь.

В комнате было темно. Свет не горел. Он зажег свет.

Он прошел по комнате туда-сюда, заглядывая везде и ни к чему не прикасаясь.

На столе лежала пачка сигарет, рядом с ней зажигалка, стояла чашка без блюдца с остатками чая на дне. На полу, у двери в ванную, валялись носки и рубашка, так все и было, переодевался уезжая. В пепельнице лежал скомканный фантик и одна горелая спичка.

Все было так, как было. Во всяком случае, ничего он заметить не мог.

Ну что, галлюцинации от страха. Глюки, дорогой. Может ты, дорогой, подкурил по секрету от меня. Он отчетливо видел в саду грифона у своих ног. Предположим. Пусть галлюцинации, подумал он.

На письменном столе валялась открытая коробка от кассеты Ренди Ньюмана.

Он воткнул провод в сеть и нажал клавишу".

Андрей положил ручку и принялся перебирать в памяти песни Ньюмана. Слов больше не было, и он подумал, что Ньюман даст ему толчок. Он слез со стула, сбросил свою одежду на пол и открыл портфель – два листка фотобумаги с текстами, немного смятые, он извлек из-под апельсинов. Когда-то он упросил Володьку переснять тексты с пластиночного конверта и теперь постоянно таскал их с собой – якобы учил английский.

Андрей разложил на столе листки, и сам удивился, что выбор уже сделан, минуту назад, он как бы еще решал, размышлял, что взять лучше, но одновременно, оказывается, он искал глазами абсолютно конкретный текст.

Можно было просто пометить в рукописи, или, в конце концов, выписать строчку, с которой нужно начать, а дальше было ясно, что до конца, но Андрею почему-то захотелось переписать все в тетрадку.

Он пересчитал страницы – пятнадцать страниц – пятнадцать страниц было написано, это, примерно, три страницы на машинке. Начало есть. Есть или нет? Так и нужно, думал он. Некуда торопиться. Схватился бы раньше писать, и не сложилось бы ничего.

Как пить дать – ничего бы не получилось.

Он гонял эту кассету десятки раз, и теперь, переписывая, он слышал ньюмановский насмешливый голос и напевал, копируя его интонации:

They said "Lord a plague is on the world
Lord no man is free
The temples thet we built to you
Have tumbled into the sea
Lord, if you worn't take care of us
Won't you please please let us be?
And Lord said
And Lord said
I burn down your cities - how blind you must be
I take from you your children and you say how
blessed are we
You all must be crazy to put your faith in me
That's why I love mankind
Your really need me
That's why I love mankind

Андрей переписал Ньюмана и опять остановился. Переход от чужого текста ему всегда было сделать трудно.

Андрей написал: *"Он выключил магнитофон и закурил"*, – и тут же зачеркнул, едва успев дописать конец фразы.

Туповато. Ладно, оставлю на потом, не проблема.

Андрей не любил оставлять таких дырок – ощущение было, словно иллюзия целостности, в которую он сам быстро начинал верить, нарушалась. Ничего, думал он, все еще можно исправить. Это же черновик.

Под зачеркнутой строчкой он написал.

"Он протянул руку к магнитофону – запись кончилась, и теперь под колыхание стрелок, из динамиков слышалось только легкое шипение и потрескивание заезженной пластинки..."

Опять фраза не пошла.

Андрей погасил сигарету, закурил новую и написал:

"Это потрескивание вдруг превратилось в грохот, он лихорадочным движением нажал клавишу. За окном люминесцентным светом включилась молния и сразу же ливень; шумный поток обрушился с крыши на жесть подоконника, брызги били в стекло, и дождь бил в стекло, и оно звучало на разные голоса.

Люди просят позаботиться о них, а он сжигает города, отбирает детей. Мало, что они и сами сжигают свои города и убивают своих детей. Собственно, тут нет двух сил, думал он, успокаиваясь, сила одна, а как ее назвать, это отдельный разговор. Бог только утешает, но не помогает, то есть и не утешает, а утешает и помогает вера, и дифференцировать зло, мол, это от дьявола, это от людей – бессмысленно. Вопрос – что делаешь ты, как ты, лично ты, себя ведешь. А – от кого зло? Что это для тебя

меняет? Пусть — от Бога. Он согласился бы, наверное, взять на себя и зло.

Он порылся в столе и вытащил дневник — тетрадь, в которую иногда записывал происшествия, анекдоты или свои соображения о прочитанных книгах, отодвинул магнитофон и расположился за столом.

Он помаялся некоторое время с ручкой в руке, не зная, как начать.

Видимо, начало всему этому было, когда Кольку Бушуева вдруг выдернули к директору — а сидела там целая свора.

Они сразу выложили свои козыри: мол , документы из вашего хранилища публикуются в Соединенных Штатах. Потом оказалось, что разговор о двух письмах Розанова, представляющих чисто академический интерес, опубликованных год назад, а сейчас только какая-то гнида засекла.

Колька, естественно, отвечал, что знать не знает и ведать не ведает. Читали, кому разрешено. Копировать никому не позволял. Кто читал? Пожалуйста проверьте, зарегистрированы по форме.

Потом уже всех прихватывали, кто имел к этому фонду хоть малейшее касательство, и, говорят, наверху сильно на Кольку тянули, но Егоров как-то спустил на тормозах, больше-то в нашем институте никто ничего и не смог бы сделать; Егоров хоть формально и не начальство, но все же академик, не хуй собачий.

Уже потом, однажды, когда Колька явился к Егорову домой, тот рассказал, что один тип из комиссии все напирал, будто именно Колька отдал бумаги шведу — шведа, автора публикации, в институте прекрасно помнили, он тут у нас работал почти год.

Понятно, что Егоров Кольку защищал, но Колька не пустился с ним в откровенности. Егоров мужик нормальный, но совершенно неизвестно, как бы он отреагировал, если бы Колька вдруг брякнул: "Я разрешил скопировать письма".

Кто другой может и ляпнул бы сгоряча, но Колька человек сдержанный.

В любом случае, он поставил бы, если бы признался, Егорку в неловкое положение, сделал бы его своим, как бы, сообщником.

Вот удивительно, Егоров — замечательный дядька, соловчанин, но пойди разберись, что он там про себя полагает о жизни. Ни хера мы не знаем. То есть, вне сомнений, он человек порядочный на сто процентов. Но из чего состоит эта порядочность. Разумеется, он Кольку бы не заложил, но может у него есть какие-то заёбы про престиж там, национальную гордость или что-то такое. Про лояльность родной науке. Похоже, даже Алексей Васильевич ничего не знает о нем толком, а уж кто к Егорке ближе?

"Я сказал, что в вас не сомневаюсь, — сообщил Егоров Кольке. — Нет, нет, вы не думайте, не только я так говорил, и многие другие."

Вот забавно. Не ясно только, в чем он не сомневается, что Колька действительно ничего не давал шведу, а на него возводят напраслину или, что Колька дал шведу письма и правильно поступил, а дуракам этого не понять?

Колька выяснять не стал. Формально все было в порядке, придраться бы никто не смог. А про шведа знал только Сергей.

Когда мы говорили об этом с Колькой, он даже не мог вспомнить наверное, сказал он Сергею или нет о том, что швед скопировал письма. Точнее, он говорил с Сергеем о шведе, который занимается началом века и интересуется Розановым — Сергей и сам его двадцать раз видел, — а сказал про письма или нет, теперь уже вспомнить не мог, тем более, что тогда этому не придавал значения.

Еще до этого с Сергеем была неприятная история, но при нашей общей бесхарактерности она так и осталась каким-то газовым облачком, повисевшим в воздухе, заставившим кого-то покашлять и испарившимся.

Уехала жена Сергея с их сыном.

Сергей был с ней в разводе, и все у них там не ладилось, два раза мы с Колькой вызывались даже в посредники при дележе добра, то есть — книг.

Сережкины родители, настоящие советские люди, евреев ненавидели от всего сердца. Зойкины же родители, кажется, торгаши и, видимо, тоже не лишенные чувства интернационализма, в свою очередь не терпели Сергея.

Что у них там было, Бог весть, ну разошлись и разошлись и имущество поделили.

А потом Зойка собралась уезжать.

Тут Сергей и наложил в штаны. Он ведь знал, что не может не подписать — с кем бы он вообще водился тогда, если бы только новых знакомых себе не завел, — но увиливал, как мог, пока Зойка не явилась прямо в институт с бумагой.

Потом Зойка уехала, а через пару месяцев Сергей прибегает на работу с письмом. Письмо было действительно — да! "Единственный мой!" — так оно начиналось.

Зойка все же, по-своему, молодец. Как могла баба, так и мстила, до конца. Цельный человек. Мы с Колькой некоторое время так и обращались к Сергею: "Единственный мой".

Единственный мой — ну и дальше, все по законам жанра, Зойка излагала, что скучает без своего единственного, потом пару слов про сына, а дальше — что колесит она по Италии на "Фольксвагене", который она купила, загнав те вещи, которые Сергей ей передал через М. На днях, единственный мой, заходила в магазин русской книги, там стояло все то, что ты так искал в Ленинграде и с таким трудом находил, ну и через двоеточие: "Архипелаг", "Корпус", "Круг", "Континент", "Хроника", "Вестник". И так полстраницы, похоже, что она сбегала в магазин и все, что было в витрине, переписала.

Само собой, было это дешево, и каждый дурак должен был бы понять, что — наколка, но, с другой стороны, кто их знает, дураков, что они там понимают про себя.

"Что делать? Что делать?" — приставал Сергей.

А что ему можно было посоветовать?

На следующий день Сергей явился и, немного смущаясь, в иронических фразах рассказал, как настаивал батя, ну жалко ему

что ли, и он поперся в приемную ГБ и отдал письмо.

"Они же кретины, – рассказывал Сергей. – Дежурный мне говорит: "Вот тут написано – "Надеюсь отправить следующее письмо с оказией", так если кто-нибудь принесет вам письмо, вы нам сообщите". Я ему говорю, что вы, какое, говорю, письмо. Это она со злости. Семейные дела. Баба. "Ну что ж, – говорит, – понимаю, – говорит. – Баба. Но если кто-нибудь явится – сообщите".

"Воображаете, какие идиоты", – говорил Сергей, видимо, он подбадривал самого себя. Он здорово напугался.

"Вот паскудина, – взвивался он тут же. – Блядина, идиотка. За атомным пистоном ее туда потянуло".

И это тоже повисло. Всеядность. Конечно, осадок был, ну не больше. Все мы не герои. Ну такие, ну слабые. С гебистами разговаривать по своей инициативе – противно. Но жить-то надо, раз мы никуда не уезжаем. Делом заниматься. Не бесполезным.

Говорят, Зощенко после беседы с комитетчиками отказался дать подписку о неразглашении.

Теперь это даже странно. Красиво, но странно. Мы о смысле печемся, о логике, ставим себе границы, за которые нельзя. И не совесть подсказывает, а разум выбирает, и чем он изощреннее, гибче, тем граница извилистее. Почему не дать подписку? Заложить кого-то, наклепать – это одно. Тут все ясно. А почему не дать подписки? Все дают, выходит – она ничего не значит. Обязательств я никаких на себя не беру, а ссориться с ними из-за такой ерунды – пижонство. Да, попросту, глупость. Все дают подписку. Я, например, дал. И дело было пустячковое, отношения ко мне не имело и к близким моим друзьям тоже, но ссал ведь я тогда. Немножко. Брехня, жутко ссал. Рад был, что выхожу, что отпускают, хоть и спрашивать-то у меня было нечего. А ведь тогда они могли со мной сделать, думаю, все что захотели бы. Могли в бараний рог скрутить. Купить могли за пятак, и куда бы я от них делся. Теперь, скажем, нужно ломать – на это тоже, вероятно, есть свои мастера – а тогда обмануть мальчишку, раз плюнуть было! Бумажку о неразглашении я со счастливым сердцем подписывал, и тени сомнений не было. Быстрее бы – на улицу, домой, вон. Может, сейчас бы и не подписал, но сознательно, просто не стал бы ничего подписывать. Надеюсь, не стал бы. Все равно, не от души, а от головы. Всеядные мы, всеядные, конечно, говно будем ложками есть наперегонки и веревки свои принесем.

А дальше все пошло уже как по-писанному. С Сережкиных слов, раз явился прямо в хранилище дяденька и, отозвав его в сторону, полюбопытствовал, как ведут себя иностранцы, которые допущены тут работать, не позволяют ли себе каких высказываний, не подносят ли сотрудникам книжечки.

Тут Сергей и дрогнул. Незадолго до этого он загнал канадскому профессору, который работал у нас в институте, свою картину – что-то про Гефсиманский сад. Профессор-кретин хотел, видимо, из Совдепии сувенир домой привезти. Он выложил

за Сережкину живопись 300 советских декоративных рубликов и плюс японский кассетник, извинившись, мол, денег больше нету, а кассетник, вероятно, можно продать.

Фирмачи вообще были падки на Сережкину живопись – очень скоро он принялся торговать довольно смело – ну да, советский историк, он же левый живописец и, главное, сюжеты сих творений приводили фирму в трепет. Да что там, и аборигенов до фига, желающих умно поговорить о свободном искусстве.

Вскоре Сережка уехал в отпуск, и все забылось, мы с Колькой знали об этой беседе, а больше, похоже, никто.

Потом я мельком спросил у Сергея, как дяденька, не заходил?

"Представляешь, больше не появлялся. Видимо, галочку поставили где-то там и привет пламенный".

*Пожалуй, с самого того момента, когда Сергей рассказал о визите, сомневаться уже было не в чем. Даже если и предлагали выбор – а выбор всегда кнут и пряник, – то можно было с уверенностью сказать, **что** Сережа выберет. Не потому, что он какой-то негодяй, просто не за что ему уцепиться в себе, "стержня нет", как говорит Колька. А если брали его за жопу из-за канадца, легко представить себе, как он вибрировал.*

*Дурацкое, между прочим, положение: в такой момент человек нуждается в чьей-то поддержке, а ему – даже когда понимают в чем дело – никто не помогает. Попробуй сунься, попытайся, против тебя же все и обернется потом. Все мы трусы. Да, ладно, никто не в силах тут помочь, и только от тебя зависит, какой ты **уже**, какой ты **сейчас**, помогать нужно было раньше. И – тоже выбор – соваться глупо, а молчать унизительно и безнравственно. Я три раза такое видел и – каждый раз молчал. А все равно – трусы. Рассуждения-то рассуждениями, а в натуре все всегда иначе.*

Да нет, не сторонились Сергея после этого – стукач так стукач. И те же анекдоты рассказывали. Что там мы думаем – в смысле, что думает каждый из нас – кого это интересует? Их интересуют не настроения, а действия, у них же там не институт по изучению общественного мнения.

И мы с Колькой, не сговариваясь, ничего так никому и не сказали. Я-то был уверен на сто процентов и, полагаю, Колька тоже, но личная моя уверенность, интуиция, схожесть ситуаций – это еще не доказательства для других. Так я, во всяком случае, рассуждал.

И теперь, когда я говорю – искренно, – что чувствую свою вину, я ведь в то же время понимаю, какая этим разговорам цена. Это только слова. Некий незнакомый человек загремел на пять лет. Что я мог сделать? Не объявления же вешать на заборах – мол, стукач. Тогда уж лучше сформулировать объявление в общем виде: "Осторожно – стукачи!" на манер гололеда или листопада.

По рассказам общих знакомых, на суде все вели себя тихо, покорно отвечали, но не клепали на парня, а так – не знаем, не ведаем. Заваливали только двое. Говорят, они, как и остальные, усердно посещали каждую пятницу эти "философские вечера",

были, то есть, свои среди своих. Детский сад, честное слово. Да и все эти ребята, похоже, без излишних затей в мозгах, сам-то Сорокин, парень, наверное, неглупый, мог бы и рассечь. Хотя, кто их знает, религиозных философов. Да нет, он совсем не типовой дурак, зарабатывающий себе имя в приятельском кругу, он все же парень с башкой. Но не рассёк.

Власти с самого начала действовали нагло и наверняка, а ведь все говорят, что ребята раскололись. Не стучали, а раскололись, когда начали колоть. Татьяна рассказывала, что один даже плакал, видно было, как он сам противен себе. Положим, Татьяна любит эффекты, ну разделим на три, но ведь парней раскололи, а действовали явно по разработанному плану, значит была убежденность, что найдется кого можно к сроку колонуть. И нужна была информация о тех, на кого собирались наседать, колоть. Неужели так просто раздавить двух мальчишек-идеалистов, которые сами по себе никому не нужны? Нужен только скальп хозяина. На самом-то деле и его скальп никому не нужен. Звездочка на погоны кому-то нужна. А, да и расколоть можно любого мальчишку!

Опять тут одна интуиция.

Хотя и уверен, но доказательств нету.

Вот и начало, подумал он.

Он подвинул к себе тетрадь и записал:

"К. высказал предположение (уверенность), что С. навел, выбрал слабых, их и кололи.

Вот если бы мы знали наверняка.

А что бы мы сделали, если бы знали наверняка? Вот теперь знаем – ну и что?

Внезапно он представил себе разом всю их затею, эта игра в шпионы, то кажущаяся значительной, то детской забавой, сейчас обозначилась в виде ошеломляющей кафкианской машины, которая из путаницы случайностей, анекдотов, слов, движений, безошибочно выхватывает только то, что есть действие, действие – противодействие, механически четко неотвратимо. Никакой сослагательности, никакой модальности – речь идет о причинно-следственной связи вот и все. Он вступил в сферу, подконтрольную этой машине, и тут уже нет больше рассуждений и взвешиваний: о политике, о выгоде, звездочках, нравственности, игре, лени, абсурде и милости. Вероятно, наступил бы и сам собой момент, когда бы машина заглотила его, последовательно расширяя сферу своего контроля, но теперь он своевольно шагнул, ступил на территорию ее функционирования. Шаг – и все. Как он попал сюда – безразлично, а машина и не задает вопросов никому – и себе тоже – как? почему? зачем?

Действие – противодействие, вот и вся схема.

Голова раскалывалась, но никак не удавалось сделать глубокий вдох (ему это помогало: задержать дыхание на несколько секунд, и головная боль немного ослабевала). Дыхание задержать не удавалось, словно легкие стали меньше или какой-то поршень выталкивал воздух наружу.

Он подошел к серванту и, повернув скрипучий ключ, открыл

бар. Там ничего не было. Стоял на торце блок сигарет "Ту-134" с растерзанным верхом, лежала открытая пачка "Беломора" и в уголке – керамическая бутылка рижского бальзама.

Судьба, значит, выпить такой отравы. Он наполнил рюмку пахучей этой жидкостью, которая была ему противна и сама по себе, и еще потому, что видом походила на "Старку", а к "Старке" у него была идиосинкразия – всего засыпало красными пятнами.

Он выпил бальзам, сморщившись заранее, пустую рюмку поставил в бар и вернулся к письменному столу.

"Хочешь знать наверняка? Это можно устроить, сказал я".

Все же был треп. Я говорил не шутя, но и не думая вовсе это осуществить, и мысли не было, что мы этот сюжет проиграем когда-нибудь.

Он написал: "План".

"План: Я еду в Москву. Колька сообщает Сергею, что я везу фотокопии документов, скажем, по

30-м годам, чтобы передать их там некоему фирмачу. Если меня хватают – мы имеем несомненное доказательство, что Сергей стучит.

Условия:

1. *У меня естественно, ничего с собой нет и даже похожего.*
2. *Никто, кроме нас с Колькой, об этом не знает.*
3. *Когда Колька рассказывает о нашей псевдоакции Сергею, он, невзначай, дает ему понять, что знают об этом несколько человек, чтобы Сергей не боялся засветиться.*
4. *Колька должен назвать Сергею документы, которых нет в природе, но которые могли бы – на взгляд Сергея – быть и важны.*
5. *Сергей должен узнать о моей поездке в Москву часа за три-четыре до отправления поезда или чуть больше, чтобы оставалось время отреагировать (ему и, предположительно, им), но, чтобы не успели поднять шум в институте.*
6. *В Москве я не встречаюсь ни с одним знакомым".*

Я даже представить себе не мог, что Колька за это уцепится. Ну, поговорили, как всегда, потрепались, что его так завел Сергей? Он уцепился сразу, и я тоже сразу понял, что это уже не треп, но не осознал, мы обсуждали варианты, последствия, содержание предполагаемых документов, и вдруг Колька сказал, старик, давай завтра, завтра пятница, самый удобный день для поездок, утром я пойду к секретарше Егорова и попрошу позвонить

насчет билета. Давай, легко сказал я.

Гусарство какое-то.

Вроде бы мы перебрали все возможные последствия, вроде бы все мы обсудили, но, если честно, всякого такого, дрожи в коленях, люстры, зажигающейся по своему желанию, я представить не мог. Мы говорили, говорили, и вот дошли до того, что уже нужно было героями себя считать, словно все это серьезное дело, которое мы должны сделать для всех. Красивая жертва. Только нимба не хватало. Подумать страшно, прямо коробит от безвкусицы. Бред.

Ну вот, теперь все сделано. Кому идти рассказывать, Егорке? Повесить в курилке объявление? Бред и бред".

Андрей зачеркнул последние слова и тут же написал их снова: *"Бред и бред".*

Бред. Действительно – бред. Андрей полистал тетрадь.

Фразы, на которые падал взгляд, были многословны и вообще только самое начало – прилично, а потом действительно бред.

Какие-то слова еще трепетали в нем, самое интересное место начиналось: погромыхивание колес, коридор, прикуривание у соседа, стоящего у окна, однообразный пейзаж и грохот встречного поезда, пейзаж, мелькающий в просветах между вагонами, зудящая мысль – кто, кто из них? Этот? Этот? Девица в впивающихся джинсах и с надписью на майке "Ivery". Что это значит? "Иверия"? Такой же кайф, как от "Иверии", от бормотухи? Цена – два сорок две? И надпись, кажется не самодельная, неужели такой прогресс, друзья? Винная фирма ноне продает майки? Стакан, позвякивая, подпрыгивает на столе.

Андрей принялся писать, но были слова, а фразы не шли: получалось то очень сухо, то опять многословно и, главное, совершенно не так.

И что, думал Андрей. Что потом? Для чего? Что здесь нового? в "Круге", когда чекист, разговаривая с молодой преподавательницей, перекладывает пистолет из кармана в карман, в одном предложении написано все. Пусть даже и пережим, можно было тоньше, но какое это имеет значение при таком дыхании, да один этот мазок стоит всего, что я написал и напишу. Мне так никогда не написать. Ладно, пускай это абберация памяти, я сам все придумал, но было за что цепляться моей фантазии. А здесь за что цепляться? Физиологический очерк получается, информация к размышлению (голосом Копеляна). А кого я информирую? Те, кто мои писания прочтут, те знают все и без меня, а кто не знает, тот ведь и не прочтет. И если прочтет – не поверит, потому, что каждый верит в то, во что он может верить, во что хочет верить, в свое. Если и нужна, то только та литература, которая может сломить, перетянуть в свою веру, которая не дает вздохнуть. Литература-то обычная, нормальная, размышлял Андрей, нужна в нормальной стране – как беседа с новым человеком, открываешь книгу, открываешь журнал, думаешь, сопереживаешь, узнаешь себя, узнаешь других, забываешься, наконец. У нас все это немыслимо. Нам нужны только удары по голове, чтобы искры летели, пот, искры, пламя. А если этого нет – не поверят. И я не

поверю. Усмехнусь – ну да, красиво, изящно.

Кто что у нас написал за последнее время, кроме Солженицына? Трифоновские повести, "Миллиард лет", "Пушкинский дом", Юрий Домбровский, конечно, и "Руслан", вот и вся наша литература. Плюс Бродский.

Максимализм, думал Андрей, порочная установка. Установка на шедевр. Хочется написать шедевр. Все прочитали – все охнули, все закричали: "Вот он, наш просветитель! Он открыл нам глаза! Теперь мы все понимаем!"

А ведь пигмей, ведь хочу этого, как ребенок, стыдно, глупо, бездарно, безвкусно.

И всем, которые должны вскрикнуть, всем вместе это на хуй нужно. На хуй нужно, скажем дружно! Нобелевку ему! Нобелевку ему к жопе гвоздем приколотить.

Андрей посмотрел на часы: было четыре. И ночь не кончается. Хорош я буду утром, подумал он. То-то заявки мои продвинутся.

Он почиркал свою писанину, но как-то тупо, безразлично. Потом вырвал из тетради несколько листков и стал писать на них:

"Двое соседей справа, похоже, были муж и жена, они говорили, кажется, по-молдавски, они укладывались спать, а он курил в коридоре.

Дверь в купе была закрыта не до конца, оставалась небольшая щель, и он время от времени поглядывал; в эту щель он видел угол своего дипломата, лежащего на постели, там где он и лежал. Дипломат был аккуратно заклеен справа и слева крошечными полосками скотча, которые бы несомненно смялись если бы кто-то его открыл.

На ночь он собирался положить дипломат под подушку.

Третья соседка по купе, блондинка "Ivery" тоже курила, стрельнув у него сигарету, сидя на откидной лавочке, она перелистывала какую-то книжку с видовыми картинками.

Он поглядывал на блондинку, размышляя, что с ней стоило бы заговорить, тем более, она тоже время от времени отвлекаясь от книжки, скользила по нему глазами; вид у нее был не обремененной излишним умом сытой и богатой дамочки, лет тридцати пяти, огромное, почти в половину фаланги, обручальное кольцо, а на левой руке – "маркиз", без сомнений не самопал, не современный.

А на фиг, лениво думал Андрей. Ехали бы с ней в двухместном, тогда другое дело. Тогда это был бы просто мой патриотический долг – в двухместном я бы на девяносто процентов был уверен, что она из ГБ. Помог бы женщине в работе. Вот уж в том, чтобы трахнуть гебистку, нет ничего зазорного.

Было без двадцати час. Все разбрелись спать, в коридоре оставались только он и блондинка, которая так и листала свою книжку. Он ткнул сигарету в пепельницу, звонко захлопнул крышку и пошел в туалет. Когда он вышел оттуда, блондинки в коридоре уже не было. Дверь их купе была открыта, блондинка расстелила свою постель и сидела на ней, расчесывая распущенные волосы.

Он снял мокасины, снял носки, сунул их в мокасины, а мокасины поставил под койку. Блондинка положила щетку на столик

и очень тихо спросила:

— Мне выйти?

Молдаване оба спали и даже храпели оба. Чемоданчик лежал, где лежал, и он подумал, что зря, конечно, не завел с бабой разговора, вот она словно бы выжидала, когда все заснут, чтобы ложиться одновременно. Охота бабе маленького приключения с кайфом. Родительно-дательные органы поупражнять. А может нет? Потрепаться бы пять минут, самоуверенно подумал он, все было бы понятно.

— Зачем же, — ответил он. — Не нужно, я сейчас залезу.

Отвечал он словно в тон блондинке, так же неуверенно. Как мальчишка зеленый. Так ничему и не научусь никогда.

Он ухватился за полку, правой ногой встал на дверную ручку и, подтянувшись, вскарабкался к себе наверх.

Подсунув чемодан под подушку, он, лежа, стащил джинсы, снял рубашку, пристроил все это и залез под одеяло.

Соседка шебуршилась внизу, побрякивая в сумочке косметикой. Потом она закрыла дверь, повернула ручку замка и щелкнула предохранителем.

— Гасить? — опять тихим голосом спросила соседка.

Ах ты, козочка, подумал он. Придуриваешься, словно девочка, и сказал громко:

— Мне свет не нужен.

Блондинка щелкнула выключателем. Теперь свет пробивался только из-под двери.

Он лег на самый край, но свешиваться было неудобно, а так все равно ни шиша не видно. По каким-то движениям теней в зеркале на двери он уловил, что вот она сняла свою майку, расстегнула бюстгальтер, вот возится, полусидя, снимая джинсы. Ничего он не высмотрел. Блондинка легла, шурша простынями, легла головой к двери, единственное, что он понял.

А что, забавно было бы, думал он, заворачиваясь в простыню. Почему-то ему казалось, что блондинке самой очень хочется. Лежит, наверное, и думает, экий птенец попался.

Блондинка опять пошуршала внизу, он даже свесился немного, но опять ничего не разглядел.

Слезать нужно, подумал он. И что? Что сказать?

Он отвернулся к стене и принялся воображать, как он слезает, садится на край постели и как будто слышит ее шепот — и он сбрасывает, под храп молдаван, одеяло, стискивает ее груди.

Воспоминания об упущенных возможностях, подумал он.

Полка его заскрипела, и сейчас же блондинка внизу начала ворочаться.

А почему бы ей самой не подать какой-нибудь знак, если хочется? Нет, конечно, это я должен что-то сказать. Такую бы какую-нибудь фразочку завернуть, чтобы в любом случае не уронить себя. Казалось, главное найти фразу, с которой он слезет вниз, а там уже дело будет в шляпе.

Перебирая фразы, он представлял себе грудастую блондинку так и этак, потом он стянул с себя трусы и устроился удобно под простыней, вот он стягивает с нее трусы и водит пальцем вверх и

вниз, пока не почувствует склизкую влажную впадину.

Идиот, подумал он, уж поистине онанист в принципе. Внизу баба лежит и ждет, а ты воображаешь эту бабу, вот она сама сейчас проявит инициативу, а ты уже не будешь ни на что годен, словно импотент. Будешь тут купаться в своей сперме.

Он ощупал под подушкой свой чемоданчик – и справа, и слева скотч был на месте, и в это время, словно обвал, загрохотал встречный поезд".

Андрей оттолкнул от себя листки и дрожащей рукой взял сигарету. Тело содрогнулось и, поежившись, он ощутил липкую влагу в трусах и на ноге.

Дух вон, подумал Андрей. От графоманского напора и следа не осталось. Он чувствовал какое-то беспомощное опустошение.

Ногу свело. Андрей, охая, слез со стула и поковылял мимо окон по кабинету. На улице было совсем светло.

Ну вот, партком обновили, подумал он.

Литература заражает, думал он апатично. Заразились, господин писатель, у классика заразились, а? Сперматорреей. Вот у Тургенева от чего, небось, сперматоррея была, от неумеренного воображения. У меня-то воображение только в эту сторону и работает. Вам бы, товарищ писатель, порно сочинять. Туповатые, для невзыскательного читателя. Чего там воображать, подумал Андрей, я порно и сочиняю и именно для туповатых невзыскательных читателей.

Хорошо, все еще можно сделать, думал Андрей, выключая свет. Начало есть. Есть скелет, можно его обрастить мясом. Как бабушка говорила, были бы кости – мясо нарастет. И фразы там попадаются съедобные. Просто нужно потом, на свежую голову посмотреть. Потихоньку, каждое утро по странице.

Андрей вернулся к столу и снова полистал тетрадь. Черт знает, может и получится, думал он. Надо было не еблом щелкать тридцать два года, а писать, писать, горы исписанной бумаги, как говорит Трифонов, вот учение.

Андрей посидел за столом некоторое время в оцепенении, с тетрадкой в руках, он разглядывал стену, плитки, пытаясь пересчитать, сколько плиток на стене, но сбился, лениво начал снова, сбился опять и плюнул.

В конце-концов, начал – и хорошо.

Времени до фига, можно и про встречу класса начать. Пылу уже нет. Весь вышел. Хоть бы заметочки сделать, кто да что. Кто был. Я уже даже не помню. Андрей подумал, что он и не помнит, о чем собирался писать. Что за стержень, он не помнит, в этом рассказе про встречу класса. Но это была не пугающая мысль, совсем не страшная. Он был уверен, что стоит начать, завязнуть, все вспомнится, вернется и состояние, а с ним и стержень, то есть именно не стержень, а состояние было главным. Стержень – дело десятое. Это его пусть читатели ищут. Критики, подумал Андрей.

Он собрал исписанные листки, сунул их в тетрадь, в самое начало, потом повернул тетрадь другой стороной, открыл ее опять на чистой странице и принялся вспоминать.

Встречались вообще-то каждый год, народу приходило то больше, то меньше, Андрей с Ольгой бывали тоже не на всех встречах.

На этот раз и вовсе явилось десять человек.

Собирались всегда у школы – в этом здании теперь уже какой-то НИИ, – а потом, скинувшись, купив еды и выпивки, направлялись к кому-нибудь домой. Бывало, кто-то заранее запасал и готовил жратву, предполагая притащить всех к себе, а однажды было некуда деваться и пошли в ресторан.

На этот раз отправились к Лариске Кузнецовой, которая снова жила рядом со школой, разведясь с первым мужем и выйдя замуж за какого-то молоденького паренька.

Андрей сидел на диване, прихлебывая кислое белое вино и думал, что вот любопытно написать про каждого: десять человек – или восемь, если выбросить нас с Ольгой,нет, прикидывал он, нужно и нас оставить, значит десять – десять маленьких главок. Про каждого по главке. Как просыпается, идет на работу, вечером является вот на эту встречу, пьет, ест, разговаривает, возвращается домой, ему снятся сны, и вот он просыпается следующим утром. Тут, утром, повторить самое начало, вчерашнее пробуждение, те же самые фразы, предложений, примерно, пять, один или два абзаца. Физиологический очерк из десяти очерков.

После, когда он размышлял об этом, казалось, что может получиться любопытно, забавно, а то вдруг представлялась эта затея обычной тягомотиной. Уж не говоря о том, что нужно грамотно сделать рабочие занятия каждого.

И все это было, думал он. "Традиционный сбор" и еще что-то было.

Конечно, "Традиционный сбор" – брехня, правды там два процента, ну и что, мало хотеть написать правду, уметь еще нужно, а уж эта задумка казалась Андрею очень крутой, не по силам.

Нужно найти интонацию для каждого и писать от первого лица, думал он, тогда пойдет, в том-то и дело, чтобы найти каждый раз интонацию. Можно, правда, вот что, для начала, выписать хотя бы минимальную информацию о каждом, начать с того, что я знаю, а после нарастить детали. Начать – тогда стронется, думал Андрей, рисуя в тетрадке скособоченные танки, стреляющие в пространство клетчатого листа. На каждого дельце завести. Что придет в голову, а потом уже посмотреть, чего не хватает, что разузнать, а что можно придумать, про Воротынцева, например. Чудесная фамилия для комитетчика – Воротынцев.

Андрей перевернул разрисованную страницу и написал: "*Кузнецова*", потом подчеркнул два раза, чтобы после легче было искать.

– Так, – произнес Андрей. – Поехали.

Он написал: – "*Дура*". Это был вроде как бы тезис. Хотя, чепуха это, Лариска не была дурой. То есть, была бы она учителем, филологом, историком, Андрей бы, конечно, не сомневаясь, сказал – дура, потому что он бы вполне мог себе представить уровень ее соображения в этих делах. Лариска же была инженером-химиком, служила в каком-то НИИ, там процветала. То, что она могла быть такой же дурой и будучи химиком, Андрей

прекрасно понимал, но это вовсе не определяло в его глазах Лариску как человека. Она была бойкая, сметливая бабенка. Интеллектом не блистала, но мозги у нее шевелились, и тупицей, как, скажем, Витька Сорокин, она не была.

В школе они все были одной компанией, потому что Димка, который тогда казался своим парнем, водился с ней. Похихикав и подразнив, их союз признали сложившимся, и только в самом конце десятого класса что-то у них там произошло, и Лариска стала водиться с Перельманом, который ее и трахнул, уже когда готовились к экзаменам. Андрею, правда, Перельман этого не рассказывал, но поделился со своим приятелем, Марком – ныне живущим в Израиле, – а Марк, полагавший себя тогда, как и Андрей, большим талантом, рассказал Андрею, перечислив массу подробностей, делавших его рассказ несомненным. Да, в общем-то вряд ли Перельман врал.

Вот интересно, Андрей помнил, что и кроме Димки и Сережки Перельмана, были и другие, кого Лариска интересовала. Неужели она казалась привлекательной бабой? Андрей, сколько ни старался, не мог вспомнить и тени вожделения к ней. То есть – ничего.

Он полагал, что в 16-17 лет они уже вышли из возраста – и далеко не вошли в другой, похожий, – когда любая, каждая девчонка вызывает желание, тут уже выявились какие-то вкусы, интерес хоть бы к тому или иному типу. Черт его знает, и не выглядела Лариска лакомым кусочком, и не производила впечатления очень доступной, но теперь восстановить впечатления двенадцатилетней давности невозможно.

Андрей записал: *"Первый Ларискин муж – угрюмый кретин. Здоровенный парень. Сильно пил. Стал совсем алкоголиком. Сомнительно, чтобы умел читать. Грузчик. У него сестра – олигофен. Какие-то были бытовые проблемы с сестрой (спросить у Ольги – какие?). Когда мы с Ольгой явились на день рождения их сына, все приставал ко мне, где я работаю, интересовался вовсе не специальностью, очень вероятно, и слова такого он не знал, не профессией, а, так сказать, средой обитания. Работу делил на два вида: на воздухе и не на воздухе. Принялся от пьяного дружелюбия убеждать меня, мол, ему ничего не стоит похлопотать, пусть я не стесняюсь, и он устроит меня в свою контору грузчиком. "На воздухе, – восклицал он время от времени, – на свежем воздухе". Работа, по его убеждению, могла быть только на воздухе. То есть, взять вот его...*

Второго мужа я увидел впервые на этой самой встрече, когда собрались у Лариски. Мальчишка лет двадцати двух. Студент. Воображает себя интеллигентом. Легкий человек. Взахлеб, с готовностью и гордостью рассказывает о своей аппаратуре – вертушка, усилитель, колонки. О поп-музыке. На стене портреты неизвестных – а ему известных – музыкантов. Пластинки (не говорит пластинки, только – диски). Не вредный дурачок. Лопух. Мне показалось, что Лариска дает направо и налево. Не из любви к ебле, хотя это, понятно, дело темное, а для развлечения, своего рода допинга, чтобы чувствовать себя живой, чтобы жизнь не зря прожить.

Пока лопух распинался про достоинства своей вертушки — и какая у нее головка (кажется, "Филипс"), и какой диск особенный, и какой конструкции тонарм, Воротынский на кухне уже тискал Лариску. До пистона, думаю, там у них дело не дошло, несподручно, хотя, черт его знает, Лешка ныне человек в себе уверенный, но когда я вышел на кухню, намереваясь вытряхнуть пепельницу, Леша основательно держался за что-то там у Лариски под юбкой, прижимая ее к стене, и даже не обернулся, а Лариска глянула на меня одним глазом из-за его плеча кокетливо и, кажется, даже с гордостью, так что я развернулся и вытряхнул пепельницу в сортир.

Все хочет оставаться девочкой молоденькой, какой была в школе, называет себя школьным прозвищем и всех зовет по-школьному. И кислятину эту купила, потому что все мы двенадцать лет назад предпочитали сухое вино. Так то было двенадцать лет назад!

Встретишь ее на улице, улыбается, заглядывает в глаза, хотя и не призывно, и не кокетливо — может, ей и кажется кокетливо, — но все время словно двусмысленно. Нет сомнений, что если захотеть, она была бы непрочь.

Вот, кстати, о школе вспомнил. Кажется, чей-то день рождения классе в десятом. Немного пьяный, я отправился в туалет, дернул дверь и увидел Лариску на унитазе. Туалет был крошечный, и несколько секунд я смотрел сверху вниз на Лариску, оказавшуюся в полуметре от меня, вероятно, она забыла закрыть дверь (вряд ли специально оставила, хотя, и это, конечно, дело темное). Я смутился, закрыл дверь и потопал в комнату, а еще через минуту и вовсе забыл об этом. А потом, некоторое время, Лариска держалась со мной очень странно, словно между нами была какая-то интересная тайна".

Шустро как получается, весело подумал Андрей. А рука бежала по бумаге, выводя совсем невероятные каракули.

Ничего, разберу, думал Андрей в азарте. Так отлично пошло!

Он уже написал *"Муравьева"* и тоже подчеркнул двумя чертами.

"Давно не видел. Почти неузнаваема. Голос грубый, с хрипотцой. Курит "Беломор". Была милая наивная девочка с толстой косой. Всегда улыбалась. Добрая — сразу видно. Теперь косы нету, выглядит усталой, морщины и мешки под глазами. Ужасная самодельная черная юбка от талии — что вообще всегда некрасиво — и белая блузка. Три очень заметных вставных зуба из белого металла. С мужем, оказывается, разошлась. Ничего не знаю про ее жизнь, даже не знаю, где она работает, кажется, на швейной фабрике.

Забавно, что с ее бывшим мужем я тоже познакомился когда-то в Писдоме. Немного общались. Он старше года на два. Чуть не каждую неделю он приносил на секцию по новому рассказу — точно помню, что много писал — но сейчас не уверен, читал ли я хоть один. Чем он занимался, учился он или работал, я не знал тогда и не интересовался. Помню, раз, белой ночью мы прошлись с ним по городу — от Моховой до моего дома, — но о чем

разговаривали, хоть убей не вспомнить, не помню даже, какой у него вообще голос. Видимо, то ли голос, то ли дикция были у него не очень, потому что единственный его рассказ, о котором какие-то сохранились воспоминания, читал он не сам, а читал вслух руководитель нашей секции в "Звезде".

Написал про секцию и тут же обнаружилась в памяти уйма деталей, а парня вспомнить не могу. Помню вечерний полумрак и настольная лампа, кажется черная, облупившаяся черная лампа освещает машинописные листки на столе, помню свитер в ромбах и голос, подчеркнуто ровный, без театральности, короткие паузы, он прикуривает, а потом, загнав сигарету в левый угол рта, задувает спичку, затягивается. И я так пробовал, но у меня не выходило так же, как он, задувать спичку, черт, помню даже сигареты – "Кронштадские" и "Вымпел", – я и курить начал, подражая ему и те же сигареты.

Забавно, сколько всего помню, да не про того. Память не демократична, вперился глазами в одного человека, муру всякую про него помню – что он читал чужой, детский рассказик. А чей рассказ – хоть бы для смеха запомнил. Такая, значит, степень достоверности воспоминаний.

Рассказ был про Вечного Жида. Тогда он мне понравился, запомнилась фраза: "Я побывал всеми – я был инквизитором, я был фашистом, коммунистом..." Это и понравилось, вероятно, казалось – здорово, смело. А больше ничего не помню, что там еще происходило.

Звали его Юра. Вот, имя всплыло.

На такой же встрече класса, пять лет назад, Муравьева рассказала Ольге, что ее муж знаком со мной, фамилия его Меньшиков. Я долго вспоминал тогда, кто же это такой, вспомнил, но имя вспомнить не мог. "Муравьева, – сказала Ольга уже когда мы вернулись домой, – с ним мучается. Он болен. Три раза лежал в психбольнице и стесняется этого".

Что еще про Муравьеву? Надо же, имя ее мужа вспомнил, а ее имя забыл. Муравьева и Муравьева. Интересно, что теперь она делает? Так, про Муравьеву сейчас нечего больше. Поехали дальше. Теперь мужики. Воротынцев, что ли? – подумал Андрей. Нет, Воротынцева я оставлю на потом, на десерт.

Хорошо, пусть будет Перельман. Тут и писать нечего.

"Здоровенный, рыжий, веснушчатый. Декомпенсированный порок сердца еще в школе.

Положительный человек. Всегда хорошо учился и все всегда понимал, и всех понимал, кивал головой.

Родители – врачи. Хотел быть врачом и стал врачом. Теперь еще здоровее с виду, мордастый, широко улыбается. Ходит вразвалочку. В институте тоже хорошо учился. Распределили в медпункт на какой-то секретный завод. Кстати, нужно бы узнать, он – член или нет. Наверняка вступил. К моему удивлению, никакой медециной не занимается, так и работает до сих пор на своем заводе, уже теперь начальником медпункта или медчасти, или что у них там. Обо всем говорит основательно и рассудительно.

Жена и сын. Встретились как-то в Зеленогорске. Жена тощая, несуразная, показалось почему-то, очень послушная. У жены в Зеленогорске имеется дача".

Вот тут-то нужно знать дело подробнее, думал Андрей. У Мишки расспрошу, пока он не уехал. Время еще есть. Точно, ОВИР ему, значит, отказал? Это ОВИР обо мне позаботился, а то съедет человек, мне ничего не рассказавши про Перельмана. Спасибо ОВИРу.

Мишка и в школе был не большим любителем Перельмана, а теперь, каждый раз после встречи класса, Мишка говорит о нем с брезгливостью. Особенно Мишку бесит Сережкино отношение к больным. "Он рассуждает, – говорит Мишка, – как кусок дерьма, как советский врач, как министр, и даже не как министр здравоохранения, а как министр труда и зарплаты".

Хорошее у Мишки ругательство – советский врач. А какой же Сережка должен быть врач? Все мы советские.

Это потому, что мы в шестнадцать лет казались себе особенными, не такими, как они. Наше поколение другое, из нас таких подонков не может получиться. И ненависти к подонкам не так-то у нас было много. Чего их ненавидеть? Они себе вымирают, а мы идем им на смену. Вон мы какие – умные, все понимаем, добрые, гуманные.

Помню, уже в десятом классе, шестнадцатилетний остолоп, я воображал, да я был уверен, что настанет момент, пройдет еще десять, ну, пусть, двадцать лет – это казалось невероятным, чтобы тридцать – и мы естественно заменим всех тех, кто сейчас командует. И больше ничего и не нужно. Только время. Мы-то ведь другие. Честные, чистые. Главное – другие. Мы заменим их тихо-мирно, и все станет как надо. Вот смешно, думал Андрей, и не верится сейчас. Но я отчетливо помню, это была не случайная мысль, именно так я рассуждал. А сам себе казался умным, взрослым. И все мы полагали себя взрослыми. Потом уже что-то я начал понимать. Да и не в понимании дело. Когда умирал отец, я ничего не понимал, а мне было восемнадцать. Умными себе казались, справедливыми.

Вот чего не хочется вспоминать, думал Андрей.

Складывалось все по капле, трансформировало сознание, процесс Синявского, а потом всякое пошло и до совсем уже сумасшествия в 67 году. Тут, верно, не было никаких иллюзий.

Нет, подумал Андрей. Это тоже слова. Не так все, так и не может быть. Незаметно исчезает что-то. Было – и нету. Был такой, кажется, такой и остался, словно и не менялось ничего... Может быть, когда позвонила Галя и сказала будто магнитофонным дикторским голосом: "Через двадцать минут я жду тебя в вестибюле Дома книги".

А ведь я тогда, наверное, был влюблен в нее, думал Андрей.

Он закурил, но тут же положил сигарету в пепельницу и закашлял. Локти прилипли к столу, он бросил ручку и сел, откинувшись на спинку стула. Почему-то ему показалось это стыдным.

– Да, произнес он вслух, как бы на зло себе, – был влюблен.

Во всяком случае, в оттенках ее голоса разбирался, и голос, который он услышал тогда в трубке, был просто незнакомым.

Не зная, что и думать, Андрей примчался в Дом книги. Ее мужа арестовали.

– У нас был обыск, – сказала она. – Виктора увезли.

Как выглядела тогда, во что была одета – ничего не помню. Она тогда еще не располнела, была красивая баба, и вот уж к ней точно Андрей испытывал вожделение.

Боже мой, она теперь замужем за заместителем министра, а Виктор живет то ли в Нью-Йорке, то ли, говорят, в Филадельфии.

Может, в тот день я поумнел, бездарно мечась по городу с кипой самиздата и своей писанины, которую я дрожащими руками побросал в портфель, или вечером, когда решался пойти к ним, знал что пойду, но все же нужно было решиться, с Ольгой мы обсуждали, заметут меня или нет, и почему-то решили, что, наверное, заметут, но пошли вдвоем с Ольгой, нет, еще и с Мишкой. Втроем мы явились и увидели сияющего Виктора, его отпустили только допросив. Все тогда кончилось тихо, его выгнали из института, а через несколько месяцев восстановили.

Андрей чиркнул зажигалкой, поджег потухшую сигарету, полистал написанное, бездумно радуясь количеству страниц. Во всяком случае, вспоминается что-то. Нужно посидеть и подумать. Спокойно. Одному. Вот так в замке и буду писать, решил Андрей. Отличное место – замок, подумал Андрей. Ночью. Тихо, людей нету, ветер шуршит занавесками – красота.

Ну, кто у нас там на очереди, Сорокин?

Андрей написал и подчеркнул – *"Сорокин"*.

"Всегда был глуп. Не злой. Компанейский парень. Добросовестный. После армии поступил на ЛОМО работягой, доработался до мастера. Жена – начальник того же цеха.

В школе когда учились, было забавно встречать его с родителями – папа и мама шли справа и слева от него и были одинакового роста: Витьке до подмышек. Два старичка. Живы они?

Дочь у Витьки Сорокина с замедленным развитием (как бы это назвать? неполноценная? – глупое какое-то слово), Витька с нею возится, а жена орет. Он рассказывает, что иногда заталкивает жену в спальню и запирает, чтобы та успокоилась. Ходит с дочкой по врачам, впрочем, они ничего обнадеживающего не говорят. Относится правильно – в истерику не впадает. Она уже такая, какая есть. Нужно сделать, чтобы ей было хорошо".

Вообще-то это Ольгины слова, подумал Андрей. Я-то бы тоже впал в истерику. Андрей по поверхности проскочил это место, даже мельком подумать о таком было жутко.

Витька действительно умеет с детьми возиться, когда заходит к нам, дети с удовольствием с ним играют. Вот я не умею и со своими детьми играть, а он умеет с чужими.

Все расписать. Про дочку, про истеричку-жену, ночь, слезы, объятья и ненависть друг к другу. Надо как-нибудь с Витькой

стыкнуться, выпить малехо и поговорить о жизни. Он все, конечно, расскажет.

Андрей содрогнулся, представив себе этот разговор. И жестоко. Выпить основательно, чтобы переварить, чтобы спокойнее слушать.

И никто не поверит, подумал Андрей. Хоть как напиши. Переборщить нельзя, спокойно, ровно, без надрыва.

Все равно, уж очень густо, густопсово получается. Еще — Борька сумасшедший. Прямо "Доктор Крупов". Уж лучше "Традиционный сбор", там, по крайней мере, без пережимов. Без пережимов в сторону правды. Безвкусный каламбур. Да нет, всего в меру должно быть. Пусть я пережимаю, но на самом деле все так и есть. Хорошо, а почему мне должны поверить, что все так и есть? Может, наш класс — не самый типичный? Да и какой класс — собрались десять человек из сорока. А были бы все сорок, я бы и не клюнул на такой сюжет. Конечно, кому это нужно — сорок новелл. Целая книжка. Мне и десять-то не написать, чтобы интересно было. Да не в этом дело, пусть даже у меня башка такая, что впечатляет ее только не типичное, но это-то я изменить не могу, свою башку. Значит, и рассуждать не о чем.

Писатель! Люди по листу в день сочиняют, а я план написать не могу. И не план, а так, заметки для памяти.

Подумав, Андрей выбрал, о ком можно покороче — Васильев.

"Васильев" — написал Андрей.

"Лабух. Еще в школе умел на разных инструментах. Лабает, где случается — в кабаках и в ансамблях, благо теперь их много. Нигде подолгу не задерживается. Хитрый, глупый, абсолютно бессовестный. В школе был противный. Ябеда. Вредный.

Фарцевал, сейчас тоже фарцует, друзья были у него в школе — лабухи и фарцовщики.

Именно лабух, а не музыкант. Тонкий, узкий, извивающийся, очки с толстыми стеклами, глаза на выкате. Одевался в самое модное".

А я, подумал Андрей, завидовал.

Его день описать не сложно. Как он просыпается в половине одиннадцатого, встряхивает пачку сигарет, обязательно "Винстон" или "Кент", ленивая глупенькая девочка спит, свернувшись как кот, уже надоевшая, от дури мерзкий вкус во рту, вечером выпито немного, за компанию, на самом-то деле выпивка ему противна, кофий варит, разглядывает в ванной свои худые волосатые ноги.

Зачем он явился, вот что удивительно. Ни одного раза не приходил. Может — от скуки пришел посмотреть, с какими недоумками жалкими толкался в школе два года и эти-то недоумки его не любили! Для самоутверждения. Кажется, он был единственным, кого в классе не любил никто.

Ну ладно, здесь не о чем волноваться, это я напишу. А вот зачем пришел Воротынцев? Неужели только похвастаться?

Ну да, разумеется, на меня, диссидента, посмотреть, подумал Андрей. На задание пришел. Важная вы шишка, Андрей Иванович.

Крупный оппозиционный деятель. Предмет неусыпного надзора доблестных органов.

Ерунда всякая в голову лезет, лирика все это, тепло товарищества. Детские воспоминания. Товарищи по оружию. Пистолет Дзержинского и скрипка Страдивари.

Когда, к радости ларискиного идиотика, принялись танцевать, Леша пригласил Ольгу и все допытывался, почему это он ее боялся в школе? Никого не боялся, а ее боялся.

За столом, рассказывая о своей карьере – здесь такой нюанс: не о службе, о службе, сами понимаете, неположено, только о карьере, – Лешка тоже обращался преимущественно к Ольге и даже спросил: "Хочешь взглянуть, как я выгляжу в форме? – и, вытащив из бумажника, протянул Ольге через стол фотографию. – В управлении, – сказал он, – я самый молодой капитан".

Оказалось, он знает и дяденьку, курирующего психбольницы. Когда Мишка заговорил про мужика из ГБ, который однажды у них в диспансере речь держал, – это было по поводу надписей на Петропавловке, – оказалось, что сидит этот дяденька с Лешей в одном кабинете, за соседним столом, сидит рядом, но мельче Леши по званию, хотя уже совсем под сорок. "Так и будет ходить в старлеях, – сказал мне про него Леша. – Заебётся пыль глотать".

Раза два я замечал Ольгин настороженный взгляд, когда мы с Лешей разговаривали. Она и Мишка почему-то боялись, что прицепившись к какому-нибудь слову, я затею с ним драку. А я и в мыслях не имел – драться. Интересно же поговорить. Просто любопытно.

Мой одноклассник, думал Андрей даже с восторгом, живой гебист, капитан, а капитан излагал, именно ни с того, ни с сего, что служил после института в ракетной части и что-то там с ним случилось, и у него не может быть детей, а с женой из-за этого нелады.

Потом он и Ольге принялся рассказывать про нелады с женой, что нету детей и как он любит своих племянников, а племянники, те предпочитают его родному папе.

Когда вышли на улицу, вобщем-то все трезвые, больше усталые уже друг от друга, Леша все зазывал в гости, и Андрей пообещал, что обязательно они с Ольгой заедут, Леша написал телефон и адрес, у Андрея все зудело внутри от любопытства, казалось, что Лешку тянет на лирику, но тут из темноты возник какой-то пьяный амбал, и Леша почувствовал себя опять на высоте, выпрямившись, набычившись, он произвел на мужика серьезное впечатление, тот очень робко попросил закурить и стерпел то, что Леша, небрежным жестом, протянул ему сигарету, сам вытащив ее из пачки. Андрею показалось, что Лешке очень почему-то хочется отметелить этого дядю. Настроение такое было или чтобы перед одноклассниками покрасоваться. А может, это была только профессиональная поза.

Мы остались вчетвером к этому времени: Я с Ольгой и Леша с Лариской, которая пошла проводить гостей.

Ольга и Лариска шли немного сзади и нагнали нас, пока дяденька прикуривал у прямого и жесткого Лешки.

Я взял Ольгу под руку, стоянка такси была в двух шагах.

– Мы пришли, – сказала Ольга. – Тебе по пути с нами?

– Я прогуляюсь, – ответил Леша, беря под руку Лариску. – Мы сейчас вас посадим... Бродят разные типы здесь.

– Брось, старик, – сказал я. – Все уже спят.

– Мы подождем, – почему-то Леше неприятно было так расходиться.

Тут подкатила машина, и мы забрались в нее, а они остались.

Решено же, Воротынцева на десерт, думал Андрей. Писанина надоела ужасно.

Кто еще? Лешка, Мишка и Борька. Лешу на потом. Значит, без Леши остаются двое: психиатр и сумасшедший. Отличная компания.

"Боря" – написал Андрей. Борька – и хватит, решил Андрей, остальные потом.

"С румянцем во всю щеку, с писклявым голоском. Когда мы познакомились в девятом классе, у него была одна фамилия, а когда получил паспорт – сменил. Оказывается, он сначала носил фамилию второго мужа своей матери, а потом взял фамилию отца. Кстати, сейчас у его отца пятая жена, наша ровесница или младше.

Учился всегда прекрасно, кладезь, между прочим, информации.

Поступил в Технологический. Бросил после второго курса, пошел в Консерваторию. Разменялся с матерью и отчимом, живет в своей комнате.

Работал полотером, натирал полы рано утром в какой-то конторе.

Уже после школы приволок мне почитать целую папку своих стихов – были дикие вирши, материал для психоаналитика.

Попал в дурдом, а затем еще два или три раза. Видимо, поэтому, но я не уверен, и убыл из Консерватории.

Выяснить – служит ли где? на что живет?

Как и Муравьева, к которой, кстати, был в школе неравнодушен, очень изменился. Лицо серое, одутловатое, а голос тот же и так же улыбается, какой-то медленной улыбкой. Занудный, но милый, милый, потому что свой, старый знакомый, кроме внешности – абсолютно никаких изменений. Каким был, таким и остался.

Кажется, девственник.

Какая-то блядища из Консерватории упросила оформить фиктивный брак – для прописки – и чуть не выгнала его из его же лубяной избушки".

Андрей улыбнулся собственной шутке и, не останавливаясь, с налета, написал еще несколько фраз про Мишку, но настолько вымученных уже и совершенно бессмысленных, что теперь-то ясно было, пора остановиться. Хватит, вот, полтетрадки исписал, пусть хоть и глупостями. Сейчас еще отчетливее было видно, что задача не по зубам. Хрена сумею я написать про каждого. Нужны десять полноценных новелл, информативных, интересных, а как я их сделаю из обрывков. На десять лет писать. Профессионалом

нужно быть, а не дилетантом. И десять лет таскать с собой эту тетрадь? Не оставлять же ее где-нибудь, думал Андрей.

Андрей представил себе, как это читает именно Леша Воротынцев, хотя, может, читать и не по его отделу, и захлопнул тетрадку. Хватит. Подальше от глупых мыслей. Глупым людям нужно держаться подальше от глупых мыслей, не то они окончательно поглупеют. И станут говорить глупыми каламбурами.

Андрей поглядел на часы.

Было пять часов пятьдесят шесть минут. Найти бы занятие еще на три часа, думал он, зевая. Какое-нибудь не менее идиотское. Во мне заряд нетворческого зла. Тут у него мелькнула сумасшедшая мысль, отправиться в отдел и взяться за письма. Дверь наверняка открыта – она и не закрывается. Андрей вообразил себе рожу начальницы, как та вваливается и видит его за столом. Удар ударит, радостно подумал Андрей.

Андрей кое-как сложил свои бумажки в папку, папку бросил в портфель. Он чувствовал себя здесь очень уютно, в этом обжитом уже кабинете.

Умыться нужно, вот что. Он снял трусы, бросил их на свои шмотки, всунул ноги в кроссовки и голышом отправился в туалет. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь сейчас оказался в коридоре и увидел его, хотя он не сомневался теперь, что ни одной души здесь, в замке, нету.

Он вошел в женский туалет, оставив дверь открытой. Ночью он заметил тут полотенце. Чистое полотенце, видно, вчера только повешенное.

Андрей прополоскал рот, умыл лицо, но вытирать лицо все же этим полотенцем не стал, потом он, изгибаясь над раковиной, вымыл подмышки, чувствуя, как струйки воды скатываются вниз, задрав одну ногу, а затем другую, Андрей вымыл их под краном, намылив мылом; в паху он мылить не стал, хозяйственным мылом противно было, просто помыл водой и вытер полотенцем.

– Начинается новая жизнь, – произнес Андрей. – Теперь зарядка.

Он вернулся в партком и сделал несколько школьных упражнений.

Что еще?

Дым почти что выветрился. Из окна тянуло, дым улетал туда, вместо него, вместо никотина, кабинет наполнялся влажным пахучим воздухом, чистым утренним воздухом с улицы, от реки и деревьев, которые стоят тут, вероятно, уже сто лет.

Андрей сбегал еще раз в туалет и вытряс пепельницу в унитаз.

В кабинете он выставил пепельницу в центр стола и полез в портфель за апельсином. Удачная покупка, думал Андрей, он выбрал из трех оставшихся самый большой, оторвал зубами кусок кожуры, совсем было собрался положить его в пепельницу, и, неожиданно, повинуясь импульсу, вышел на балкон, осмотрелся и швырнул корку вниз. Потом он вернулся в кабинет, взял стул, вытащил его на балкон и голышом уселся, положив ноги на балконные перила.

Он чистил апельсин, бросал корки вниз, высокие деревья, росшие у самого замка, закрывали его от обозрения с набережной, он разглядывал реку, здания на противоположном берегу, дом братьев Тургеневых и дом Столыпина, голый, в самом центре города, думал он, красота, и ел апельсин, сплевывая косточки вниз.

Солнце уже было как днем, но еще не было жарко.

В небе, у него за спиной, рокотал невидимый вертолет. Вспенивая воду, пронесся куда-то спеша, милицейский катер с единственным милиционером — капитаном, матросом и пассажиром. Белая рубашка милиционера надувалась как парус, но на мачту сам он, к сожалению, похож не был.

Волны, докатываясь до гранитных берегов, исчезали, исчезали, уходя, словно в вату, и на глазах вода опять уже стала гладкая и спокойная. Ничего не осталось от волн.

22 июля — 8 августа 1980 года
г. Ленинград

«...А ВЕДЬ И Я КОГДА-НИБУДЬ УМРУ...»

Это «прозревает» Берия в очень странном произведении Виктора Коркия «Черный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили». Автор сначала определил свое детище как «трагифарс», а потом переименовал его в «паратрагедию». Трудно сказать, что ближе к истине, но очевидно другое: Берия не слишком верит в собственное прозрение. Он, в общем-то, убежден в своем бессмертии, и для подобной убежденности имеются немалые основания:

Но факты умирают. Факты тленны.
Зато нетленны акты. Вот они.

...Хорошо бы, конечно, по порядку. Но только где он, этот порядок? В сочинении Коркия его, во всяком случае, нет. Сталин и Берия куражатся друг над другом, в особенности, конечно же, Хозяин над Слугой, но можно ли сказать с уверенностью, кто из них Хозяин, а кто – Слуга? Да и не

* Виктор Коркия. Черный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили. Паратрагедия. «Московский рабочий», 1989 г.

в этом дело. В начале второго акта актеры пытаются поменяться ролями и – не могут. Возникает жуткая мысль – да актеры ли это? Что-то слишком уж глубоко в них все это въелось.

Но, на самом деле, разумеется, актеры. И ничего подобного в действительности никогда не происходило между Сталиным и Берия. Но так ли это? Сейчас на головы советских людей обрушился чудовищный поток не менее чудовищной информации. Те, кто все это читают, – в шоке. Другие не верят. Третьим все уже надоело, и разоблачения тоже...

Пьеса Виктора Коркия была прежде поставлена, чем напечатана. И вызвала очень большой шум в Москве. Одни были в восторге. Другие возмущались – кощунство! Зубоскалить на костях и крови невинных мучеников! Третьих возмущал и впрямь несколько утрированный грузинский акцент. И все были по-своему правы. Да, кощунство. А разве то, что было позволено этим двум вурдалакам, но не на сцене, а в жизни – не вощунство? Искренняя всенародная любовь к ним – не святотатство? О кощунстве нужно было думать, когда плюгавый усач, от которого, по воспоминаниям Евг. Габриловича, исходил запах непромытого тела, выходил на трибуну и монументально изрекал что-нибудь вечное, например: «Будет урожай – будет хлеб. Не будет урожая – не будет хлеба». И зал взрывался бешеными овациями. Да и что, собственно, такого, – ведь прав! Не будет одного – и другого не будет. И наоборот!

Коркия действительно зря утрирует акцент. Грузины правы, когда говорят, что из Грузии Сталин уехал, в общем-то, никем. Вождем он стал в России. И миф о «великом человеке» тоже создавался в России. Правда, тогда уже и братские народы старались не отставать.

Продолжать публикацию разоблачающих документов необходимо. Но, видимо, пора уже отстраниться от сталинизма настолько, чтоб можно было над ним издеваться. Смех – действительно могучее оружие, а талантливый смех – вдвойне. Смех Виктора Коркия талантлив.

Разумеется, не стоит пересказывать содержание, да и невозможно его пересказать. Едва ли стоит говорить и о ничтожестве двух бандитов, оказавшихся у руля огромного государства. Но есть один аспект, который Коркия угадал очень точно.

Невозможно не заметить, что в пьесе постоянно перефразируются классические шедевры, идет постоянная игра:

Берия
(один)

Еще один последний протокол –
и кончено. Мой многолетний, тяжкий
и кропотливый труд. Мой скорбный труд!

Казалось бы, уж Пушкин-то тут при чем? Но думается, Коркия делает все это не только ради игры, которую очень любит. Он нащупал один из главных нервов тоталитаризма: унифицированную культуру.

В самом деле, ведь все мы знаем «Бориса Годунова», «Гамлета» и «Моцарта и Сальери», и про «скорбный труд и дум высокое стремленье», все мы радуемся, сразу же догадываясь, на что намекает, что перефразирует и обыгрывает автор. Конечно, хорошо, что мы все это знаем. Но ведь знаем-то мы, почти все – о д н о и т о ж е! Мы обучаемся по одной, общей для всех программе, читаем одни и те же книги, смотрим одни и те же фильмы, слушаем одни и те же песни и подсознательно чувствуем, что и отношение к ним должно быть одно и то же. Ну, как же это – ведь Пушкин гений? Гений! Так как же он может не нравиться? А если кому-то все-таки не очень нравится? Значит, надо с этим «кем-то» разобраться, он, скорее всего, враг. Чей? Ясное дело, чей! Кто любит Пушкина? Народ! Значит, тот кто не любит Пушкина – враг народа. Логично? Еще бы!

Это не изжито по сей день. Объявленный плюрализм многих пугает. Каждому хочется (пусть даже имея свое мнение) все-таки знать мнение п р а в и л ь н о е. А оно, естественно, одно.

Коркия мастерски творит абсурд на сцене. Но ведь то, что для всего мира абсурд, для нас – ползучий реализм. Один советский кинорежиссер рассказывал, что одна бытовая советская картина была воспринята во Франции как фильм блистательного абсурда, свидетельствующий об изощреннейшей фантазии сценариста и постановщика. Не зря же мрачно шутят в народе (тоже, кстати, перефразируя известную песню): «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» (в песне, которую гордо и с большим энтузиазмом распевали и при Сталине, и после него, вместо «Кафки» была «сказка»...).

Но и в абсурде есть своя логика. Вот их разговор:

Сталин
(берет пузырек)

Хороший яд? Лаврентий, по знакомству
спиши рецепт. Бумага на столе.
Кого ты отравить решил, товарищ?
Случайно, не отца?

Берия

Да разве я
Способен на подобное злодейство?

Сталин

Ты гений или Член Политбюро?
Я думаю, что гений – это я.
Ты Член Политбюро, но ты не гений.
А если ты не гений, то с тобой
Совместно и злодейство!..

Каково? А ведь точно – логика его, сталинская. И стало быть, у очередного гения, который сможет столь же доходчиво излагать свои не слишком сложные мысли, имеется не меньше шансов стать нашим идолом...

Но это, так сказать, идеологическая подкладка. В заключение же следует сказать, что Виктор Коркия создал великолепный фарс – живой, остроумный, искрометный. И несмотря на все тяжелые и мрачные обстоятельства, – очень смешной!

А.Браиловский

ЗИМНИЙ САД ВАДИМА КРЕЙДА

Две книги стихотворений «Восьмигранник» и «Зеленое окно»...* Когда открываешь их, то входишь в зимний сад чистых и четких линий, строгой, сдержанной, но внутренне

* Вадим Крейд. Восьмигранник. Стихи. Нью-Йорк, 1986.
Вадим Крейд. Зеленое окно. Стихи. Нью-Йорк, 1987.

очень эмоциональной атмосферы пространства и времени, запечатленной в форме стихотворений. Что происходит с тобою, читатель? Вначале ты можешь побояться войти в мир, точнее в глубину этого мира, ибо все хрупко, тонко, словно ветви деревьев, подернутые первым леденцовым морозцем, побояться разрушить созданное поэтом, некой отстраненности, прохлады. Но это первое впечатление, а оно в этом случае неверно. Осязаемость строк Вадима Крейда, сочетаемая с одухотворением вещного мира, завлекает потом настолько, что ты втягиваешься в дорожки его сада, просматриваешь впереди решетки его мироощущения:

Ступить на снег так просто и опасно,
Крупицы кварца, леденцы слюды,
Усыпали голубоватость наста.
Чернеют окна, улицы пусты...

Два начала явно присутствуют в его поэзии – аскетизм формы и насыщенность яркими красками, вывезенными, это очевидно, из его детства. Вот впечатление его родных мест – большого и распахнутого Востока:

Барханы бархатные ткут
Там женщины в чадрах...

или

лежал в степи и думал
в пахучей трын-траве
пел песни Имы Сумак
в траве кузнечик мне.

Я не знаю, какое начало сильнее, но думаю, что именно сочетание их дает эффект экспрессии, направленной внутрь, иногда вовне, но чаще равнодейственно: векторы чаще слагаются, чем вычитаются...

Развитие внутреннего мира Вадима Крейда от стихотворения к стихотворению, от книги к книге показывает, что чувство формы, которое давно, видимо, от природы держит его поэзию, не пускает в нее случайных вещей, понятий, дурной социологии. Вообще я думаю, что поэт – это государство, где в каждом человеке отражаются любые движения, многослойные пласты. От государства отличает его реальность настоящих и видимость поэтических границ.

У Вадима Крейда форма легка, прозрачна, она насквозь, ибо чувство – насквозь. Как она выражает его? Все через образ, краску, рисунок. Он не пишет, он рисует. Читатель сам повествует себе о мире поэта и о самом себе.

«Восьмигранник» – первая книга; название, думаю, неслучайное. Первая Книга зрелого поэта, выношенная годами неуютной молодости, ломкой сознания, стоическим созданием самого себя. Кристаллографичность каждого стихотворения несет в себе смысл, духовность. Если бы не было этой кристаллографии, то сознанию поэзии не за что было бы держаться, оно расплылось бы, рассыпалось. Поэт собирает в себе силовые линии и создает магнитное поле поэзии.

Таким мне представляется и Вадим Крейд. Новая книга «Зеленое окно» еще больше убедила меня в этом. Верность себе, своей линии на протяжении многих лет. А линии его поэзии, идущие в ряду силовых линий неоклассицизма начала века – Гумилева, Ходасевича, Г. Иванова – тянутся в наше время.

Дискретность времени Вадим Крейд уплотняет до почти невидимых швов, в которые невозможно проникнуть и лезвием бритвы.

Мне помнятся места и жизни простота,
кусты, кресты, река и шорохи ветвей.
Архитектурна трель. И неба пустота,
когда в него идет тепло души твоей.

Тепло души... Вроде бы обыденно, просто. Но именно эти новые и не новые для себя открытия делает поэт от стиха к стиху, и зимний сад его двух книг оттаивает все больше и больше, и следы на дорожках становятся все глубже... И как бы поэт ни открещивался от культурного слоя и ни уходил в собственные искания истин, если культура есть в крови, она есть в любых проявлениях и она всеобща – мифологическое сознание, запечатленное в слове, в ощущениях, импрессионизм живописи, даже казалось бы далекий по эстетике конструктивизм В.Хлебникова и блестящие попытки, разбивая мышление, создавать новую гармонию М. Кузмина («Четыре сестры, четыре сестры их было...»), дух золотого акмеизма, все это сверкает изнутри книг В.Крейда. Блестящее стихотворение «Восемь коричневых фотографий» тому свидетельство:

Лиловое платье тумана
и черные фраки дерев
однако в начале романа...

Дальше тайна. И это замечательно. Вадим Крейд дает возможность и себе, и читателю найти истину после, потом. И она у каждого своя. В этом сила его поэзии. Каждое стихотворение приоткрывает мир, указывает только путь, но не конец пути. Иди, ты волен выбирать, ты – новая грань его многогранника.

Каждый поэт, прозаик пишет историю своих бедствий, даже и не памятуя о знаменитой «Истории моих бедствий» П. Абеляра, если он – настоящий, если его внутреннее содержание выше любых эстетических норм. При всей трудности судьбы поэта поразительно, что в его стихах есть та вечная ориентация на поэтическое в жизни, как бы вне зависимости от внешних потрясений и событий. Это тот стержень, к которому допускаются только избранные, если они хотят того.

В. Крейд по своему письму разбрасывает щедрую красоту, которой – считал его любимый петербуржец Ф. Достоевский – мир спасется. Может быть, действительно пришла пора действительно воспитывать красотой, ибо иные методы, как показал опыт истории, приводят к трагедиям личности и общества. Вадим Крейд понял все это своей судьбой. Он прежде всех и всего чувствует сквозь расстояния –

Виденье сумрачной страны,
соль непостылых дальних лет, –
их тьма уже не тьма, а свет.

Александр Ткаченко

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Этот альманах – действительно добрая весть. Весть о современной русской литературе. Весть о переменах, происходящих в стране – по крайней мере, в области гласности. О том, что появились новые мастера, о том, что некоторых из уже известных мастеров смогут, наконец, про-

Альманах «Весть». Москва. Издательство «Книжная палата», 1989 г.

честь на родине не только те, кто имел доступ к «самиздату». А также о том, что все они полны сил и энергии.

Альманах родился на обломках несостоявшегося кооперативного издательства – несостоявшегося по независящим от инициативной группы причинам, как сказано в аннотации. Прискорбно, что такие причины все еще существуют.

Сюда вошли по большей части произведения, которые еще несколько лет назад отвергались всеми советскими редакциями и издательствами. Сейчас уже не всегда можно понять, из каких именно соображений.

Книга безусловно «обречена» на успех – и по причине прежней запретности, и потому, что в ней представлены действительно прекрасные писатели, причем совершенно не похожие друг на друга.

«Весть» открывается беседой Георгия Ефремова – одного из авторов альманаха – с известным белорусским писателем Василем Быковым. Беседа состоялась в январе 1988 года, но практически все, о чем говорят Ефремов и Быков, звучит по-прежнему свежо и живо, и, положа руку на сердце, это не радует: хотелось бы, чтобы писатель имел возможность больше размышлять о литературе, а не о преимуществах кооперативных издательств перед государственными, – ведь понятно же, что не от хорошей жизни это происходит. Но, видно, так уж повелось, что в России только литература обо всем думает и за все отвечает... Это – в некотором роде разминка.

А затем читатель может с наслаждением погрузиться в воспоминания Вениамина Каверина, всего несколько месяцев не дожившего, увы, до выхода альманаха в свет.

Читать Каверина интересно всегда, о чем бы он ни писал. В данном случае он рассказывает о Шкловском, рассказывает, как обычно, негромко, не торопливо, с достоинством, и, читая это неспешное повествование, с душевной болью видишь перед собою яркий образ бунтаря, еретика, гения, умницу, забывая, что имеешь дело не с романом, а лишь с воспоминаниями... Впрочем, ведь «жизнь – это роман, происшедший в действительности». И думается, что именно мемуары Каверина отбрасывают на весь сборник отсвет благородства и благожелательности, придает ему некий монтеневский аромат.

И сразу же за Кавериным, словно кровоточащая рана, – список (причем далеко не полный) делегатов Первого съезда советских писателей, подвергшихся репрессиям...

Нет книги, романа, стихотворения, которые одинаково нужны или просто нравятся всем. То же самое можно сказать о различных стилях и направлениях. Следует, вероятно, остерегаться выражений вроде «новая проза», ибо едва ли сыщется на свете и особенно в литературе что-нибудь действительно новое. Просто есть более привычное и менее привычное. К первому «лагерю» (вот ведь привычка: делить на лагеря...) можно отнести Булата Окуджаву, Фазиля Искандера, Нину Катерли; из поэтов – Владимира Леоновича, Ларису Миллер, Дмитрия Сухарева, Давида Самойлова. Непривычно, но мирно соседствуют с ними д р у г и е – Евгений Попов, Александр Парщиков, Виктор Коркия, Юрий Стефанов. Многое из того, что они пишут, вернее, не столько ч т о пишут, сколько к а к пишут, – может быть непонятным, раздражать, вызывать неприятие, но нельзя не почувствовать, что они честны и талантливы, и это самое главное. Тут хочется процитировать прекрасное в своей мудрости эссе литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса, включенное в альманах: «Реализм, конечно же, норма. Но если мы не хотим, чтобы повсеместно воцарилась монотонность, не стоит бояться эксперимента. Хотя я знаю, что многими знатоками литературы эксперимент считается отклонением от нормы».

Трудно предположить, что всем понравится, например, поэма Георгия Ефимова «Пир нищих». Но наверняка многим западет в душу ее трефожный рефрен:

Совесть,
когда она есть,
не бывает чистой...

Одно из самых сильных впечатлений в книге – рассказ Нины Катерли «Старушка не спеша». Рассказ поразительный и в лучших традициях русской классики. Его героиня – одинокая, старая женщина, живущая в коммунальной квартире, насквозь пропитанная и оболваненная идеологией 30-х и последующих годов, живущая с включенным радио и искренне верящая всему, что из приемника раздается, убежденная, что только в Советском Союзе, несмотря на отдельные недостатки, люди живут по-человечески и всей душой жалеющая сына, уехавшего жить в «мир чистогана». Она во все вмешивается, всех поучает, но не из природной вредности, а потому, что видит в этом свой долг: «до всего тебе в мире есть де-

ло» – ведь так ее учили... Она вряд ли способна вызвать читательские симпатии, но Боже правый, какая же эта несчастная старуха – не догадывающаяся даже о том, что она несчастна! – вызывает сострадание – к себе, к своему народу, ко всем людям своей страны, неприкаянным и униженным!..

Путь к себе. Захватывающие попытки прорваться сквозь все наслоения, сквозь все, что вбито, въелось даже в самые ясные и стойкие головы. Именно это происходит сейчас в стране – мы хотим понять себя, понять, что с нами произошло, в какой момент мы свернули на тропу, приведшую в тупик равнодушия, озлобленности, безнравственности. Практически все произведения в сборнике – об этом. И горько-ироническая повесть Евгения Носова «Билли Бонс», в которой происходит нелицеприятный разговор с самим собою (в повести Александра Давыдова «Сто дней» происходит нечто подобное, но в письмах); и жуткая исповедь умницызабулдыги – скандально знаменитая повесть Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки» и давно известная всем, кроме широкого советского читателя (вот уж где не возникает сомнений, почему именно!). О том же поэма Виктора Коркия «Сорок сороков» – озорная, не без ерничества, легкая, стремительная, взрывающаяся неожиданными и страшными образами:

...И перед ним его страна
лежит огромная, как плаха...

...Удивительное дело: и в поэме Коркия, и в соседствующем с нею рассказе Якова Гордина «Ночное погребение императора» большое внимание уделяется Петру Первому, монарху, который, по словам Пушкина, «Россию поднял на дыбы», но при этом, по мнению некоторых историков и мыслителей, сломал ей хребет. Это тем более любопытно, что недавно в Москве (если не ошибаюсь, тоже в издательстве «Книжная палата») вышла книга замечательного историка Натана Эйдельмана «Россия: революция сверху», где речь идет об уникальном российском опыте – революциях, инициаторами которых являлись сами правители. Поистине, идея носится в воздухе. Но поэт, конечно же, размышляет не столько об истории, сколько о своем месте в мире.
Коркия заканчивает так:

И участь жалкую свою
судьбою все-таки считаю.
И в небо вкопанный стою,
и взглядом в землю прорастаю...

В альманахе много хорошей поэзии. Хорошей и разной. Чуть высокопарный, чеканный, как латынь, стих Владимира Леоновича – и легкая, женственная строка Ларисы Миллер, остроумная игра Давида Самойлова – и часто темные смыслом, густые и напористые строфы Алексея Парщикова, изящная, грустная вязь Татьяны Врубель – и мастерски отлитые размышления Александра Кушнера о «Войне и мире» Толстого... И прекрасные стихи Межелайтиса, включенные в его эссе и отлично переведенные:

подснежник – чернильная синяя точка,
последняя в белом прощальном письме,
а ласточка в форме резного листочка
раскрылась – весна изнутри и извне
во все проникает, как властная плазма,
и ветка черемухи никнет, смирясь,
щекочут и ластятся крылья соблазна:
втоптать эту точку в весеннюю грязь
и фразу продолжить – все тает во мне
меняется, точно смола на огне...

Кстати, о переводах. Знакомясь в конце книги с краткими биографиями авторов, нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что многие из них долго и плодотворно переводили. Геннадий Айги переводил на чувашский поэтов Франции, Владимир Леонович прославился переводами на русский «грузинского Блока» – Галактиона Табидзе. Есть и другое любопытное совпадение в биографиях: «...работал грузчиком, начальником геодезической партии, смотрителем музея, сторожем...» Это Геннадий Жуков:

Сармат и скиф, и эллин, и варяг...
Я ваш ковчег, собратья по планете.
Меж медленных огней тысячелетий
Кровь, выкипая, тянется, как стяг.

Кем и работать такому, как не грузчиком... А вот Венедикт Ерофеев: «Работал приемщиком стеклотары, ис-

топником, сторожем, дорожным рабочим, монтажником линий связи». Или Юрий Стефанов, автор сложной, во многом могущей быть понятной лишь сугубым интеллектуалам повести «Закудыкина гора»: «Работал грузчиком, кочегаром. Публиковал переводы старофранцузских романов, прозы Вольтера, пьес Расина и Гельдерода, поэзии Вийона, Верхарна, Рембо, Ронсара и др. Проза публикуется впервые». Тоже – кочегар что надо! Есть о чем задуматься, не правда ли?..

Единственное драматургическое произведение в альманахе – комедия Леона Гутмана «Вздор». Лично для меня она осталась загадкой, не вызвавшей особого желания ее разгадывать. Но «Весть» хороша именно тем, что способна удовлетворить довольно широкий спектр вкусов, и возможно, кому-то, в отличие от автора этих строк, не покажется, что название комедии Гутмана вполне отражает ее сущность.

Нельзя, однако, пройти мимо блистательной, как всегда, прозы Фазиля Искандера. На протяжении десятилетий этот писатель был – и остается – неприступным бастионом здравого смысла. Вот и сейчас рассказ «Абхазские негры», написанный отнюдь не сегодня и даже не вчера, звучит чрезвычайно актуально на фоне трагических событий в Грузии и Абхазии, да и всех межнациональных столкновений. За добродушным юмором, с которым, впрочем, частенько соседствует весьма злая ирония, звучит призыв к разуму и добру. Рассказ завершается неожиданно, наподобие новелл О. Генри: оказывается, негры, испокон веков жившие в Абхазии, считают себя просто-напросто абхазцами и даже не подозревают, что они – негры...

Очень хочется, чтобы призыв Искандера был услышан. Чтобы поэты и прозаики не были вынуждены переводить ради куска хлеба, а делали бы это исключительно по велению сердца. Чтобы им не приходилось работать грузчиками и сторожами. Чтобы их самих берегли, холили и лелеяли. И, наконец, чтобы первый выпуск альманаха «Весть», где под одной крышей собрано столько талантливых и разных произведений, не остался единственным или самым лучшим.

Александр Златкин

МЕЖДУ ДВУХ ЕРОФЕЕВЫХ

Итак, в Советском Союзе изданы два альманаха запретной прежде литературы: «Зеркала» и «Весть». Получили выход тюремные камеры ящиков, развязались замотанные наглухо рты. И неважно, что это происходит уже несколько лет. Каждый заговоривший получает свободу впервые!

«Зеркала» слепят еще одной новостью. «Весть» объединяла опальные произведения. «Зеркала» – это срез поколения. Сколько ни складывай рядом журнальные номера и тощие книжки молодых, поколение в целом – это сборник, альманах, серия. Издательская структура тут формирует лучшую точку обзора. В советских издательствах подобные преимущества получали пока разного сорта почвенники – не те, которыми определялась работа нового круга литературы. В «Зеркалах» перед нами выстроились те: Ерофеев Виктор и Ерофеев Венедикт, Евгений Попов и Дмитрий Пригов, Владислав Пьецух и Алексей Парщиков.

Молодая проза сборника явно угодила в ловушку двух Ерофеевых. Венедикт (которого по старой памяти самиздатских времен очень хочется назвать Веничкой) выступает с рассказом «Василий Розанов глазами эксцентрика». Читать Розанова с Ерофеевым – значит, переходить из царства железа в «дом молитвы», в дом «нежной идеи», прочной, как дело Спасителя. Два этих мира, железный и вечный, сосуществуют в сердце автогероя Венички, где ерничество и сарказм слиты с самой чистой, не выспренной болью: «Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты – все как-то поразбрелись по заграницам, еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли-поперевешались. И, наверное, слава Богу. Остались умные, простые, честные и работящие. Г...а нет и не пахнет им, остались бриллианты и изумруды. Я один только – пахну. Ну и еще несколько отщепенцев – пахнут...»

Виктор Ерофеев – иная стать. Его боль скрыта под слоями смеха, иронии, невероятного смешения эпох. Ерофеев словно помешивает их языковые, стилистические, цитатные «кусочки» – чтобы лучше разошлись в его невероятном речевом растворе, где неуместные галлицизмы» соседствуют с «его потянули», а «отдаленные губернии» с «одной из самых гнусных разновидностей реакционной философии». Рассказ

---

* «Зеркала». Альманах. Выпуск первый. «Московский рабочий», 1989 г.

Ерофеева «Бердяев» заставляет понять, что в литературу пришел художник, владеющий всем гуманитарным космосом. Его богини – свобода и игра, и он свободно играет бесконечным калейдоскопом времен, стилей, исторических фигур, идей, чувств, – лепя из них вечную повесть о русском либерале фантасмагорическую, абсурдную и точную, как покаяние. И все у него осиянно светом смеха.

Стоит задуматься, почему молодая литература очевидно развивается именно под его властной метой. Как ни грустно признавать правоту Маркса, видимо, ближайшая свобода в тоталитарном мире – это свобода насмешки. Она показывает зубки у Ерофеевых и Попова, у Толстой и Пригова. Конечно, у каждого из них смех сплавлен с чем-то своим, особым, но присутствие его – естественная закономерность.

Эпос в «Зеркалах» явно движется прочь, за пределы реальности. Строго реалистические вещи альманаха (рассказы С.Булгакова, И.Поволоцкой, Л.Комаровского) наименее интересны. В произведениях других притяжение фантастики и абсурда не литературный соблазн, а пряный отблеск времени и среды, их распада. Вот почему в центре сборника оказываются вещи Е.Попова, Т.Толстой. В.Пьецуха, где трезвая, болезненная проза бытия обнажается и продлевается до невероятного.

К абсурду, парадоксу близка и поэзия Дмитрия Александровича Пригова. Остраненность выступает у него посредником детской наивности, напрямик говорящей главное, а наследие народной песни, Хлебникова и обериутов счастливо сочетается с корневой простотой слов, взятых вне всякой литературной наследственности. Это детское, скрыто ироническое сознание, эта неожиданность и свобода медитации, этот непростительно новый и отнюдь не лишенный корней дар – радость отечественной культуры.

По сравнению с подборкой в альманахе «Весть», стихи Алексея Парщикова в «Зеркалах» яснее, мягче и, по-моему, совершенней. Они дают повод подумать о том, почему путь к «неслыханной простоте» так навязчиво выстраивается перед каждым русским поэтом. Как бы там ни было, стихи «Зеркал» – это работа мастера. И наслаждение следить, как прорастает из единого образного зерна метафорическая спираль «Вариации» или «Бессмертника». Как молодой Чехов с его пепельницей, Парщиков, кажется, оттачивает поэтическое зрение на чем угодно, но всякий раз перед нами не

только рассыпанные блестки таланта, но грани серьезного и продуманного мира.

Мне показались интересными стихотворные работы С.Гандлевского (особенно «Опасен пряный укус гюрзы...») и С.Соловьева. Шершавая сладость стихов Соловьева поименована им самим: «Это в терпкой ворсе чернослив и лукум». От фактуры бытия Соловьев легко уходит и вглубь, как в стихотворении «Лицом к лицу», где путешествие среди философских данностей разрешается в прозрачной грусти финала:

что колокол похож на звон его ПО КОМ,
что мир похож на БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ,
что миг похож на ГРУСТНО И ЛЕГКО,
и что любить тебя похоже на ЛЮБИТЬ.

Поэтическая плеяда «Зеркал» в целом недостаточно представительна и, по-моему, не дает оснований для более или менее широких выводов о новой поэзии. Замечу только, что стихи Л.Губанова и В.Салимона разочаровывают своей вторичностью, а опыты И.Кутика (особенно «Отрывок») – претенциозностью, не исключающей, впрочем, стилистических ошибок: «Кто может поручиться, что число его благополучных пробуждений равно числу отходов им ко сну?» И в самом деле, кто?

Что скажем на прощанье? Оставим в покое весну и первых ласточек. Поздравим себя с книгой, заставляющей волноваться. Волноваться о дальнейшей судьбе и читательском признании тех, кто такого признания заслуживает. Хотелось бы, чтобы этот путь оказался менее тернистым, чтобы соотношение понимания и отрицания было не 1:99 (как у Виктора Ерофеева после огоньковской публикации*), а хотя бы 50:50. И одновременно – чтобы в следующем выпуске «Зеркал» было больше настоящей литературы, настоящей без скидок, без желания всем раздать и всех вместить. Мне, читателю, не важно, широко публикуется будущий автор альманаха или отчаянно нуждается в первых печатных строчках, мне не важна тактическая расстановка сил, толки о справедливости и прочая литературная кухня. Мне важно, чтобы издатель открыл мне нового художника и новую литературу. Издательству «Московский рабочий» и составителю А.П.Лаврину это во многом уже удалось. Спасибо!

И.Служевская

* Имеется в виду рассказ «Попугайчик» (см. подробности в «Стрельце» № 2, интервью с В.Ерофеевым).

После того, как на страницах "Стрельца" вы уже познакомились с прозой Ю. Анненкова и С. Шаршуна, мы предлагаем вашему вниманию самобытную прозу еще одного замечательного парижского русского художника.

Автор этого рассказа является крупным живописцем парижской школы, он стоит в одном ряду с такими мастерами, как: М. Ларионов, Н. Гончарова, И. Пуни, Ю. Анненков, А. Ланской, С. Поляков и Н. де Сталь.

Михаил Федорович Нечитайло-Андреенко (1894-1982) в пятидесятые годы параллельно с живописью начал исподволь пробовать себя и в прозе. Умудренный богатым жизненным опытом, он расценивал свою прозу скорее как мемуары, чем литературное повествование. Андреенко писал свои рассказы урывками, меняя кисть на перо. В известном смысле они являются продолжением его живописного творчества. Уместно тут будет напомнить, что, наряду с Андреенко, Анненковым и Шаршуном, в эмиграции стали или продолжали писать и другие русские художники: М. Добужинский, А. Бенуа, Н. Рерих, И. Пуни, Б. Григорьев, Р. Пикельный... Но и среди всего написанного этими выдающимися мастерами, литературные произведения Андреенко выделяются "лица необщим выраженьем", исключительной индивидуальностью взгляда на мир и чисто литературными особенностями стиля. Он – не просто описатель быта или случайный беллетрист, а художник-мыслитель, чье миросозерцание глубоко укоренено в космосе всечеловеческого бытия. Это делает для него равно замечательными и заслуживающими пристального внимания вещи, с обывательской точки зрения, несопоставимые,

несочетаемые, даже неприемлемые. Знакомство с записками Андреенко обнаруживает в нем человека искусства до мозга костей, человека гётевского склада. Жизнь художника неотъемлема от парижских кафе квартала Монпарнас, и поэтому повествование естественно и органично вбирает в себя весь пестрый мир этих кафе, со всеми его постоянными посетителями, со всей сложностью их затейливых судеб и биографий. Этому предельно соответствует манера повествования , спокойная и неспешная, как полноводное течение украинских рек, а также мягкий доброжелательный юмор, заинтересованность в любой судьбе, какой бы она ни была.

Во всех его рассказах прошлое тесно переплетается с настоящим, отошедшая в небытие старина как бы накладывает свой отпечаток на события дня сегодняшнего. Тайна – непременный лейтмотив и потаённая пружина всех без исключения его рассказов. Более того, спокойная, обстоятельная, ненавязчивая манера повествования, совершает, казалось бы, невозможное: приобщает нас, читателей, к чужой тайне. Эта тайна, возможно, существует лишь в нашем воображении, которого художник, словно коснулся волшебной палочкой своего мастерства, – и тем не менее, она существует.

Персонажи проходят перед глазами автора, который сам принимает участие в происходящем, – он как бы вовлечен в происходящее помимо своего желания. Ничто в его рассказах не пропадает бесследно, давние события будто рождают эхо, возвращаются вновь и продолжают развиваться не в событийном плане, а в психологическом. Так создается особая, пленительная атмосфера таинственности, которая обволакивает читателя, и он замечает, что и его, совсем как автора, "раздумье тайное объемлет". Самый замысел, сама фабула проста, порой даже банальна, но все, на что падает пытливый глаз художника, предстает перед нами в каком-то особом, таинственном разрезе, непрерывно поддерживая в нас напряженный интерес к повествованию.

У Андреенко постоянный и неутолимый интерес ко всем и всяким памятникам старины, у него – живое ощущение и сознание связи времен, чем и объясняется тяга художника к прослеживанию любых событийных и ассоциативных нитей, уводящих "в ночь времен". Отсюда неизбежный, почти навязчивый интерес Андреенко к теме жизни и смерти, находящий свое разрешение в местах погребения усопших.

Каждый человек, каждый предмет, любое живое существо таит в себе нечто непонятное, до конца непостижимое, напрягающее наши интуицию и ум. Вот к этому вновь и вновь побуждает нас Андреенко.

Не рискуя более злоупотреблять вниманием читателя, мы предлагаем ему испытать на себе действие чар андреенковой прозы.

Рене Герра.



© Ренэ Герра

Михаил АНДРЕЕНКО

НЕРАСКРЫТОЕ ДЕЛО

Рассказ

В этом кафе находившийся в глубине задней залы столик, вечерами был занят всегда тем же посетителем. Если случалось, что этот столик не был свободен, посетитель присаживался неподалеку и, не заказывая обычную свою чашку кофе, ждал когда столик освободится и он сможет занять свое место. Он привык к своему месту – и можно было привыкнуть – уже несколько лет, как он его занимал от восьми девяти часов вечера до закрытия кафе – до двух часов. Воскресные и праздничные дни, летнее каникулярное время его всегда можно было видеть на его месте. Это был его рабочий кабинет и салон, где он принимал друзей и знакомых.

Выпив чашку кофе, которую гарсон приносил и ставил перед ним, не спрашивая заказа, Домингез доставал из потертого кожаного портфеля несложные чертежные принадлежности, книги, маленькую книжку – таблицу логарифмов, которая всегда оставалась открытой и занимала видное место. Извлекался из портфеля и лист бумаги с тщательно прочерченным кругом, диаметром, радиусами, по сторонам замечания, написанные мелким, но четким чертежным почерком. Видно было, что он знаком с чер-

тежным ремеслом. Лицо, гороскоп которого он составлял, несомненно останется довольным тщательностью работы.

Если Домингез не составлял гороскоп, он погружался в чтение книги – всегда что-либо касающееся религиозных верований восточных народов. Часам к десяти к его столику начинали подсаживаться другие посетители, компания увеличивалась так, что иногда приходилось придвигать другой столик. Собиралось человек десять, а то и больше. Но как бы ни велика была компания, всегда как-то само собой утверждалось главенство фигуры Домингеза. Его черная с сильной проседью, давно не подстриженная борода, манера говорить спокойно и убедительно, никогда не повышая голоса, наконец, вся его осанка, которую можно было принять за величавую, немало этому способствовали. Изъяснялся Домингез довольно путано, сложно, любил прибегать к выражениям высокопарным и, когда ему недоставало слов, вставлял, для ясности, несколько слов по-испански. Часто он брал одну из своих книг и, наскоро перелистав страницы, находил нужное место – изречение какого-либо древнего мудреца. Цитата мало подходила к месту и мало что объясняла. Но, кажется, немногие это замечали.

В компании часто находились – они по большей части сидели рядом с Домингезом – два-три молодых испанца. Не зная французского языка, они не принимали участия в общем разговоре и только изредка обменивались с ним несколькими словами по-испански.

– Это компатриоты, пояснял Домингез, они недавно во Франции, не знают языка, им, конечно, приходится трудно. Я, разумеется, помогаю им советами и указаниями. Но, главное, сообщаю им и укрепляю в них духовную бодрость. Я знал одного, который находился в состоянии морального упадка. Применяя способы воздействия, установленные йогами, мне удалось полностью восстановить его духовные силы. Теперь я потерял его из виду, но говорят, что он работает, женился, у него ребенок. Ни жены его, ни ребенка я никогда не видел, но те, которые его видели, рассказывали мне, что ребенок поразительно похож на меня. Настолько значительно сказалось для него мое влияние.

Случалось, что к столику подходила одна из девиц, посещавших это кафе, и знаком давала понять Домингезу, что хочет поговорить с ним наедине. За соседним столиком они долго о чем-то переговаривались. Посвященный в ее секретные дела, Домингез, очевидно, давал ей наставления и советы. С сосредоточенным видом возвращался он на свое место и погружался в молчание. Никто не позволял себе задать вопрос или сделать замечание. Он занимал положение настройщика душ – и это было за ним признано всеми безоговорочно.

Случалось, что к столику подходил молодой человек с девицей.

– Мсье Домингез, все знают, что вы, как никто, читаете по руке и предугадываете будущее. Не согласились бы вы посмотреть руку моей невесты? Я сумею вас отблагодарить.

Стулья раздвигались, сидевшие уступали место, девица присаживалась и застенчиво протягивала через столик левую руку. Все замолкали. Домингез долго, сосредоточенно всматривался в протянутую ладонь.

– Необыкновенно, необыкновенно, говорил он вполголоса ни к кому не обращаясь, будто про себя, – исключительно интересно. Пересечение этих двух линий удивительно. И как раз здесь кроется разгадка вашей судьбы.

– Но что означает это пересечение? – осторожно задавал вопрос молодой человек.

– Выводы и заключения из того, что я видел, проявятся во мне сами собой, но только через некоторое время. Пока могу сказать только, что судьба ваша будет необычайной. Приходите завтра пораньше, часам к девяти, когда я один. Я скажу вам все, что мне открылось и откроется. До завтра. Жених и невеста неохотно отходили от столика. Им уже сейчас хотелось бы услышать, что они будут богаты и счастливы.

Кроме астрологии и хиромантии Домингез проявлял себя и в других областях. Он был хороший шахматный игрок. Говорили, что еще в Испании он был допущен к участию в большом шахматном турнире, но был исключен за будто бы какое-то несоблюдение установленных правил. Иногда он вынимал из своего портфеля и показывал фотографию с портрета Ганди.

– Это портрет, который я написал с моего учителя, говорил он. Если собравшаяся компания была невелика и казалась ему подходящей, он вполголоса, по-испански, напевал различные арии из опер, – он знал их множество, – и выказывал отличную музыкальную память.

В один из вечеров за столиком царило большое оживление. Листы бумаги переходили из рук в руки, прочитывались и, видимо, обсуждались. Потом стало известно, что это было письмо, которое Домингез намеревался послать Папе. В письме христианская религия сопоставлялась с буддийской и объяснялись преимущества религии буддийской.

Невозможно подвести лиц, собиравшихся у столика Домингеза, под какую-либо одну категорию. Здесь сходились люди разных национальностей, разных профессий, разных возрастов, люди между собой ничем не связанные, ничего общего между собой не имеющие. Разве необходимостью где-то, как-то провести вечер. Было несколько давних постоянных посетителей, но компания постоянно менялась, – одни исчезали, появлялись другие. К этому кафе протягивались и здесь сходились на время нити, которые шли ото всех частей света. Появлялся на время грек, который собирался открыть где-то в Бразилии мастерскую керамики, и покупал в Париже нужные ему материалы, появлялся художник из Австралии, ехавший в Лондон, где он собирался устроить выставку своих гравюр, зашел однажды негр и рассказал, что он незаконный сын какого-то герцога и что он ведет дело по восстановлению его во всех правах.

Подходил к столику молодой человек, лицо которого всегда нервно подергивалось. Он всегда куда-то уезжал и подходил к

столику только чтобы со всеми попрощаться.

– Завтра я уезжаю в Индию, сообщал он, опять там неспокойно, опять столкновения с мусульманами. Вы читали? Нет? Удивительно! Вызывают меня спешно, чтобы навести порядок. Вспомнили, что я еще могу быть кому-то полезен. И, прощаясь, он пожимал всем руки. Но дня через два, три он снова подходил и сообщал:

– Завтра уезжаю в Женеву. Я нашел рукопись – неизданный роман Эмиля Золя. Меня спешно вызывает один крупный швейцарский издатель. Но уже давно никто не пытался вступать с ним в разговор. Подходила на несколько минут итальянка Нита, только для того, чтобы затеять ненужный спор. Говорила она громко, напористо, с убеждением, придавая таким образом совершенным пустякам какую-то значительность. Выразительный жест сопровождал каждую фразу. Заложенная в ее крепко сложенном организме энергия не могла долгое время оставаться скрытой и готова была каждую минуту перелиться через край. По ничтожному поводу она вступала в спор и вела его ожесточенно, даже если собеседник всячески этого избегал.

– Английская таможня отменила свои глупые правила относительно ввоза в Англию ковров, сообщала она, вы читали? Нет? Удивительно! Удивительно, как художники не интересуются тем, что их близко касается. До сих пор английская таможня приравнивала ковры вообще ко всякого рода шерстяным изделиям. Пошлина определялась по весу и была очень высокой. Согласно новым правилам, ковры будут рассматриваться как произведения искусства. Каждый ковер отдельно. Это будет гораздо выгоднее для посылающих ковры. Вы не знали?

– Нет.

– Поразительно. Художник обязан знать все, что касается области искусства. Мазать холсты, это недостаточно. Нужно интересоваться всем, что делается в вашей области, все что вас касается.

– Ковров я не делаю, в Англию посылать их не собираюсь и правила английской таможни меня не интересуют.

– Нет, вы обязаны это знать и этим интересоваться, если считаете себя художником. Это непростительно, извинить этого вам нельзя. И я вам этого никогда не извиню! Вы слышите, никогда!

Теперь она уже кричала, стуча кулаком по столу. Сидевшие спешно отодвигали стаканы и чашки, потому что ложечки уже полетели на пол, один недопитый стакан опрокинулся. Кто-то приподнимался, отодвигая столик, чтобы платком вытереть облитый пивом костюм, все вставали, отодвигая стулья. Сидевшие неподалеку тоже приподнимались, чтобы взглянуть, не кончится ли все интересным скандалом.

Один Домингез сидел неподвижно, смотря куда-то в сторону, вовсе не замечая Ниты. Но Нита уже улыбалась и, вглядываясь в лица, будто спрашивала:

– Ну что, разве я не права?

На нее не обижались, даже если она осыпала собеседника

обидными словами. Она со всеми оставалась в хороших отношениях.

Случалось, когда Домингез оставался один за своим столиком, если не был занят чтением или составлением гороскопа, завидя меня, широко улыбаясь, он делал приветственный жест и указывал на стул подле него, приглашал присесть.

– Здравствуйте, граф, – говорил он.

– Я не граф.

– Тогда, князь?

– Тоже нет.

Домингез смотрел недоверчиво.

– А я уверен, что вы граф. Но я понимаю, что вы это скрываете. Здесь не место об этом говорить. Когда во время оккупации меня арестовали, немец, который меня допрашивал, сказал мне:

– Вы можете снять шляпу, когда с вами ведут разговор.

– Я принадлежу, ответил я, к одной из тех немногих испанских фамилий, которые имели привилегию не снимать шляпы даже перед королем Испании. Но здесь не место об этом рассказывать...

Одним вечером Домингез сидел на своем рабочем месте, погруженный в чтение каких-то бумаг, – целая кипа лежала перед ним. Заметив меня, он указал на стул подле него, приглашая меня присесть, и, указывая на бумаги, сразу же стал пояснять.

– Мне поручили разобрать и привести в порядок семейный архив. Архив принадлежит семье испанского происхождения. Предки их переселились во Францию еще в начале прошлого века. Потомки их давно стали французами. В теперешней семье испанского языка уже не знают. Теперь, вдруг, они вспомнили о своем испанском происхождении, полюбопытствовали узнать, что возможно о жизни своих дедов и прадедов. Множество бумаг сохранилось с давних времен. Архив находится в мансардных комнатах особняка, который принадлежит этой семье. Уже несколько дней я там провел, разбирая бумаги. Деловые бумаги сложены в один сундук – я их еще не разбирал, остальное все перемешано, свалено как попало. Ничто не выбрасывалось. Счета магазинов, школьные тетрадки, детские книги, которые выдаются школьникам за хорошие успехи. Но по большей части, главным образом – письма. Письма начала прошлого века написаны по-испански, потом все чаще встречаются письма по-французски. Мне надо разобрать эти письма по годам, установить, насколько возможно, кем написаны и кому адресованы так, чтобы было удобно для просмотра и для прочтения. Это не так просто сделать. Некоторые письма не датированы, в письмах часто называют друг друга уменьшительными именами. Как тут восстановить родословную? Владелец архива мне помогает указаниями, но он и сам разобраться во всем не может. Теперь я беру бумаги на дом. Все же удобнее работать здесь на моем месте, чем в мансарде, среди сундуков.

– Позволите взглянуть на бумаги?

– Прошу.

Я взял наугад несколько пожелтевших листков, написанных тщательным, ровным почерком хорошей ученицы — письма были написаны по-испански, помечены 1833 годом. Я внимательно разглядывал поблекшие, выцветшие строки, написанные гусиным пером.

— Очень жалею, что не могу прочесть.

Домингез взял у меня из рук письма и, проглядывая их, стал пояснять.

— Эти письма, как установил владелец архива, написаны его прабабушке, еще когда она была молодой. Пишет ей ее подруга. В этом письме она рассказывает о похоронах, на которых она присутствовала, жены испанского посла в Париже, которую она иногда встречала на приемах. Она описывает подробно похоронную церемонию, говорит о знакомых ей лицах, которых видела во время похоронной процессии.

В другом, вот в этом письме, она снова возвращается к умершей и о ней рассказывает. Жена посла происхождением была из низшего класса. Ее мать, испанка, имела в Париже лавочку овощей, а дочь разносила овощи по домам. Таким образом увидел ее и с ней познакомился еще молодой человек из знатной испанской семьи. Влюбился в нее и, несмотря на запрет своих родных, женился на ней. Так, что должен был прервать с родными все отношения. Это был светский скандал. Одни его резко осуждали, другие относились к нему снисходительно. И тем более, что продавщица овощей была девушка красоты необыкновенной. Со временем все стало улаживаться. Молодая пара начала получать приглашения и появляться на приемах. Продавщица овощей както просто и естественно стала светской дамой. Эта женитьба не помешала карьере молодого испанца, и, через какое-то время, он был назначен послом Испании в Париже. Тогда произошло и его примирение с родными. Когда жена посла умерла, совсем еще молодой, рассказывали, что он едва не помешался в уме от горя. Она добавляет в своем письме, что исключительно богатые и пышные похороны породили слухи, что умершая была погребена со всеми своими драгоценностями. Тут она старается припомнить, добавил Домингез, какие именно драгоценности она видела, когда ей послучилось встретить жену посла на каком-то балу или на приеме. Домингез отложил письма в сторону.

— Древние египтяне и другие древние народы, продолжал он, помолчав, хоронили своих умерших с предметами их домашнего обихода. Они верили, что предметы эти послужат им и в загробном мире. Это было последовательно. Но как можно оправдать с христианской точки зрения погребение умерших с их драгоценностями? Это находится в противоречии с основными положениями христианской религии. Вы читали мое письме к Папе? Если я буду еще ему писать, я изложу подробно несоответствия многих, принятых в нашем обществе обычаев, с положениями принятой им религии.

Несколько дней спустя я увидел Домингеза на его обычном месте и сразу же обратил внимание, что на его столике, где обычно лежали книги, бумаги, не было ничего, кроме чашки кофе. Сам

Домингез сидел, откинувшись на спинку сидения, опустив голову, полузакрыв глаза.

– Вам нездоровится?

– Нет, но я очень устал.

– Не буду вас беспокоить, я собирался удалиться.

– Вчера, вдруг сказал Домингез, я с друзьями ходил на кладбище Пер Лашез, пешком, туда и обратно. И сегодня еще чувствую себя очень усталым.

– Вы ходили на Пер Лашез с Монпарнаса пешком ? Пересекли весь город туда и обратно? Зачем же пешком?

– Настоящее паломничество требует жертвенности и совершается всегда пешком.

Мне показалось, что он хотел что-то добавить, но он откинулся на спинку сидения и полузакрыл глаза.

– До свиданья, мсье Домингез.

– До свиданья, граф.

Мне зачем-то понадобился один из кувшинчиков, что стоят на верхней полке стенного шкафа, среди других ненужных предметов. Что-то твердое барахталось внутри кувшинчика. Я вынул маленький твердый комочек, стряхнул пыль, положил на стол и, присев, стал внимательно его разглядывать. Это был ссохшийся от времени, съежившийся, потемневший лимон. Я разглядывал лимон и собирался с мыслями. Эта пустая находка вызвала во мне воспоминание, вовсе изгладившееся из памяти, и, казалось, что-то мне разъясняла.

Дело в том, что последние дни несколько строк из письма об умершей жене испанского посла, которые Домингез очень приблизительно мне перевел, не выходили у меня из головы. Мне казалось, что я что-то знаю об испанке, продавщице овощей, ставшей женой посла, что-то слышал, может быть, читал. Я силился что-то припомнить и досадывал на себя за ненужные, невольно набегавшие мысли. И в то же время жалел, что не мог прочесть сам в оригинале письмо, ни даже прочесть в полном переводе.

Лимон, который лежал передо мною на столе, кое-что мне объяснял. Купил я его когда-то давно, у одной продавщицы овощей. Она была испанка, как и давно умершая продавщица овощей, ставшая женой испанского посла. Время от времени я покупал у нее лимоны, с которыми потом не знал, что делать. Лимоны лежали на подоконниках, на полках в кухне, ссыхались, уменьшались в объеме и только тогда выбрасывались. Воспоминание о продавщице лимонов, оказывается, не изгладилось из памяти навсегда, а лежало где-то в глубине, ожидая момента, чтобы проявиться и занять свое место.

Знал я ее едва-едва, с виду только. Она стояла всегда на том же месте, между двумя лавками, на торговой улице, где товар выставлен наружу и потому похожей на базар, которая находится неподалеку от дома, где я живу. Весь ее товар находился в

плетеной сумке, что лежала возле нее на тротуаре – несколько пучков эшалот, несколько пучков душистых трав – эстрагон, лавровые листья, тмин. В протянутой руке она держала три лимона.

– Demandez les citrons, mesdames, trois pour un franc, demandez les citrons,

Я останавливался неподалеку от витрины лавки и с удивлением смотрел на нее и на проходящую толпу. Вполне нормально, что женщина продает овощи, зелень, цветы. Так повелось с древнейших времен. Давно установлено далекое сродство женщины с миром растительным. В древней Греции жрица первая выходила в поле и бросала семена, и только тогда начинался посев по всей стране. Едва ли можно увидеть женщину, которая тащит на спине мясную тушу и секачом разрубает ее на части.

Меня поражало несоответствие внешности продавщицы лимонов с ее скромным занятием.

Писатели часто уделяют много внимания описанию лица и фигуры героини их повествования, не останавливаются ни перед малейшими подробностями. Иногда, если они замечают, что описание красоты зашло чересчур далеко, они, для правдоподобия, находят какие-нибудь недостатки – правая бровь казалось чуть выше левой, или – нижняя губа казалась слегка припухшей. Но читатель уже и без того запутался во множестве ненужных подробностей и собрать их и восстановить в воображении цельный образ он уже не в силах. Такой писатель похож на портретиста, который правильно срисовал и нос и глаза и уши своей модели, а сходства не получилось никакого, потому что главное, существенное от него ускользнуло. В карикатуре же, где все черты искажены, часто может заключаться большое сходство. Потому что угадано главное.

В данном случае представляется возможность дать представление о внешности продавщицы лимонов, вовсе не прибегая к описанию. Представляется возможность не описывать, а просто показать.

Следует остановиться перед несколькими картинами 17-го века, сюжеты которых заимствованы из мифологии. Тогда мифология и в живописи и в литературе была в большом почете. На картине что-то происходит, все персонажи – герои в медных касках, нимфы вовлечены в какое-то действие, делают жесты, из которых каждый что-то означает. В разверстых небесах, среди облаков, гении или амуры, в необыкновенно сложных и трудных для художника раккурсах, дополняют величественную группу персонажей. Среди них в центре или в стороне, стоит или сидит, или убегает, или улетает, в зависимости от сюжета, мифологическая героиня. Все значительно и величаво. Grand siecle! Остается только внимательно взглянуть на лицо и фигуру героини, чтобы составить полное представление о том, какова была продавщица лимонов.

Художник той эпохи проходил суровую школу изучения античной скульптуры и моделей с натуры. На картине, где он искал идеальный тип лица и фигуры, натура преображалась, подчиняясь классическим образцам. Создавался идеальный тип,

каким он представлялся в ту эпоху. Этот тип повторялся потом на многих картинах. Так и получалось, что мифологические героини схожи между собой.

Теперь остается только отбросить величавую одежду со складками, которые принимают участие в движениях и живут вместе с человеком, заменить их обтянутой темной юбочкой и такой же обтянутой светлой блузочкой, чтобы составить себе полное представление о том, какой была продавщица лимонов. Она пришла, будто из выдуманного мира и почему-то стояла на улице, иногда под мелким дождиком, протягивая руку греческой жрицы.

– Demandez les citrons, mesdames. И сотни, сотни прохожих – улица была оживленная – проходили, ее не замечая.

Время от времени я покупал у нее несколько лимонов.

– Вы, верно, итальянка. Или испанка?

– Испанка.

Она знала, что я обращаю на нее внимание, и уголок губ ее насмешливо опускался. Ну, конечно, испанка, – об этом можно было догадаться по некоторой терпкости очертаний ее лица.

– Из Кастилии? задавал я вопрос, чтобы вступить в разговор. Но уже покупательница вытаскивала из ее корзинки пучок лавровых листьев и совала ей в руки мелкую монету. Но в какой-то день на ее обычном месте ее не было. Проходили дни, она не возвращалась и больше никогда не вернулась. А долгое время, проходя по этой улице, я издали вглядывался – не увижу ли ее опять на ее обычном месте.

Все это теперь мне припоминалось, и фигура знакомой мне продавщицы лимонов, каким-то образом, в воображении моем сопоставлялась с продавщицей овощей. Женой посла Испании, умершей свыше ста лет назад, о существовании которой, еще недавно я и не подозревал и о которой не знал решительно ничего.

Но если я ничего не знал о ней, я знал ее по внешности – такой, какой она была при жизни, когда разносила по домам овощи. Сомнения у меня не было – она принадлежала к тому же типу мифологических героинь, которых мы видим на картинках.

Мне приснился сон.

Мне снилось, что я иду по бесконечной улице, сплошь состоящей из домов с арками. Я иду под сводами. Висячие фонари ровной линией уходят вдаль. Я слежу, как свет фонарей преломляется на плоскостях низкого сводчатого потолка. Я в Испании. Но как же может быть, что я в Испании, возникает в глубине смутная мысль. В Испании нет таких домов с арками. Такие дома есть в Италии, Болонья сплошь состоит из таких домов, в Швейцарии, в Берне главная улица и старая часть города состоит из таких домов. Но не в Испании. Может быть, это только сон? Я стою перед приоткрытой дверью. Маленькая лампочка тускло освещает находящуюся на косяке двери маленькую табличку – это, должно быть, список имен жильцов этого дома и номера квартир. А может быть, какое-нибудь сообщение. Эта табличка представляется мне очень значительной.

Это чье-то письменное, значит, достоверное свидетельство. Здесь я найду объяснение, где я нахожусь и почему

нахожусь в этом непонятном мире. Сейчас мне что-то раскроется и объяснится. Я хочу приблизиться.

– Signora morta, произносит возле меня детский голос, – мальчик держит меня за руку. – Signora morta, отзывается другой детский голос, – девочка держит меня за другую руку, и дети увлекают меня в приоткрытую дверь. Теперь я ясно вижу табличку с написанными чернилами словами, я хочу задержаться, я сознаю, как важно и необходимо прочесть написанное. Но дети увлекают меня, и у меня нет воли им сопротивляться. Мы трое находимся теперь внутри дома. Но нет ни окон, ни мебели, есть пустота. Может быть, и есть окна и мебель, но я их не замечаю. Внимание мое сразу же сосредотачивается на лежащей будто в пустоте молодой женщине, в которой я сразу узнаю знакомую мне продавщицу лимонов. Только черные волосы не причесаны гладко, как она всегда была причесана, а пышно окаймляют голову и охвачены диадемой из драгоценных камней. Многие кольца на пальцах рук, сложенных на груди, и ожерелье на открытой шее.

Я смотрю безучастно. Во мне нет ни сочувствия к умершей, ни жалости. Но ведь я существую сейчас в другом плане, где нашим обычным чувствам уже нет места. Это сон. Но когда я шел под сводами, это уже был сон. Не может быть, чтобы во сне я видел другой сон. Видение растворяется. Я снова, будто, под сводами, но фонарей уже нет, бесконечная линия колонн, поддерживающих своды, уходит вдаль.

– Signora morta, доносится до меня голос, но я не знаю, доносится ли голос издалека, или звучат и отзываются во мне уже слышанные слова.

Я силюсь осмыслить что-то неосознаваемое, неуловимое, что от меня ускользает, вырваться из нестерпимого, тягостного, охватившего меня состояния. Это только сон, сон. Я делаю огромное усилие и просыпаюсь.

Теперь, в представлении моем, фигуры знакомой мне продавщицы лимонов и давно умершей жены посла не только сопоставлялись, а сливались в одну. То, что сохранилось в памяти от виденного мною сна, сохранилось отчетливо, что бывает редко. Видел ли я знакомую продавщицу? – Но тогда, почему на ней были драгоценные украшения? Или то была давно умершая жена посла? И ничего удивительного, что у нее лицо тоже мифологической героини. Я силился припомнить ее одежду и не мог, это ускользнуло из памяти, может быть, потому что внимание мое было сосредоточено на украшениях.

Из моего сна мне вспоминалась табличка у дверей, которую я не мог прочесть. Не только во сне, но и сейчас мне казалось, что там заключается нечто, что многое могло бы мне разъяснить. Теперь же все оставалось нераскрытым. Я заглядывал куда-то вглубь, где разглядеть ничего не мог, но продолжал вглядываться. От этих мыслей я мог защищаться только доводами здравого смысла, но в области куда я был вовлечен, эти доводы были вовсе непригодны.

Когда Домингез сказал мне, что совершил паломничество

на кладбище Пер Лашез, да еще добавил, что паломничество требует жертвенности, я не обратил на это никакого внимания. Он имел обыкновение выражаться высокопарно, и простая прогулка легко могла у него превратиться в паломничество. Но теперь я поворачивал его слова со всех сторон и старался открыть, не заключался ли в них какой-то скрытый смысл. К тому же я видел, что он хотел что-то добавить, но воздержался.

С такими смутными, беспокойными мыслями пришел я в кафе пораньше, чтобы увидеть Домингеза одного, без его окружения, и попытаться осторожно вступить с ним в разговор. Единственно, кто мог, если не разъяснить то, что-то осветить, что-то дополнить к мыслям моим, в которых я запутался, – был Домингез.

Но Домингеза на его обычном месте не было.

– Что с Домингезом, не болен ли? спросил я знакомого, всегдашнего посетителя кафе. – Не вы один, все удивляются, что он не приходит. Говорят, что он и некоторые из его компании собираются теперь в другом кафе, где-то неподалеку от Порт д'Орлеан.

Пачка газет за последние недели скопилась на кушетке. Я собрал газеты в охапку, чтобы выбросить в сорный ящик на кухне. Одна газета выскользнула и упала на пол. Когда, вернувшись, я поднял ее, взгляд случайно скользнул по бумаге и успел, невольно, схватить две, три строчки. Тогда я присел и прочел сообщение, которого раньше не заметил:

"Вчера утром один из сторожей кладбища Пер Лашез заметил, что решетка, закрывавшая вход в один мавзолей, приоткрыта, замок решетки сломан. Один из гробов снят с ниши и поставлен на пол. Крышка гроба снята. Этот мавзолей есть место успокоения членов знатной испанской фамилии начала и середины прошлого века. Один из членов семьи был послом Испании при Луи Филиппе. Вскрытый гроб был гробом его жены. Труп умершей, несмотря на давность времени, удивительно хорошо сохранившийся, был потревожен. Очевидно, злоумышленники искали ценные вещи.

Несомненно, что злоумышленники, вскрывшие только этот один гроб, имели какие-то указания, были как-то осведомлены, что здесь они могут найти ценности. Какие-то семейные воспоминанания могли передаваться из поколения в поколение в испанских семьях в Испании или во Франции. Можно полагать, что скорее всего, злоумышленники принадлежат к испанским кругам. Для того, чтобы сдвинуть и переместить тяжелый дубовый гроб, их должно было быть четверо.

Французский закон за ограбление гробниц предусматривает наказания сравнительно очень легкие. Code Penale устанавливает тюремное заключение всего лишь от трех месяцев до одного года тюрьмы и штраф.

Злоумышленники не оставили после себя никаких следов.

Можно считать, что это дело останется навсегда нераскрытым".

Публикация Рене Герра

Ренэ Герра



Майя МУРАВНИК

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ «МИГИ»

Дела же развивались так. Глезеру вовсе не светило гнать деньгу и строчить переводы. Кого-то, может, это и интересовало, а его нет. Национальная борьба тоже заводила в тупик – любимая грузинская республика еще не созрела для освобождения. Выход представился неожиданно и явился с той стороны, откуда меньше всего ожидалось.

Однажды окоченелым декабрьским днем Глезер сказал:

– Сегодня поедем к Пинскому. Это знаменитый профессор-литературовед и шекспировед. Но, главное, он собирает картины неофициальных художников.

– А тебе зачем?

– Ни зачем. Ты же знаешь, что я люблю живопись.

И мы поехали на Аэропортовскую в кооперативный писательский дом, где жил Леонид Ефимович Пинский. Дверь открыл маленький жилистый старичок с задорным вихром на затылке и тут же предложил пройти в кабинет. Там под диваном у него хранились рисунки гения и самородка Анатолия Зверева.

Тогда уже начиналось сальто-мортале моей судьбы, а мне даже и в голову не стучало. Сидела себе, куковала. Старичок, задыхаясь и чихая, тащил из-под пыльного дивана лист за листом. Зве-

рушки, портретики... Я тупо моргала ресничками, а Пинский благоговейно повторял:

– Глядите! Глядите! Перед вами рисунки великого мастера! Я не зря их собираю. Когда-то люди скажут, что Пинский маху не дал! О, да! Зверев вечно-пьяное животное, но он создает шедевры. Он дома не живет и кочует по друзьям из мастерской в мастерскую.

– Почему кочует?

– Потому что у него мания преследования. Представляете? Ему все кажется, что за ним гонится милиция. У него было, кажется, страшное детство. Одним словом, напуган человек на всю жизнь.

– Мне говорили про Костаки... – начал Глезер.

Да, Костаки! – обрадовался старик. – Вы, значит, про него знаете... Великолепный коллекционер живописи двадцатых годов. У него Попова, Ларионов, Гончарова. И в то же время – завхоз в канадском посольстве. Представляете? Но это дает ему огромные преимущества.

Я кивнула:

– Конечно же! Завхоз, да еще в заграничном посольстве.

– Вот именно. – Пинский по-еврейски прикрыл глазки. – Значит, неглупый человек. Но, главное, совершенно одержимый человек. Про него рассказывают – не знаю, насколько это верно, что однажды он поймал у себя Зверева и запер на ключ. Работай, говорит, сколько хочешь. И водки пей, сколько хочешь. Все, что нарисуешь, – мое.

– Вряд ли, – сказал Глезер. – Это уж чересчур.

– Я тоже считаю, что чересчур, что это, скорее, легенда. Однако молва есть молва. Зверев тогда и начал работать как зверь. Пять минут – рисунок, пять минут – рисунок. В таком потоке было безусловно много средних вещей. Но среди них, как всегда у этого художника, попадались и настоящие перлы.

– Ну а Костаки, что же? – спросила я.

– Георгий Дионисович ничего. Он только принимал все это богатство и приговаривал: "Толечка плюнет, а я подберу!" Так и насобирал. Вот что значит настоящий коллекционер!

Старичок все больше возбуждался, Глезер, как школьник, внимал, я задремывала. Довольно-таки любопытно, что такие красивенькие в общем-то рисуночки сделали человека знаменитостью. Французский дирижер Маркевич, приезжавший с гастролями в Москву, восхитился этим явлением и устроил персональную зверевскую выставку, открыл русское чудо. Да уж... Бывает...

Пинский вдруг вытащил из-под дивана не рисуночек, а небольшое полотно с одиноким черным бараком, который смотрел на мир оранжевым теплым окном. Снаружи была тьма, а внутри копошились люди и, может быть, ужинали, а может, баюкали на ночь детей. Муж подбрасывал в голландку дрова.

– Кто это?!

– Ага, проняло! – кричал хохлатый старичок. – Это вам не какой-нибудь мазила! Это Оскар Рабин. Он раньше жил под Москвой в Лианозове, а теперь переехал в Москву на Преображенку.

В лице Глезера уже проступало что-то хищное:

- Простите, а адрес у вас есть?

Тот небрежно:

– Был где-то... А вы почему забеспокоились? Имейте в виду, что Рабин уже не тот. Мой "Барак" уникален. Он таких вещей больше не пишет. Он очень переменился с тех пор, как переехал. Стал рациональней и суше. Москва его ломает. Она всех ломает. Слава, знаете ли, далеко не всем идет на пользу. К Рабину стали валом валить иностранцы, и он превратился в модного художника. Так что... пошла конъюнктура. Часто работает на заказ, на потребу заказчика... Чересчур много политики... жесткости. Нет, Рабин теперь не тот.

Глезер вчитывался в бумажку с адресом.

– Спасибо, Леонид Ефимович, – сказал он. – Нам пора.

Через полчаса мы уже бродили по преображенским переулкам и тыкались в подъезды гусеничных пятиэтажек, понатыканных вдоль и поперек уходящего к Измайлову Щелковского шоссе.

Художник Оскар Рабин раньше жил в бараке в Лианозово, а вот теперь он перебрался на Преображенку в Москву. Он купил здесь кооперативную квартиру. Сюда, как и прежде в Лианозово, приезжали иностранцы и особо бесстрашные советские любители живописи. За теми и другими следило КГБ. Следило ли оно сейчас за нами? Наверняка нет. Мы слишком незаметные личности, к тому же очень холодно и темно.

Здесь, где мы уже целый час бродим, уныло и пусто. Я знала это место, потому что здесь жили мои родственники. Я в детстве к ним приезжала и помнила знаменитую преображенскую булочную на углу, где теперь построили метро. Эта булочная сама пекла и сама продавала, в ней на витрине лежали пузатенькие плетенки-халы.

Мне захотелось горячего чаю с мягонькой халой. Ее не надо резать, а надо разламывать, и тогда на стол сыпятся черные маковые зернышки... Мои ноги топали по снегу, а в голове крутилась хала с маковыми зернышками. Глезер бежал впереди и не думал ни о каких халах и зернышках. Он вообще не умел мечтать о еде и даже ее презирал. Однажды он сказал мне, что еда это пережиток и лишь отнимает полезное время. И хорошо, если бы изобрели что-то вроде таблеток, как для космонавтов. Тогда бы время не тратилось на всякую ерунду. Я, помню, чуть не плюнула ему в рожу за это признание.

Теперь он мчался рысцой по морозу в своем демисезонном пальто, потому что ширпотребовское мы продали на толкучке. Он весь заледенел, но рвался к цели. Он чуял.

– Вот! – наконец, ткнул он в жестяной номерной знак на одном из домов. – Большая Черкизовская восемь. Так и Пинский говорил.

– Слава Богу, – подумала я. – Еле добрались. Холодрыга ужасная и темнотища египетская. Не выгонит же нас этот Рабин! Пусть он нас даже и не знает. Пусть даже мы ему свалимся прямо на голову. Но метель заметает. Прохожих – ни одного, и вообще. В

такую погоду и хозяин не выгонит собаку на улицу. А мы же все-таки люди, а не собаки.

Человек, который впустил нас в теплый коридорчик, был похож на пастора, на бухгалтера, на директора фотоателье – на кого угодно, только не на художника. В своем издательстве я встречала не только писателей, но и художников, которые бегали наверх, в оформительскую брать заказы на иллюстрацию книг. Все они были патлатые и неинтеллектуальные. Почему? Сразу не скажешь, но в этих художниках было что-то бродяжье и хмурое. А от поэтов и писателей исходил как бы некоторый свет. У них витали мысли на челе. А у художников на челе только и было написано: хочу выпить.

А этот был лысым, очкастым, с обтянутым лицом, к которому просились сатиновые нарукавники. Увидев нас, лысый ничуть не удивился и вежливо попросил пройти в комнату. Это и понятно, что не удивился: там, в комнате, на тахте под заиндевелым окошком, уже сидело пятеро и пялилось на треножник с маленькой картинкой. Публика показалась вполне интеллигентной, а на одной женщине была надета знакомая вязаная шапочка. Я пригляделась и узнала Ванду Соколовскую.

Ну, вот тоже залетела птичка! Регистан не зря обзывал ее левачкой и дамой с большим самомнением. Какая же нормальная женщина попрется в это логово прокаженных, каких-то подпольных, можно сказать – антисоветских художников! Я испуганно озиралась, а Ванда мне обрадовалась, усадила рядом и кивнула на картинку:

– Это рисунок жены Оскара, Вали Кропивницкой. Он всегда сначала показывает ее работы, а потом уже свои. Мне они очень нравятся... Я спрошу, сколько стоит. Если недорого, то одну куплю.

В Валиных рисунках проживали непонятные существа – не то люди, не то ослики, не то лопоухие зверушки. Они сидели у деревенских палисадников и возле речных берегов. Они разговаривали, думали свои заповедные думы. Иногда лопушки разжигали костер, иногда пили чай из блюдца. На столе шумел огромный подарочный самовар.

– Ты видишь, – сказала Ванда, – чаще всего их двое. Это он и она. Им хорошо. Это Оскар и Валя.

Насчет Оскара не знаю, но на Валю эти лопушки были очень похожи – такие же тихие и скромные. Она сидела в углу, в кресле, и была настолько незаметной, что сливалась с креслом. Получалось смутное, темное пятно. Я бы ее даже не различила, если бы не Оскар, который то и дело поворачивался к креслу.

– А как Валя скажет? А что Валя об этом думает?

Вот это муж! – позавидовала я. – Все время советуется с женой. Без нее шагу не ступит. Не то, что мой болван, который только и умеет орать. Грузинский мужик с феодальными замашками!

Ванда выбрала картину, где ослики плясали возле своей деревенской избушки, и заторопилась домой. Ей надо было ехать к черту на кулички в тьмутараканское Зюзино. Там ей дали квартиру, а раньше она жила в Брюсовском рядом с издатель-

ством, ходить три шага. Но их дом пошел на сломку, потому что в этих местах шло строительство для ответственных работников.

Оскар стал показывать свои большие холсты, и я разочаровалась. Никаких романтических бараков с приятными окнами он не показывал, а выставил гигантскую полуфабрикатную курицу, которая валялась в грязи, задрав к небу наглые жилистые ноги. Курица была обведена черной траурной каймой и нагоняла такую же, как и она сама, голую жилистую тоску. Оскар объяснил:

– Картина называется "Курица в деревне Прилуки", и она, как видите, попала туда из магазина, потому что своих кур в этой деревне нет. Я это знаю, потому что мы ездим туда каждое лето.

На стене висели картины, которые я стала разглядывать. Одна мне показалась смешной, потому что вместо нарисованного номерного знака к ней был прикреплен настоящий. Просто взят и прибит гвоздями или приклеен клеем. Там был указан точный номер – 8. Это из оскаровского адреса. Но улица называлась не Большой Черкизовской, а улицей "Пресвятой Богородицы". На жестянке и была нарисована Пресвятая Дева с Младенцем на руках, как бывает на иконе. На другом пейзаже улица называлась "Тупик №2 имени И. И. Христа". Так было обозначено на жестянке. Над вопросом, почему Христос зашел в тупик, я размышлять не стала, но озаботилась инициалами И. И. Это почему же? Потом сообразила: ну да! Ведь Иисус Иосифович. У Христа, как и положено, имелось имя и отчество.

Оскар устал объяснять, присел на тахту и закурил. Он посматривал на нас с Глезером и наверное считал, что мы наглецы. Все давно разошлись, а мы сидим и сидим.

– Пошли домой! – шепнула я Глезеру. – Поздно же! Скоро метро перестанет ходить.

– Отстань! – отмахнулся он, и я увидела, как вдруг изменилось и покраснело его лицо. Он стал совсем на себя не похож, а стал похож на полководца, который мчится в пылу битвы и знает, что ее выиграет. Он вдалбливал и вдалбливал Оскару, что можно и нужно устроить выставку "наших" художников в рабочем клубе "Дружба", где год назад он, Глезер, являлся устроителем лекций и встреч. Общественник!

– Я им и Эренбурга приводил и Эрнста Неизвестного. Я им устроил вечер встречи с Андреем Вознесенским...

Оскар слушал вполуха, верил не верил, кивал лысой головой, повторял свое "ну да" и курил папиросу за папиросой. Тоже мне типчик, – думал он. – Явился с улицы, встречный-поперечный, предлагает несусветную чушь – устроить нелегальную выставку в легальном советском учреждении. Впихнуть туда нас, изгоев, от которых начальство шарахается, как от чумы... И ведь поздно! Спать пора! И пошел бы поскорее этот псих к черту, потому что мало ли шляется по Москве эдаких доморощенных энтузиастов.

– Шоссе Энтузиастов... отозвалось в его ушах. – Там как раз находится клуб "Дружба". Это в рабочем районе, на северо-восточной окраине Москвы. Там очень вместительный зал, а директор клуба Лидский...

Я почти засыпала. Меня ничуть не интересовал этот треп. Какой-то клуб... какой-то директор... Ну да, как раз вчера Саша случайно встретился с этим директором клуба Лидским, который затосковал по старому престижу, потому что у них там все захирело. И он снова пригласил Сашу, чтобы тот что-нибудь организовал. Сам же раньше прогнал... Или нет, не он, а товарищи комсомольцы из окрестного райкома.

– Судьба! – повторял Глезер, – судьба. До чего же мне повезло! Сам Бог послал мне вчера этого Лидского. Гляжу, идет по другой стороне улицы знакомая фигура. Он меня узнал, ко мне кинулся: Сашенька, дорогой! Сколько лет, сколько зим! Не могли бы вы устроить у нас вечерок? Нам сейчас нужно позарез. Вы ведь такой организатор! Так, идет?

– Что идет?

– Ну как же, Оскар Яковлевич... Сначала планируем вечер поэзии, пригласим какого-нибудь неплохого поэтика. У вас там, Маюша, есть в издательстве кто-нибудь подходящий?

– У нас все подходящие.

– Ладно. Неважно. Значит, сначала вечер поэзии, а потом вернисаж художников-нонконформистов. Картины развесим заранее. Об этом, конечно, никому не сообщим, а их имена в пригласительном билете проставим, когда билет залитуют.

– Что значит "залитуют"?

– Ну, когда цензура проставит печать в Главлите. Без этого не выпустишь даже пригласительный на ёлку.

Это был хитрый трюк конем. Глезер сыграл ловко. Недаром он был отличным шахматистом.

И мы уехали домой. С этого дня все завертелось с карусельной быстротой. Тут я, наконец, увидела, что Глезер стал счастливым человеком. Начиналось главное дело его жизни – борьба, выставки, коллекционирование картин. Он нашел точку приложения сил, а это очень важно. Было бы очень хорошо, если бы каждый находил для себя такую же точку.

Наша комнатеха превратилась в генеральный штаб. Командармами восседали Оскар, Валин брат Лев Кропивницкий, Оскаров друг Володя Немухин, Володина жена Лидочка Мастеркова и Дима Плавинский. Плавинский был точной копией наших издательских запойных художников – насупленный, косматый и дикий. Володичка Немухин немножко в том же духе, но при том исключительно красив и прекрасен. Он словно только что вышел из старинного цыганского хора и теперь лишь ждал, когда принесут красную шелковую рубаху и семиструнную гитару на кожаном ремне:

– Запрягу я тройку борзых!..

Лидочка была под стать ему красавицей, только в русском стиле. Небольшая фигурка, словно точеная, схваченная в талии короткой юбкой. Смешливая и гордая Лидочка часто гневалась, топала каблучком. Черты лица у нее были аристократические, а руки узластые и грубые, как у чернорабочей женщины.

Но Лев с Оскаром сидели, как чернокнижники, – оба лысые,

оба умные, у обоих серьезные, цепкие глаза. Только Лев был усадисто-плотным, а Оскар – возвышенно-тощим. Глезер с осатанелым лицом был не в счет. Все они уже учуяли, что дело выгорит, и говорили деловито, жадно, обсуждая детали. Лидочка с Володей время от времени цапались, затевался базар, однако Оскар спокойно объяснил, что таков стиль их в целом хорошей супружеской жизни.

+++

22 января 1967 года в клубе "Дружба" на шоссе Энтузиастов открылась выставка двенадцати неофициальных художников Москвы. Это было значительное событие. Это было, можно сказать, эпохальное событие. Но я, как всегда, оставалась подлюгой. У меня уже начиналось отталкивание от всего глезеровского, и меня раздражал его отключенный вид. Никакой обыденной милой жизни не существовало, оставалась одна лишь бешенная кутерьма. Вобщем, я захотела на выставку не пойти и отсидеться дома. Уверяю вас, никому бы от этого не стало ни жарко, ни холодно. Моего отсутствия просто бы никто не заметил.

Но затем я все-таки решила пойти. Меня убедила мысль, что я упущу эпохальное событие. Поэтому я оделась потеплей и дотащилась с пересадками до этого шоссе. Это была бывшая Владимирка, по которой до революции водили кандальников, а после революции эти кандальники стали энтузиастами. Теперь вдоль шоссе стояли угрюмые номерные заводы и секретные почтовые ящики. Тут окопалась пролетарская промышленная Москва.

Скучный район. Меня несло вдоль бетонных заборов и зданий. Никаких клубов не было в помине – никаких парадных лестниц или колонн с завитушками. Разглядев в отдалении громадную толпу, я догадалась, что это и был клуб "Дружба". Ведь не магазин же, в котором дают копченую колбасу или суповой набор с сахарной косточкой.

Художники разослали, конечно, кучу пригласительных билетов во все посольства и отдельным знакомым иностранцам. Пригласили и московскую элиту – киношную и писательскую. Но в этой толпе топталось и большое количество обдергаек-полупальто москвошвеевского пошива. Значит, и местные прибежали в свой клуб смотреть на чудеса, которые на них свалятся с неба.

После двух-трех заходов, когда я и справа совалась и слева пропихивалась, я все же прорвалась в зал и очутилась в густой массе довольных и улыбающихся людей. Иные и до картин не добрались, а уже чему-то радовались. А когда добирались?.. Вот тут-то их и било, словно электрическим током. Неофициальная живопись на официальной стене смотрелась фантастически. Тем более, что в центре стены всегда стоял памятник Ленину со вздернутой рукой, а теперь этот памятник заткнули в какую-то боковушку.

А в заместивших вождя картинах в общем-то не было никакой гениальности. В них была непривычность сюжета и разгул свое-

волия. Кривлялись гнусные оскаровские домики – экая скособоченность! Крутились красные змеи-полотнища и старинная помутневшая парча в абстракциях Лидочки Мастерковой. С картин Плавинского осыпались древние пласты земли и чешуя марсианских чудовищ. У Немухина на стынущем прилукском песке пестрели обморочные карты пасьянса. Лев Кропивницкий выстроил в ряд плакатные рожи космонавтов и гордые – обезьян. Была у него там какая-то аналогия.

А над залом звенели небесные гимны и парили тихие ангелы. Зрители все улыбались, удивлялись, умилялись, доходили почти до слез. Даже Евтушенко, который прошествовал в своем рысьем манто, казался оглоушенным. Озадаченными виделись лики трех знаменитых женщин Вертинских – вдовы-матери и дочек-двойняшек Марианны и Анастасии. Ах, какие дивные парижские лилии, ставшие советскими киноактрисами, но так и не привыкшие к суровому московскому климату: уж слишком у них изысканные лица и длинные продолговатые глаза.

В углу недвижным Буддой стоял мой хорошой знакомый пожилой поэт, бывший фронтовик Борис Слуцкий. Любители самиздата ценили его стихи

Мы все ходили под богом,
У бога под самым боком...

а также скорбные еврейские, где

Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в промкоопе...

В данный момент массивное лицо Слуцкого было острострадальческим. Как поэт, провидец и член партии он знал, что произойдет буквально в следующие мгновения. Поэтому он ни на кого не смотрел и не интересовался картинами. Моя неугомонная сотрудница Ванда Соколовская конечно же бродила среди зала и была среди зрителей самой доверчивой и счастливой. Она подошла к Валиным осликам, и они тут же протянули к ней свои лапки.

Идиллия может, конечно, длиться и тянуться, но искушенные эти зрители сознавали, что много им не отмерится. Однако же, рассчитывали покайфовать часок-другой. А почему бы нет? Во-первых, тут никакой особой крамолы не совершалось и, во-вторых, множество полупальто-обдергаек до сих пор топталось на ступеньках и имело полное право тоже поглядеть и поудивляться или же оскорбиться видом неприличной живописи.

Но ничего этого не случилось. Не прошло и получаса, как сквозь светлую массу зрителей проступили черные пятна дружинников. Глезера вызвали в директорский кабинет. Он потом рассказывал, что в этом кабинете уже сидели срочно вызванные со своих дач и квартир партийные начальники, которых подняли по тревоге и не дали достойно отдохнуть в воскресенье в кругу семьи. Так что напрасно Рабин с Глезером хитрили, планируя выставку на воскресенье: партия бдит в любые дни недели и суток.

Однако эти боссы здорово нервничали и тем более трепыхались, что были без вины виноватые. Какая-то сволочь подстроила провокацию, а они должны отвечать. Борис Слуцкий что-то силился объяснить своим товарищам из горкома и обкома, но

они даже не глядели в его сторону. В уголочке горько плакал бывший директор клуба "Дружба" Лидский. Он тоже был без вины виноватым, он хотел как получше, а его нагло обманул этот проходимец Глезер. Главный партиец посмотрел на Лидского и нервно передернулся:

– У, мразь! У таких вот, как ты, не хватает мозгов, а расхлебывать приходится нам.

... Прошло несколько дней. Морок постепенно рассеивался. Художники потихоньку очухивались. Как ни тяжек был для них этот разгром на шоссе Энтузиастов, однако же жизнь продолжалась и надо было жить и писать картины. К тому же эти художники привыкли к закрытию собственных выставок. Им было полегче.

Страшнее всего было Глезеру, который получил из рук судьбы этот немыслимый и сладкий подарок, но не успел и вдохнуть от его сладости, как подарок был грубо вырван из рук. Он будто бы бредил – то ложился на кровать, то вскакивал, бросался к телефону, звонил, просил, требовал. Отовсюду неслись проклятья и обзыванье идеологическим диверсантом. Из-за этой паршивой выставки, представьте себе, на два часа задержался вылет самолета с министром культуры товарищем Фурцевой на борту. Иностранные корреспонденты требовали от нее объяснений, а она, бедняжечка, и понятия ни о чем не имела.

Наконец, Глезер позвонил Слуцкому:

– Вы нам должны помочь, Борис Абрамович.

– Я сделал для вас все, что мог.

– Но ведь это же произвол и самоуправщина! Куда же смотрит ваша партия?!

Слуцкий рассердился:

– Она никуда не смотрит. И вообще, что все это значит, Саша? Прежде всего вы должны помнить, что партия не привыкла обманывать. Если партия пообещает, значит выполнит. Ведь вам же обещали, что выставку снова откроют. Не сразу, конечно. Не все сразу. Однако месяца через два-три, когда страсти поутихнут, все возобновится налаженным порядком. В горкоме мне обещали.

– И вы им верите, Борис Абрамович?

– Я – коммунист.

Так ответил Борис Слуцкий, хороший человек и хороший поэт. Однако его друзья недаром говорили, что ему нехватает чувства юмора. Вот и во всей этой истории он проявил такую серьезность, такую!.. Зато и расплатился за нее несколькими сердечными приступами. А с чувством юмора он бы все воспринял легче и не так бы сильно болел.

+++

После этого, кажется, Глезер и провалился в свою первую бездонную депрессию. Потом такие повторялись. Но в тот первый раз я просто поразилась. Он целыми сутками лежал на диване и стеклянно глядел в потолок. Иногда мутные огромные глаза с укоризной останавливались на крылышке амура, словно оно коварно

обмануло – вознесло высоко, а грохнуло так больно.

– Я хочу умереть, – говорил он время от времени. – Сюда бы веревку...

Я с непонятной деловитостью оценивала расстояние от потолка до пола и приходила к выводу, что вполне подойдет. Но тогда мне было некогда заниматься всей этой белибердой. Наклевывался невероятный блат, который давал возможность купить кооперативную квартиру возле Преображенского рынка. Ведь это же надо придумать! Мы катились прямо в оскаровские объятия. Судьба волокла обмякшее тело бойца к месту боев, потому что бои неминуемо должны были развернуться.

Я о том не подозревала, я просто радовалась удобному району, близкой школе, базару, метро. И близким друзьям, конечно, потому что Оскаров я к тому времени успела полюбить. Блат был пустяшный, какие-то 700 рублей за трехкомнатную квартиру в композиторском доме, таком же, кстати, скворечнике, как у Оскара, только в девять этажей. Тут селились уже не сами композиторы, окопавшиеся в бастионе возле улицы Горького, а их дети, внуки и всякая шушера, вроде нас, подманившая начальство жирной деньгой.

Но пока суд да дело, мы продолжали жить в своей коммуналке. Однажды за дверью послышалось сиплое хрюканье и в комнату ввалился мужик с кабаньими глазками и сивой щетиной.

– Гы, - сказал он. – Глезерюгенд здесь живет? А то мне соседи ничего толком не говорят. У вас не соседи, а настоящее коммунистическое нашествие хана Батыя. Гы!

Глезер сказал:

– Познакомься, Майя. Это знаменитый художник Анатолий Зверев. Мы смотрели его работы у Пинского. Я забыл тебя предупредить, что Толик согласился нарисовать твой портрет. Но ведь я не знал, что ты придешь сегодня, – обратился он к Толику, – и поэтому не приготовил ни бумаги, ни красок.

– Гы, – рыгнул сивый человек. – Ничего не страшно. Главное, что в этом доме, как говорят, существует грузинская чача, а я с некоторых пор стал ее очень уважать. Как вы думаете, почему?

– Не знаю, – сказала я. – Может, оттого, что она горит на столе синим пламенем?

– Вот именно! – заорал он. – Синим! Синим! Голубым!

Так как же насчет красок? – снова спросил Глезер.

– Не думай о чепухе, – ответил Зверев. – Тут я вижу за столом напротив меня обедает какой-то парнишка. Вот пускай он дожует кусок и сбегает в писчебумажный напротив. Тут я в вашем районе покупал. Купи бумагу белую оберточную и красок акварельных по шесть копеек. Дороже не покупай! – крикнул он вдогонку Алеше. Потом повернулся ко мне: – А вы, мадам, то есть барышня... Фартука ни за что не снимать и личика не подмалевывать.

– Грязный фартук, – сказала я. – Неприлично. И волосы надо бы...

– Овин на голове не трогать! – заорал Толик. – Он вполне

соответствует красивой форме вашего черепа. – И загоготал: – Эй, Глезерюгенд, где ты такую красоточку откопал? Баба ягодка-малина притулилася у тына...

Толик стал окунать картонную шестикопеечную коробку со всеми ее красками в миску с холодной водой. Просторный лист заполнялся красно-сине-зелеными кривулями. Когда прояснилось овальное личико моей прелестной головки, Зверев потребовал чачи:

– Тащи грузинский напиток!

Я принесла эту девяностоградусную грузинскую самогонку и стакан воды, чтобы запивать. Иначе же сгореть можно!

– Чего! – завопил Зверев. – Воду приволокла?! Образованная, вроде бы, женщина, а не соображает, что чачу можно запивать только чачей. Вылить прочь эту отраву! – он толкнул пресный стакан. – И доставить сюда еще чачи. Уф! Пошла по кишочкам. – Он оглядел нашу хибару. – А хорошо тут у вас. Как в шкафу. К тому же много чачи и не слышно мата городского. Гы!

Он выпил оба стакана.

– Бабочка, а бабочка, – попросил он меня, – не жидись, принеси еще. Я тебе за это такого петуха нарисую, что ахнешь. И красочки как раз на петуха осталось.

Зверев допил всю бутылку и двумя летучими взмахами нарисовал петуха. Я еще никогда не видала такой задорной птицы. Это был даже не петух, а сама петушиная суть – дерзкая, яркая, с придурью. Такого вполне бы могли нарисовать доисторические художники в своих первобытных пещерах. Они рисовали животных без всякого размышления, особым глубинным нутром. Толя Зверев и был таким пещерным доисторическим художником. Атавизм. Впрочем, современность в нем тоже проявлялась: в пустующем углу картины он приляпал бездумную женскую головку. И ушел.

На другой день к нам в гости пришел ученейший человек и диссидент Андрей Амальрик. Он, кажется, собирал работы Зверева и считался по Звереву знатоком. Петуха он, конечно, оценил, он его дотошно исследовал и объявил, что это очередной шедевр Зверева-анималиста. А женскую головку осудил:

– Это баловство тут ни к чему. Тоже мне, выходки!

Однако Глезер бросился в спор и стал доказывать, что мордашечка тут именно нужна, петух немыслим без женщины и вообще – руку мастера ведет провидение, и всякий пустяк в его работе прекрасен и необходим.

+++

Квартиру-то мы, охламоны купили, а того не учли, что платить за нее будет нечем. Государство стало производить над Глезером операцию, которую он называл "финансовым террором". Все переводы, все заказы, во всех республиках у него отобрали и все договора разорвали. Не будешь устраивать выставки!

– И бывают же такие умелые, до времени спрятанные

идеологические диверсанты! – тряс головой Егор Исаев. Он только что пришел со срочного цековского совещания, которое созвали из-за выставки на шоссе Энтузиастов, и находился в полнейшем и злобном мандраже:

– Объявляется, видите ли, никому неведомая группка шарлатанов от искусства и, улучив момент, устраивает провокацию. Она собирает на далекой московской рабочей окраине иностранцев и показывает им свою мазню!

В мою сторону Егор не смотрел, повернулся ко мне спиной, и его спина выражала негодование. Вообще весь его литой, лепной, монументальный облик сотрясался от ярости. А мне хотелось пропасть, исчезнуть, превратиться на время ну хоть бы в ту муху, которая неведомо откуда взялась тут зимой и ползла по стеклу. Заломило в затылке. Может, отпроситься домой? Может, сказать, что заболела и пойду к врачу. Меня сразу отпустят.

А Егорушка-то каков! Из домашнего и простоватого, вроде, человека он вдруг превратился во власть. Да, он стал властью, которая, пожалуй, посильнее и позначительнее Лесючевского. Тот старый уж хрен. А этот молодой. Совсем недавно пришел из армии... Сержант, младший редактор, просто редактор, заведующий. Он прошел всю дорожку от самых низов до гослауреатства, до цековских друзей и вхождения в номенклатуру. И как-то в нем толково сочетались красивый поэтический взлет, рокочущий голос и маяковская осанка с сержантским умением ни в чем не перечить начальству.

В редакцию духом влетел Лесючевский, туда-сюда промчался по комнате и прокричал:

– Гнать будем антисоветчиков поганой метлой!

И выскочил.

Ох, да провались все пропадом! И отпрашиваться не стану. Я шмыгнула в коридор и по черной лестнице выкатилась на улицу. Побрела по улице Горького. Вот поеду сейчас на Преображенку, приду к Оскарам, поплачусь Вале в жилетку, авось, полегчает. Или нет, лучше пойду на рынок, куплю яблочек моченых... Или нет, куплю в том же лабазе огуречков соленых и капусты полкило квашеной. У той, крайней в ряду бабы, всегда ядреная.

Мне полегчало от мыслей о капусте, я уже носом чуяла ее запах. Возле селедочной продпалатки слышался крик и сбегалась толпа. Продавщица высунула в окошко свой перманент и орала:

– Ах, дура! Ах, сволочь! Тебе "селедочка нежненькая да селедочка жирненькая", а мне очередь нагнала! Работала себе спокойно, никто мне не мешал, и тут – на тебе! Объявилась припадочная и стала расхваливать товар!

"Припадочная" тетенька из породы восторженных правдолюбок виновато топтала снежок и слезно оправдывалась:

– Да не нарочно же я! Мне как лучше хотелось... Чтобы людям селедочки... Уж больно хороша. Тихоокеанская, что ли?

– Сама ты тихоокеанская бестолочь! – буркнула продавщица и захлопнула окошечко.

Рванувшаяся, было, на рекламу публика разочарованно разбрелась. Я пробиралась к овощному лабазу и думала о невыгод-

ности советского способа торговли. Я поглядела на свою ядреную тетку с ее капустой и порадовалась, что хоть частников пока не прогнали. А если разгонят, то прощай и огурчики, и помидорчики, и вообще весь мой миленький, родименький Преображенский рынок. Ох уж рыночек этот! Это было такое закоренелое московское гнездо, какого никакая советская власть не могла вытравить.

Разгонят, бывало, толкучку у овощного ряда, а она перельется ко входу на кладбище. И опять повалит дым коромыслом: бабы тащат ворованные на фабрике мотки, шпана обыгрывает в уголке простаков, старухи трясут перед твоим носом заношенным тряпьем: "Купи, касатушка, такого блюсгалтеру больше нигде не сыскать!" Девки продают перстенечки, парни– финские ножики. Тут же режутся в кости, швыряют карты и разливают на троих.

– Мусора! – несется одурелый вопль.

Надрываются свистки, товар испаряется на глазах, а публика проваливается сквозь землю.

От старины остались Преображенское кладбище, две почерневшие церкви, старообрядческая и обыкновенная, и почти разрушенная башенка на одном из рыночных углов. О башенке писали в исторических книгах, я где-то читала, о церквах никто не писал, и хорошо, что они были такими черными, поэтому о них и позабыли. А та, которая напротив булочной, где продавались халы, была маленькая, да удаленькая – раззолоченная, расцветившаяся. Ее и разгрохали. Я как раз там случайно находилась, когда надрывались бульдозеры и несколько несчастных старух кричали и норовили кинуться под бульдозеры.

В старообрядческую церковь я не заходила, потому что я ее боя-лась, а в обыкновенной любила уют и пригорюнившиеся лики святых. В 48 году, когда я была шестнадцатилетней отроковицей и активной комсомолкой, меня крестили в Измайловской церкви. Это церковь села Измайлово, ныне снесенного. А до войны там недалеко располагался Измайловский рабочий поселок, где проживало наше семейство.

После крещения, о котором в школе не разнюхали, я еще с полгодика продержалась в комсомольских секретарях,а потом перешла в рядовые. Но я бросила секретарство не из-за новых убеждений, а по обыденности жизни. Я вообще ни о чем не задумывалась – ни о Боге, ни о комсоле, была беспечным, заросшим травой болотом.

Я любила слушать, как поет церковный хор, заливаются поднебесные голоса: "Христос воскресе из ме-ертвых, смертию смерть поправ..." Мне нравилось вообще, как было внутри этой церкви, где высоко возносился купол, под сводами парили святые, а также Христос, который "воскресе из мертвых". К тому же нравился запах кадильного дыма, и принюхиваясь к этому запаху, я не соображала, что вдыхаю самый настоящий религиозный дурман. Влекло и то, что когда я пела втору дурным подвывающим басом, регент меня почему-то не прогонял.

По церкви в ослепительной рясе шествовал крупный, солидного роста отец Николай. За ним клонил смиренную голову, весь в черном, отец Иоанн. Отца Николая, который жил в богатой даче

возле Измайловского парка и приезжал служить на собственной "Победе", бабы не любили и боялись. Он на них не глядел, молился, а губ не разжимал. Отец Иоанн был бледен, у него были огромные черные жалостливые глаза. Когда он произносил молитву, то внимательно смотрел на всех этих женщин, которые к нему тянулись, и, должно быть за них горевал. Они все были вдовами, почти у каждой в комоде под бельем была спрятана похоронка.

Завистливый отец Николай сживал отца Иоанна со свету и сжил. Он не то загнал его в далекий монастырь, не то засадил в лагерь. Что именно так должно случиться, твердо знали я и отец Иоанн. Иначе просто не могло быть. Я даже удивлялась, что время идет, а этот странный священник все еще никуда не пропадает.

Однако до своего исчезновения отец Иоанн успел совершить одно им задуманное дело – он покрестил двух заблудших отроковиц, меня и мою подругу Людку. К этому он довольно долго нас готовил, читал растрепанную пергаментную книжечку Евангелие, читал Жития святых и рассказывал о Страстях Господних.

Мы с Людкой и с отцом Иоанном сидели на прицерковном лужочке, на большой деревянной колоде. Он рассказывал, а я глядела в голубенькое небо. Я и верила, и не верила. Скорее всего не верила. Если существует Бог, седой старичок, вроде деда Мороза, то он должен на чем-то сидеть. А на чем же Он сидит? На облаке, что ли? Вместо того, чтобы разумно молчать, я выдавала всю эту чушь отцу Иоанну. От удивления он переставал объяснять и глядел на меня с некоторым сомнением: а стоит ли такую глупую отроковицу вообще крестить? Но все же покрестил.

Наступил день крещения. В церковь принесли огромную бочку, в которую ведрами наливали подогретую воду. Нас раздели и поочереди окунули. Я стеснялась, голая, и торопилась поскорее залезть в бочку и вылезти обратно. Отец Иоанн читал молитвы, начертал у меня на руках, ногах и на лбу елейный крест. Душистое масло стекало на подбородок и щекотало шею.

Меня зовут Майя, но такого имени в святцах нет. Меня нарекли Марией, в честь великой и прославленной Марии Египетской. Мне объяснили, что она была грешницей и блудницей, а потом глубоко возлюбила Бога. Она отшвырнула свой пакостный блуд и кинулась в пустыню Египетскую, чтобы скитаться и замаливать грехи. Больше всего меня поразило, что Мария Египетская стала тощей, как высохший тростник. Мне она почему-то представлялась в виде песчанного смерча, который гонится ветром и ветром швыряется в разные стороны.

Возле бочки, где стояли мы с Людкой, теснились церковные тетеньки. Они глядели на нас умиленно и завистливо приговаривали:

– Ну, слава Тебе Господи! Счастливые! Блаженные! Да понимаете ли вы, что на вас-то ныне ни единого греха нет? Вы ныне так чисты, как ангелы. О, Господи, младенцы безгрешные!

И они меня убедили, что я действительная безгрешная. Это я-то, которая смаковала Золя с Мопассаном и почитывала тайком дореволюционный перевод с немецкого "Сексуальная жизнь"!

Кроме этого, я часто лаялась с матерью, врала, когда у меня получалось, и вообще были у меня всякие грехи. Но теперь, если я стала безгрешной, то мне бы надо продержаться хоть сколько-нибудь времени. Ну, сколько? Полгодика? Годик?

Мы летели с Людкой домой на крыльях ветра.

– Ты – как? – спрашивала она.

– Хорошо. – А ты?

– Ах, и не спрашивай. Удивительно!

В комнату я входила смирнехонькая, с отрешенной и постной физиономией. Мама уже обо всем знала, бабы ей немедленно донесли. Она смотрела на меня насмешливо:

– Это правда, что ты крестилась?

– Правда.

– И как же все это могло случиться?

– Не знаю.

– И в бочку тебя пихали?

– Пихали.

– Вот-вот! Теперь об этом все соседи в доме говорят. И в других домах тоже говорят. Одна даже прибежала с Третьей Парковой. И она меня поздравляла! Она говорила, что ваша дочка – необыкновенная девочка. Дуреха ты!

– И вовсе не дуреха.

Вступилась соседка тетя Маня. Она меня защищала и даже всплакнула, прижимая к себе и поглаживая по бедной головушке. Но мать повторяла:

– Дуреха! Умная такого не сделает.

Мы с ней здорово поругались. И в то же мгновение я потеряла всю свою безгрешность, и я не только ее потеряла, но еще и орала резким, визгливым голосом.



Михаил ЭПШТЕЙН

ЛЕНИН · СТАЛИН

Эссе

Когда-то они были неразлучны – на плакатах и фотографиях, в учебниках и в сознании народа. Потом остался только Ленин, а Сталин выбыл в неизвестном направлении, на неизвестный срок: ждать не приказали, но и надежды не отняли. И вот он возвращается...

Другой, да, другой Сталин. Но время ничуть его не состарило, наоборот, омолодило. Он меньше Иосиф Виссарионович – и больше Коба или Сосо, как его называли друзья юности и товарищи по подполью. Он уже не всеобщий отец, вождь всех времён и народов, старший друг пионеров и физкультурников, умудренный и всезнающий дедушка Сталин – нет, но молодой авантюрист и демонический злодей, у которого неистощимый пыл и южный темперамент на совращение целомудренных народов. Коварный, неотразимый, цинический, освобожденный от всяких нравственных норм, как либертины у маркиза де Сада, любитель острых ощущений и знаток неопытных сердец, одной усмешкой сквозь жесткие усы сводящий с ума: вечно юный Сталин, политический обольститель и насильник. Нет, не проститутка, как Троцкий, а мужественный брюнет, который брезгует посещать публичные дома и водиться с продажными девками, – зато всегда непрочь

поживиться девами из приличных семейств. И потому надо бить тревогу среди мирных развивающихся народов, этих чистых девочек в красных шапочках, что в их доме может появиться хитрый волк и, прикинувшись нравоучительной бабушкой, закласть свою жертву в постель. Красные шапочки ему особенно нравятся: этот цвет возбуждает всех циников и демагогов, а вот белый или синий им скучен и пресен, такие народы могут не опасаться за свою добродетель. Древнее предостережение: красна девица, словно маков цвет, не ходи, милая, за околицу, по чисту полю молодец идет, молодец идет, маков цвет сомнет.

Раньше говорилось: Сталин – это Ленин сегодня. Но зачем делу социализма сразу два Ленина: вчерашний и сегодняшний? Любая система со временем стремится избавиться от дублирующих друг друга элементов, как язык избавляется от полных синонимов. Идеология – тот же язык, только социальный; он имеет свои синонимы, антонимы, омонимы, отношение между которыми меняется быстрее, чем в национальном языке. Например, слово "социализм" и "демократия" долгое время звучали для нас как синонимы, а "коммунизм" и "фашизм" – как антонимы. Синонимами были имена: Сталин и Ленин, антонимами: Сталин и Гитлер. Бывают и идеологические омонимы, т. е. слова, звучащие одинаково, а по смыслу не имеющие между собой ничего общего . Например, "диктатура пролетариата", "фашистская диктатура" – вряд ли кто-нибудь услышит здесь одно и то же слово, разве что у него невоспитанный политический слух. Или: "наш народ мечтал о свободе" и "радиостанция "Свобода" клевещет на наш народ". "Диктатура" и "диктатура", "свобода" и "свобода" – это просто разные слова, как "коса" на голове у девушки и "коса" в руках у Смерти, как горный "ключ", забивший из расщелины, и гаечный "ключ", которым избили прохожего.

Бывает и наоборот: разные слова настолько сближаются по значению, что их можно писать через дефис, как одно сдвоенное слово, например, "фабрики-заводы", "рабочие-крестьяне", "грибы-ягоды", "фрукты-овощи", "Пушкин-Лермонтов", "Тютчев-Фет", "Ахматова-Цветаева". Разумеется, образованный человек знает разницу между Пушкиным и Лермонтовым, но в массовом сознании они вместе держатся на слуху, как один великий поэт, сосланный в Михайловское, сражавшийся на Кавказе и смолоду убитый на дуэли Дантесом-Мартыновым. Идеологическое сознание тоже любит такие дуплеты: Маркс – Энгельс, Ленин – Сталин. Нужно поставить именно две точки, чтобы между ними сразу прочертилась генеральная линия исторического развития, на письме изображаемая знаком тире. От одной точки не будет линии, а между тремя она может искривиться, дать зигзаг, поэтому попарно имена звучат всего сильнее и убедительнее. Словно бы разносится между ними: от скалы к скале – горное эхо, усиливая

звучание каждого. Размах, простор. Между вдохом: Маркс – и выдохом: Энгельс – чувствуется как бы дыхание самой истории, набравшей побольше воздуха в грудную клетку. Что там только не звучит, в этой многозначительной паузе! Какую великую работу проделывает история в полном молчании! Маркс...–... Энгельс, Ленин...–...Сталин. Ну и поменьше, помельче, однако тоже с намеком, подтекстом, внутренним резонансом: Ворошилов – Будённый, Дзержинский – Фрунзе, Куйбышев – Орджоникидзе, Горький – Маяковский...

И вот с какого-то момента главная гулкость пропала. Даже мне, всего шесть лет от рождения прожившего с двойным именем Ленин – Сталин на слуху, – даже мне с 1956 года уже недостает этой смысловой растяжки, мощного звукового раската. В коротком слове "Ленин" мне слышится какой-то сбой, недосказанность, будто что-то толкнулось – и замерло, подавилось собственной немотой. После "Ленина" само напрашивается тире, как знак исторического разгона, траектория великого броска в будущее – а сил не хватило, тире сломалось на точке. Прыгун разбежался – а прыгать не стал, потоптался на месте и скрылся в раздевалке к недоумению публики, приготовившей ладоши для хлопков. Нет, не хватает красивого, парящего перелета через эпохи, времена, стадии роста, ступени прогресса: Ленин – (летим, летим!) – Сталин.

И долго, целых тридцать лет, длилась эта томительная пауза, словно ком застрял в горле: вдох сделан, а выдохнуть не дают. И уже не дышится во все легкие, а пускается во все тяжкие, как в 70^{е} годы. У народа, преодолевающего высокие исторические ступени одну за другой, появилась одышка, и стало за него тревожно: дойдет ли? Осилит ли?

Теперь тревога проходит. Прорезалось второе дыхание. Сталин снова с нами. Он вернулся в свое законное общее имя: Ленин-Сталин.

Да, вернулся другим, хищным и жутким, но такой Сталин нам еще нужнее, чем тот многомудрый Вождь, каким он был при жизни. Многомудрого вождя, всезнающего учителя, бессмертного гения, заботливого отца наш народ приобрел еще до Сталина, в годы тяжелых октябрьских родин, отныне и навсегда, а вот достойного врага ему недоставало. Их было слишком много, врагов, и все, как оказалось, ненастоящие, потому что настоящих много не бывает. Даже отсталая религиозная традиция хорошо это знает и когда произносит слово "враг", то обязательно в единственном числе, чтобы понятно было, кто подразумевается. Враг и есть враг – Сатана, что буквально и значит "противник". И если говорят: "враг попутал", то ясно, что это не какой-то там один из многих отщепенцев и злопыхателей, а такой же единственный и общий всем людям Враг, как и Бог – один. Произнесите: "враги" – и сразу

слово измельчает, из религиозного языка перейдет в какую-то политическую трескотню, в газетный или партизанский жаргон. "Враги сожгли родную хату", "надо их всех перестрелять, врагов народа"... Сам язык дешевеет, разменяваясь на множественное число. А "Враг" – слово дорогое. И если бог и учитель у нас один, что соответствует священной традиции, то и враг должен быть один. "Враги" – это низкий уровень обиходности, мелочь тактики и стратегии.

И теперь понятно, почему он, Враг с большой буквы, стал науськивать нас на поиск врагов. Это и было его главным Вражьим делом: насочинять миллионы шпионов и вредителей, чтобы самому затаиться в их сплошной серой массе. "Сколько их! куда их гонят? что так жалобно поют?" – ну конечно, это все мнимые враги народа, отправляемые на очередной этап сквозь пургу и метель. "Бесконечны, безобразны в мутной месяца игре..." А кто их гонит – тот самый Враг и есть, и он их нарочно выдумал и выдал за врагов, чтобы себя спрятать. Вон их сколько! – и каждого надо найти, опознать, доказать, связать, обезвредить, да еще и к самому себе прислушаться – нет ли и там, в своем сердце и разуме, чего-то вражеского, чтобы сдаться и донести...

И вот за всеми этими врагами, с их жалобным визгом и воем, блужданием в потемках и в метели, нам, конечно, было не доискаться до Врага, который всю эту вьюгу в глаза напустил и рассыпался тьмою мелких бесов, чтобы мы его не поймали. И какие там бесы, если всмотреться! – там сучок серенький, там искорка малая, там листик сухой. Мчались мы на вихрях-конях по своей великой равнине, а он навстречу нам выдул стужу-метель и так засорил глаза, что в самых невинных сучках-задоринках нам примерещились бесы-вредители – чтобы его, Проклятого, не увидеть, Вражину эту лютую. "Только вьюга долгим смехом заливается в снегах" – в ответ на все наши "трах-тах-тах!". Сколько врагов перестреляли – а главный и единственный ушел невредимым, и остался в ушах только глумливый смех этой поднятой им вьюги.

Но теперь мы разобрались, что к чему и кто кого, – во врагов больше не верим, потому что ясно видим перед собой одного Врага, и чтобы расхлебать наваренную им тюремную баланду нам годов и эпох не хватит, поскольку другой похлебки у нас еще варить не научились, да и желудки твердокаменные. Наша вера теперь гораздо глубже, потому что из-за множества подставных врагов встал, наконец, во весь рост, как будто для высшей меры наказания, один, настоящий. Он-то и помешал нам вкусить давно обещанный рай.

Ведь это нелепо, чтобы Еву соблазнила целая стая юрких змеек, – нет, он должен быть один, виновник грехопадения, из-за которого первозданный рай был утерян, а предсказанный так и не

построен. Отрицательный персонаж Книги Бытия стал положительным героем Краткого Курса, но это развитие по ходу истории одного характера – Змея-Искусителя, который издавна имел привычку обитать в раю. И ведь человечество уже шагнуло туда на зов всемудрого, всезнающего, володеющего миром и предавшегося священному покою лишгь в последний день (отчего и зовут его по-божески – Влади-мир Лен-ин: ибо сотворив в шесть дней мир, на седьмой опочил). Шагнуло под пышную крону древа жизни, с которого свисали сочные плоды нэпа и кооперации, но рядом росло другое, из-за которого и выполз искуситель и прельстил более румяными, да горькими плодами индустриализации-коллективизации. Оттуда и пошел раскол на добро и зло, на свет и тень, на Основной Закон и нарушения законности, на пионерские лагеря и концентрационные лагеря, на перелеты через Ледовитый океан и обживание его суровых берегов. Был один только рай и цельное древо жизни, а от Лукавого началась излучина и все раздвоилось на добро и зло.

Конечно, обличая Врага и все то зло, которое он учинил, не надо забывать, что и много добра мы познали с того самого древа. И хотя Змей клеветал на бога, мы не должны клеветать на эпоху Змея, а призваны тщательно отделять доброе от злого, потому что таково двойное свойство самого дерева; и не мазать все черной краской, а мраком оттенять свет. Главное же: познав ужас грехопадения, вернуться к первому завету, который бог со своим любимым детищем заключил под названием "Последняя стадия и Очередные задачи". И ведь было нам внятное предупреждение о враге, что он слишком груб и его следовало бы осторожно переместить с чересчур высокой кроны – мы сами виноваты, что польстились на лживые ласки и плотоядный блеск мудрых очей.

Но теперь, наконец, Враг опознан и назван. И значит, рай непременно будет очищен от скверны. Раньше-то считалось, что мы живем уже почти в раю, а выглядел он как-то неуютно и больше походил на каменистую пустыню. И хлеб приходилось в поте лица своего добывать, и земля рождала терние и волчцы вместо обещанных сладких плодов, и женщины мучались, надевая вместо воздушных кружев одежды кожаные. И если это называть раем, тогда непонятно, каким может быть не-рай, неужели еще хуже? а впрочем, спасибо, что нас туда не пускают. Если мы здесь надрываемся и голодаем, на каменистой почве, то там, среди каменных джунглей, мы бы вовсе погибли. Наверно, рай все-таки здесь, но только в завете про него было иначе написано: сочные плоды, рог изобилия – а получили волчцы, будто сами мы волки, и век бросается нам на плечи. Неужели бог нас обманул, обещанного ни за тридцать три года так и не выполнил? И вот уже умирают дети тех, которым был обещан рай, от недостатка даже тех же волчцов. Поколебалась наша вера, и божья слеза скатилась с небес... неужели конец?

И вот – спасен, спасен. Как же его не спасти, нашего бога, если только он и может дать нам спасение. Мы его сейчас, а он нас потом. Все давно уже было предсказано, хотя и в суеверной книге: не бог виноват, а Враг попутал. И завет не исполнился, потому что мы сами его нарушили, съели не с того дерева, хотя прекрасная жизнь с дарами сельхозпотребкооперации стояла рядом, – но Враг преподнес нам другие, чтобы мы в райском саду сами стали как боги, познавшие добро и зло. И вот, едва вкусив от этих кровью налитых румяных плодов, как и было предсказано: "в тот же день – смертью умрете" – стали умирать один за другим, не отходя от развесистого древа. И треть народа умерла, а остальная часть оказалась в пустыне...

Зато Враг, хитростью лишивший нас рая, теперь сам должен его вернуть. Ведь если бы не его спасительная ложь, то пришлось бы признать бога не богом, и рай не раем, и завет обманом, а коль скоро Враг объявился, значит, все прежнее остается на своих местах. Это мы, грешные, не того послушались, не в ту сторону зашли – в пустыне заблудились и почти пропали. Но рай нас ждет и бог нам простит, если во всем покаемся и вернемся к его заветам, если отступимся от Отступника, воспротивимся Противнику и обличим его мерзкую лукавую природу в самих себе.

Вот он каким возвращается к нам, Сталин. Для нашего главного дела он теперь нужнее, чем при жизни. Стала величайшим коммунистом-организатором – ну, не смерть его, так посмертная судьба. Был при жизни богом – но бога и без него хватает, и первый уже умер, а второму не бывать. Не хватало – Врага: он-то нам и ответит, почему бог прав, а мы ошиблись, почему рай нас ждет, а мы в нем не живем. Такой Сталин нам гораздо нужнее, чем гений всех времен и народов, потому что возвращает нам отнятый рай, точнее, надежду рая, – злодей исполнит то, чего не исполнил гений. Гений надежду убил, зато злодей ее возродит.

Змей-искуситель переживает теперь второй акт исторической мистерии – в роли козла отпущения. Был такой обычай у народа, верившего в свое избранничество перед Богом, – раз в год возлагать на козла всенародный грех и изгонять в пустыню. Тот грех, который отторг людей от рая, теперь сам отторгается от них и символически удаляется в то место, куда их завел. Козел в этих ритуальных представлениях – столь же низменное животное, как и змей, – оба олицетворяют нечистую силу, отчего и изображается она часто с козлиными рогами и в змеиной чешуе; но если змей воплощает хитроумие и жестокость, то козел - похоть и тупость. Так сошлись эти два животных в нашем представлении о Враге: он тупой, ограниченный человек, но хитрый на гадости, пылкий на мерзости, злобно-лукавый и похотливый (эта роль специально похотливого придатка, как бы полового органа хозяина, отпущена Берии, который и стал первым козлом отпущения во всем этом

многоступенчатом ритуале посмертной расправы со Сталиным).

Про Бухарина, одного из очередных врагов, было "свыше" сказано на судебном процессе, что он помесь свиньи и лисицы. Опять-таки узнается мелочевка, пошлая политическая грызня – потому что в тех возвышенных обрядовых ролях, которые передаются сегодня Врагу народа, он знаменует единство гораздо более древних и емких символов: козла и змея. Значения вроде те же – низменность (свинья, козел) и лукавство (лисица, змея). Но если свинья и лисица – персонажи какой-нибудь басни, детской сказочки, в духе которой для простодушной публики разыгрывались фольклорные процессы 30-х годов, то змея и козел – персонажи мистериальные, библейские, до которых ныне возросло наше сознание пережитой трагедии.

Два обличья нечистой силы: первое – когда она искушает добром; второе – когда обличается во зле. Тот, кто в образе змея завлек нас из рая в пустыню, теперь, в образе козла, сам изгоняется в пустыню, чтобы сохранить нам надежду на рай. Именно сейчас, когда Сталин во всенародном сознании превратился в змея-искусителя, он фактически играет для избранного народа роль козла отпущения, и тут нет никакого противоречия, потому что эти две роли предназначены для одного актера, как две личины великого лицедея.

И теперь мы уже не в коммунальных двориках забиваем козла, крепко пристукивая его костяшками домино, а забиваем на всенародной площади, чтобы он костьми лег в той проклятой мертвой пустыне, куда нас заманил; и выносим его кости из нижней части райка, с высоты которого созерцают театр народной жизни его наследники, – выносим кости из частицы рая и выбрасываем к стене плача, чтобы ветер истории развеял его прах. Мы забиваем козла всенародно, и не условными точками-гвоздиками костяшек, а пригвождаем его к столбу позора побелевшими костями его собственных жертв.

Но как ни праведен этот гнев, он не колеблет, не укрепляет нашу главную веру, и имя бога еще ослепительнее сияет, отмытое от имени греха, от имени навета.

И ведь какое имя он взял себе – не просто красивое, а словно бы выдуманное мальчиком-семинаристом по образу того, кто воображался ему первым учителем всех мятежников: с железными когтями, со стальными зубами, в соответствии с точными предсказаниями Священного Писания, – старого, конечно, которое предстояло еще переписать, чтобы поменьше было шерсти и побольше стали. Ушел из семинарии – но может быть потому, что главному уже научился, и пошел разносить слово своего бога, проповедовать свое евангелие, вычитанное из тех же самых строк, – стальной меч, исходящий из уст божиих, кару и пагубу, ниспосланную на народы. Быть может, поразили воображение

семинариста такие слова: "железное ярмо возложу на шею всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому..." (Иер., 28, 14). А может быть понравились ему слова из Апокалипсиса: "тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся" (Откр., 2, 26–27). Образ железа следовал за ним неотступно и сам подсказал имя, под которым пасти народы, впавшие в язычество, – Сталин.

У Герцена как-то довелось прочитать в "Былом и думах": "Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 года, скоро совсем задвинется; человеческие слезы, заметенные полицией, пропадут, и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли..." Что больше всего здесь поразило – с какой легкостью, почти незаметно, можно переправить цифры веков: 1825 – 1855 на 1925 – 1955 – и ничего не изменится по существу, словно характеристика заготовлена сразу на две эпохи: николаевскую и сталинскую. Такова меткость слова: одним выстрелом разит наповал сразу две отдаленные цели. Но стоит внимательней сопоставить нашего Противника с его слабым соратником по предыдущему веку, отхватившим себе точно такой же дымящийся тридцатилетний кусок в судьбе своего народа, – и снова поразишься уже несопоставимости: так меняются масштабы и материалы, из которых создавался этот жезл, пасущий народы. Там – пять повешенных за вооруженное выступление и убийство, здесь – в миллионы раз больше погубленных за... просто ни за что. Но зато и прозван был тот царь всего только Палкиным: вот от каких детских наказаний им было больно, кожа еще не задубела даже под началом генерала Дубельта, и жезл оставался только деревянным.

Если же задуматься, как назвать нашего прекрасного Иосифа, чтобы вышло соответствие святому Николаю – если тот Палкин, то этот кто? – вдруг и видишь, что он, не дождавшись памфлетов Льва Николаевича Толстого и пренебрегая панегириками другого Николаевича Толстого, отнюдь не Льва, – сам себе лучше и точнее всех назвал: Иосиф Сталин. Одна эпоха относится к другой, как железный посох к деревянному, как "Сталин" к "Палкину". Но именно Сталин, не Железин – это пусть матрос-братишка по югу гуляет и под курганом вечно спит, взятый от древней металлической простоты, а, как подобает не братишке, а старшему брату и уже начинающему отцу – Сталин, от сплава несравненно более твердого и современного.

Теперь-то мы знаем, в какой домне-мартене выплавлялась эта сталь, по созвучию слов – случайному ли? – воспетая множеством стальных соловьев той эпохи. "Как закалялась сталь" – этому, конечно, по высшему счету мог научить только сам Сталин; в его имени, в его образе – ответ на все вопросы,

поставленные этой и множеством подобных книг. И выплавлялась эта сталь в домне, которая раскалялась пожарче магнитогорских и исстари называлась пеклом, дабы оттуда в достойном вооружении и стальных доспехах выходили неуязвимые, броней покрытые, нездешним пламенем опаленные воины – посланцы настоящего Врага, закаленные им в огненной купели, этом вечном прообразе Магнитки. Сталин строил печи, чтобы выковывать свою стальную рать, чтобы она разливалась и затвердевала по всем ячейкам общества, превращенного в огромный, слаженно гудящий сталелитейный цех. Он сам был богом Стали, богом домен и мартенов, хозяином всех огневых точек страны, знакомых ему изнутри, по тому жару и накалу, в котором испокон веков пребывала и останется пребывать его душа.

Как узнается в плане индустриализации, во всем этом размахе сталеплавильного дела, в расцвете черной металлургии – сталинский дух, дух несгибаемой стали! Не случайно вернейший из речетворцев задумывал, как свою лебединую песню и реквием, – "Черную металлургию", очередной том из эпопеи "Как закалялась сталь", в которую обратилась вся наша многотомная литература, с ее пламенным духом несокрушимой твердости. Этот образ стального века, олицетворяемый именем и делом Сталина, долго витал и еще продолжает витать в нашем продымленном воздухе, воплощаясь в бесчисленных романах и пьесах о "стали и шлаке", "о сталеварах", вплоть до "Нового назначения" о чугунных людях, вышедших из плавилен сталинских времен и заправлявших процессом этого производства – своего воспроизводства.

Как в иные "темные" века процветала черная магия, так у нас – черная металлургия: в той же функции властного заклинания подземных сил ада, в топку которого подбрасывались руды, люди, идеи, судьбы. В самих словах "домны" и "мартены" угадывается искаженный отзвук древнейших понятий: демоны и отец их, Дьявол – мартышка Бога. Весь воздух Отечества пропитан этим металлическим запахом стальных и чугунных печей, выплавляющих больше черного металла, чем в любой другой стране и даже вместе взятых передовых. Уже во всем мире кончилась эра чугуна и стали, вытесненная более современными материалами, – а мы все не можем остановиться, и не экономическим расчетом нам диктуется этот избыточный рост, а какой-то мистической интуицией: не простынет ли душа народа, лишившись подогрева из этих пылающих печей? "Кипят, кипят котлы чугунные..." В других странах – свои увлечения: где бананы и тростник, где автомобили и компьютеры, – а у нас сталь да сталь, не технический только, но духовный продукт сталинской эпохи.

Там, в этих плавильных печах, с адским грохотом выковывались из лучших сортов легированной стали сталинские кадры, которые страна делегировала из забоев на съезды, а со

съездов – в еще более дальние и глубокие забои, и имя этому несчетному множеству было – легион. Они сверкали повсюду малыми искрами, неистощимой россыпью той одной, что вспыхнула на рубеже веков, на серой газетной бумаге, рассыпавшись затем сияющей россыпью мартенов, салютов, зарниц, пожаров, зарев, – и эти малые искры пропадали во тьме пустой, отзываясь в душах тех, кто оставался, даже не жалобным воем, а гнетущим молчанием.

Кадры решили все. Но чтобы стать кадрами, они и должны были мелькать, быстро сменяя друг друга, как в лентах кинохроники. Прежняя техника кино, когда сцены держались подолгу, словно в театре, привлекая взгляд последовательностью действия, смыслом конфликта, лепкой характеров, – эта "фильма" прошедших времен безнадежно устарела. Наступила эпоха монтажа – неожиданной склейки быстро сменяющих друг друга кадров. Сталин и Эйзенштейн были соавторами изобретения. Один возился со своими кадрами, разрезая ножницами и соединяя клеем, чтобы воспроизвести быстрый ритм эпохи, динамику сменяющихся социальных разрезов и идейных ракурсов. Другой раскручивал сам этот ритм, вырезая одни кадры и подклеивая другие, чтобы эпоха убыстрялась, догоняла и перегоняла свою кинохронику. Закон монтажа, поражающего причудливыми сложениями и зигзагами, оставался тайной самого мастера: один кусок накладывался на противоположный, Лицо Зиновьева на лицо Троцкого, лицо Бухарина на лицо Зиновьева, лица старых большевиков на лица кулаков и середняков, лица командармов на лица конокрадов, аккуратно подстриженные и в пенсне – на всклокоченные, бородатые... И от этого монтажа цепенел зрительный зал, а сидевшие в первых рядах деятели искусств от восторга махали рукой и шептали друг другу со слезами на глазах: "Мастер! Мастер!"

И вот время, мастерски овладев полным набором клеев и ножниц, делает новый монтаж: Сталин по краям молнии-зигзага великого завещания отрезается от Ленина и по краям пакта о ненападении приклеивается чуть ли не к Гитлеру. Усики у них во всяком случае так ловко совпадают, что если обратить внимание на главное: волю к власти, которая щетинками-штыками топорщится над губой, то окажется просто одно лицо, любимо-ненавидимое. Сталин – уже не Ленин сегодня, а Гитлер здесь.

Он возвращается, другой Сталин, – любимый враг, ненавистный вождь. Но дело, которому служили Ленин-Сталин, от этого не только не проигрывает, но одерживает победу в тот миг, когда весь мир уже приготовился к его поражению. Сталин возвращается, чтобы спасти дело социализма – уже не от Троцких-Бухариных, не от всяких прилипал-подпевал-давалок–лишенок, не от мнимых вредителей и рьяных поль-

зователей... Теперь Сталин спасает социализм от самого Сталина: страна перекладывает сталинское ярмо на его стальную шею – и он держит, чтобы страна могла и дальше жить, "дыша и большевея". Сталин стоит, как тяжелоатлет, с рекордной штангой на вытянутых руках, и держит, держит, пока мы проходим мимо, в славное будущее без Сталина. Слава Сталину-злодею! Слава Сталину-преступнику! Слава Сталину-искусителю и искусителю наших грехов! Он стоит уже не на трибуне Мавзолея, а напротив, на старом Лобном месте, специально для него обновленном; и отсалютовав направо, праздничная толпа, проходящая по Красной площади, салютует налево – своему славному извергу, чья посмертная казнь, не в пример предыдущим, облегчает народную душу от тягчайших грехов.

...И снова привольно дышится, и дело кажется только начатым, еще непорочным, пусть отодвинутым назад, но тем более близким озорному, радостному началу. "И Ленин такой молодой, и вечный Октябрь впереди!" Время, благодаря Сталину, вновь обретает гулкость, далекий раскат в будущее. Те тридцать лет, что мы обходились без него, прошли все-таки глуховато, с одним именем, слишком коротким, безотзывным в своем вечно правом и гордом одиночестве. Теперь опять начинается: Ленин и Сталин. Ленин – Сталин. Дело Ленина – дело Сталина.

Пусть иначе, иронией и трагедией, переливаются смыслы в этом двойном слове: не тождество, а противоположность, не продолжение, а преодоление. "Ленин – Сталин" теперь звучит как название поединка, который свел за одной шахматной доской, на одной исторической арене двух сильнейших соперников. Кто кого? Объявляется матч Ленин – Сталин: на звание чемпиона нового мира. Разве это не волнует, не зажигает больше прежнего: черта соперничества на месте прежней черты наследства. Разве не раздвигается еще шире вокруг этой черты историческое пространство – чтобы вместить двух расходящихся перед боем противников? Уже не в обнимку поднимаются они по лестнице истории, а выходят на арену истории с противоположных сторон. Больше воздуха, больше простора между этими именами – но так же спаяны они неразрывно. Сталин – Ленин. Ленин – Сталин.

Теперь в этом просвете, образованном вокруг удлиненного тире, гуляет ветерок перемен. В эпохе, во всем учении социализма образовалась как бы реактивная тяга, необходимая для исторического ускорения. Было, к чему притягиваться, – не было, от чего отталкиваться. Был магнит, впередсмотрящая и впередзовущая идея, – не было трамплина, святого чувства покаяния и отталкивания от прошлого.

Были, были, но уже очень шаткие, прогнившие опоры, которые проваливались от первого толчка. Что там царь, легко расстрелянный, точно в тире; что там фюрер, сам себя, точно в

русской рулетке, застреливший! «Эпоха их перешагивала, перепрыгивала их трупы и с пионерским задором бежала дальше, под руководством Ленина-Сталина. Не оставалось ничего надежного, от чего можно было бы надолго, навсегда оттолкнуться. Капитализм? Империализм? Это – "что", а враг – всегда "кто". Вот и застопорились: не с кем бороться. Хочешь взлета – ищи трамплина. На Николая-Керенского-Троцкого-Гитлера уже не обопрешься: Ленин-Сталин всех врагов победил, всю их силу себе подчинил и присвоил – значит, самый сильный враг теперь должен обнаружиться в нем самом.

И вот, когда святой злобы уже не осталось на Руси, и все враги провалились, и опоры прогнили, и поприща для борьбы не осталось, и винить некого, и безумной ногой от почвы оторвались, бежим, бежим, а счастья нет и нет – доискались, наконец, до врага, появился он всерьез и надолго. Из Ленина- Сталина вышел Сталин и, как часовой на разводе, выполняя партийное поручение, отошел далеко назад и встал наизготовку в форме лютого лазутчика и снайпера по самым заветным нашим целям. Ленин же, выполняя другое партийное поручение, оторвался от Сталина и устремился далеко вперед, в даль недосягаемую, но все же завущую родным неправильным голосом и святым последним заветом-завещанием.

Долго, долго вся наша партия работала на Сталина. Теперь пришла пора Сталину работать на партию. Исполнить партию варварского гостя – вакхическую песню вдохновенного мракобеса: "Да скроется Солнце, да здравствует тьма". Вот с кем мы будем бороться до конца своих дней, вот на чей ложноклассический королевский гамбит мы ответим народной или, наоборот, демократической партией, – лишь бы противник был достаточно мертв, чтобы не умирать в нас самих. Сталина, в отличие от всех царей-фюреров, уже не спихнешь на свалку истории: ведь по праву социалистического первородства, он – в нас. Где-то глубоко, в потемках, на дне души... Поскоблишь социалиста – найдешь сталинца. Мы всегда будем бороться со Сталиным, двигаться вперед, отталкиваясь от Сталина. Рай спасен, потому что мы оказались его недостойны. И никогда не узнаем, каков изнутри, потому что Сталин – внутри нас.

Все прежние пороки были чужие – от царизма, капитализма, фашизма, родимые пятна чужих загнивающих тел. Этот порок – свой, это родимое пятно нашего собственного социалистического первородства, которому цвести и цвести; но родимому пятну не выцвести и в раю не бывать никогда. Сталин – наш вечный порок, который делает предстоящий рай столь же недостижимым, сколь и непорочным.

Зато воистину эпоха ускорения началась; у нее появился реактивный двигатель. Раньше мы все надеялись достичь

сияющих далей, держа впереди лунную подковку идеала-магнита и непрерывно идейно подковываясь по его образцу; а теперь научились использовать реактивную тягу, которая оттолкнет нас от грешной земли, – бушующим пламенем народного гнева и огненным столпом самосожжения ввысь вознесет.

Все теперь стало на свои места. Окончательно сложилась наша собственная религиозная картина мира – словно из эпохи язычества избранный народ, пристыженный грехом и устрашенный карой, вступил в светлую эпоху единобожия. Раньше была предыстория, с какими-то неясными, языческими богами-двойниками, у которых разделялись тела, но срастались головы, – подлинно священная история начинается только сейчас. У нас есть бог, свободный от всяких наветов и свято блюдущий завет, – то, к чему надо стремиться. И у нас есть вечный враг, мятежный ангел, возомнивший себя носителем Света, но низринутый во тьму, сраженный и опаленный молнией завещания. Падший ангел собрал вокруг себя воинство тьмы, напал на светлых ангелов и истребил их, но последовало возмездие... И так до скончания веков будет разыгрываться это сражение двух сил, в котором нет посторонних, – ибо тут бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердца людей. И всегда есть возможность объяснить, почему социализм не таков, каким он мог и хотел быть: враг оказался внутри самого социализма. Он сам его построил. Он объявил его полную и окончательную победу.

Если отбросить излишнюю щепетильность, таким "нашенским" врагом можно даже гордиться. Чужой, закордонный, оказался столь слаб и труслив, что даже достойного врага нам пришлось создавать самим из себя, быть первопроходцами и на этом нехоженом пути. Наш Враг – из народа, против народа и для народа. Мало с нас индустриализации, коллективизации, культурной революции – так и сталинизацию пришлось проводить самим, до всего дошли руки, и ни демократические друзья, ни капиталистические враги ни в чем нам не помогли. Так мы сильны, что этой силы хватило на то, чтобы породить собственного врага, – хватит и на то, чтобы его одолевать неустанно. Вот каков наш бог: он сам создал богоотступника, и поставил его во главе своих ангелов, и провидел его отступничество, и заклеймил – но не уничтожил, чтобы вновь и вновь проверять и доказывать на нем силу своих всепобеждающих идей.

Пожалуй, Сталин, и дальше юнея на наших глазах, вон в кого превратился – в мальчика для битья. Теперь каждый, проходя мимо, сможет надрать ему усы, а то и в глаза бесстыжие плюнуть. Но нельзя, никак нельзя вместе с мальчиком выплеснуть и чистую воду освежающего учения, к живительному источнику не припасть.

Отныне всегда будет так: ленинизм и сталинизм, и черта между ними трещиной пройдет через сердце самого народа, который растянет срок своего осмысленного исторического существования благодаря этому тире, так нежданно-благородно вставшему между двумя его половинами, благодаря разделившей его священной войне. Одно слово всегда хорошее, другое всегда плохое, и непонятно, чем там воевать, ведь хорошее сильнее – да только все люди называют себя хорошим словом, а других – плохим. И получается: все мы ленинцы, а с другой стороны, все они сталинцы. Вот и приходится хорошему народу бороться против плохих людей, т. е. с самим собой. Ленин с нами, но Сталин в нас. Наконец-то модель отечественной истории вполне оформилась по исконному священному образцу и теперь может работать вечно, вплоть до обещанного рая, время которого не придет, потому что время будет идти: оно любит пешие прогулки. По удлиненной до бесконечности линии: сначала Ленин-Сталин, потом Сталин-Ленин.

Великое некогда слово распалось на два, противоположных по значению. Такие поучительные случаи происходят не только в идеологии, но и в языке и называются "энантиосемией": одно слово порождает из себя два, которые расходятся до того, что становятся антонимами. Например, "начало" и "конец" были когда-то одним словом, обозначавшим и конец, и начало, т. е. некий важный рубеж; а потом, выйдя из одного корня, до того раздвоились, что теперь между "началом" и "концом" можно поместить уже целую середину, почти безначальную и бесконечную. Или слово "честь", из которого вышли два глагола с противоположным значением: "чествовать" – оказывать уважение, почтение; "честить" – бранить, ругать, оказывать непочтение.

Вот так и честное слово "Ленин-Сталин" разошлось на два, чтобы одно чествовалось, а другое честилось. Великий исторический рубеж, обозначенный этим словом, тоже раздвоился и обозначает теперь светлое начало социализма и его мрачный конец. Сталин – гибель. Ленин – спасение. Так развивается язык, так обогащается система идеологических знаков, разделяя свои слипшиеся значения.

Конечно, в языке подчас встречаются и полные синонимы, но для второстепенных, редко употребляемых слов, например, для обозначения самой науки о языке: "языкознание" – "лингвистика". Есть такие синонимы и для второстепенных идеологических знаков: Буденный-Ворошилов, Черчиль-Чемберлен. Но для главных слов в языке нет синонимов: чем заменить "хлеб", "сердце", "солнце"? Для слова "Ленин" нет и не может быть никаких синонимов – а те, что пробуют примкнуть и встать рядом, – тут же превращаются в антонимы. Например, смешно вспомнить, Ленин – Мартов, грустно вспомнить, Ленин – Троцкий, страшно вспомнить Ленин – Сталин.

Но не забудем воздать честь и самому языку, столь же могучему и свободному, а значит – предоставляющему свободу всем говорящим. Возьмем все то же выражение "Ленин – Сталин": как его понимать? Тире в русском языке имеет по крайней мере два значения: следования и противопоставления. Это знак, выражающий нечто противоположное себе. Например; "лес рубят – щепки летят": значение тире здесь передается словами "если... то..." Если лес рубят, то щепки летят. Если Ленин, то Сталин. Так это выражение прочитывалось раньше. Но не изменяя ни на йоту его написания, можно предложить и другой смысл. "Дуб рвется в высоту – к земле тростинка гнется". Здесь тире означает "наоборот", "напротив". "Ленин, и наоборот, Сталин". Так что вовсе незачем переписывать историю – достаточно просто ее перечитать. Таков сам язык: говорит вещи противоположные, не меняя ни одной буквы, и поэтому всегда правдив и свободен. Правдив был полвека назад, когда радостно провозглашал: "Ленин – Сталин ". Правдив и сейчас, когда бьет тревогу: "Ленин – Сталин". Достоевский когда-то обнаружил, что всего лишь одним трехбуквенным словом простые русские люди вполне могли выражать всю сложную гамму своих взаимоотношений. Что же тогда говорить про интеллигенцию, интеллектуальные возможности которой неограничены. Пройдет сто и тысячу лет, из всего политического лексикона нашего времени останутся только два слова: Ленин и Сталин, да еще знак тире между ними, – но и тогда наша интеллигенция сможет выразить все сложнейшие оттенки своего политического мышления, употребляя одно только это двуединое слово.

(Далее следует короткая интермедия, в ходе которой все присутствующие по очереди произносят "Ленин – Сталин", каждый по-своему, искренно и вдумчиво, понимая меру своей личной ответственности перед историей).

Теперь остается высказать только одно частное предложение, которое могло бы послужить дальнейшему ускоренному развитию нашего идеологического языка и мышления, а также философии, теологии и иконографии. Мне кажется, что на сдвоенном силуэте профили Маркса и Энгельса как-то слишком буквально и навязчиво повторяют друг друга, и если бы их немного раздвинуть, мы получили бы два самостоятельных лица. Одно более смуглое, семитское, зато просветленное, другое более светлое, нордическое, зато несколько затененное. Оба олицетворяют разные стороны учения, которое в одном лице прорастает вдаль и вширь могучей порослью курчавых волос; а в другом лице, тоже вырастившем из себя могучую поросль, все-таки немного укорачивается, подстригается, умеряет свой буйный рост. Дикий, цветущий рай, ветхозаветный Эдем как бы превращается в регулярный сад, ухоженный на английский манер. Нет, все-таки Эдем нам снился, и

ради возвращения в Эдем совершали мы великую революцию, которая буквально и означает "возвращение". Пусть этот подстриженный профиль не заслоняет профиля буйного, вдохновенно разметавшегося, словно олицетворяющего собственные пророческие слова об источниках изобилия, которые польются полным потоком. Эти волнистые кудри и пышная разлившаяся шевелюра, эта героическая симфония, которую бессильна укротить палочка парикмахера-дирижера, – все это обещает полный поток и даже потоп изобилия, если верить древней примете о том, что в волосах заключена сила и счастье человека. Случайно ли, что не Сен-Симон, не Фурье, не Фейербах, не Энгельс, но именно Маркс стал художественным символом освобожденного человечества? В самом облике этого нового Самсона избранный народ узнавал свою могучую силу, обращенную против буржуев-филистимлян, как израильский народ – в образе богатыря – назорея, к волосам которого не прикасалась бритва. Взгляните на этих подстриженных или лысоватых идеологов – они лишь условные знаки своих учений, а Марксу сама природа щедро пролила поток грядущего изобилия и широкое чело, предназначив быть во плоти защитником и судьей. Много нашлось вокруг этого пролетарского Самсона коварных Далил, желающих остричь волосы у могучего борца и лишить его прирожденной силы в борьбе с угнетателями-иноверцами. И все они, эти оппортунистические Далилы, все эти чаровницы и баловницы мировой революционной борьбы, пытались причесать и подстричь Маркса под Энгельса, лишая его диалектический историзм живой неукротимой мощи и втискивая в рамки казенного диалектического материализма.

Маркс – он и в жизни был порядочный растрепа, ему некогда было следить за собой, потому что мыслям его было тесно в любой благоприличной оболочке. Если Энгельс походил на подтянутого офицера прусской армии, всегда готового выступить в поход, то вокруг Маркса всегда лепилось живое семейное месиво жизни, мешавшее быть ему вполне опрятным. В бумагах Энгельса царил идеальный порядок, в кабинете Маркса на стопке книг можно было увидеть тарелку с яичницей, а посреди рукописей возвышалась кружка превосходного эля, хотя он любил его далеко не так,как Энгельс. Но он был материалистом жл мозга костей и не отделял процесса духовного производства от материального воспроизводства своей жизни. Одно включалось в другое, по известной формуле "бытие определяет сознание", и это не было со стороны Маркса лишь формальная дань доктрине, но стихийно присущий ему способ существования: он вкушал и творил одним двусторонним актом своего могучего, жизнелюбивого организма и плодоносящего интеллекта. Он не очищал свой кабинетт от запахов кухни, постоянно нуждаясь в непосредственном соприкосновании надстройки с базисом, вновь и вновь удостоверяясь сам и убеж-

дая других, что человек должен есть и пить не только в процессе, но и в самом фундаменте своего мышления.

А рукописи! Энгельс выводил буквы так аккуратно, что потомкам не стоило ни малейшего труда их прочитать и узнать все, что думал Энгельс. Почерк Маркса был столь же неприглаженным, как и его прическа, и разобраться в нем было бы невозможно без помощи Энгельса, от которого мы, собственно говоря, и знаем, что писал Маркс. Но не лучше попытаться впрямую, без посредника, вчитаться в Маркса! И тогда мы поймем, что никогда не сумеем до конца его прочитать – так сложен его почерк, так велико богатство его мыслей. Все новые и новые поколения будут читать и перечитывать эти роящиеся, растрепанные. скомканные и отброшенные буквы-зигзаги, буквы-взрывы, буквы-галактики – и погружаться в мир марксовой мысли, поистине не знающей границ и не переводимой ни на один из известных нам языков. Энгельсовский перевод на немецкий язык остается, по сути, лишь одной из возможных интерпретаций, но вавилонская клинопись и славянская кириллица могли бы сыграть не менее значительную роль в дешифровке этого универсального языка марксовой мысли.

Ведь надо же наконец признать, что не только в практике, но и в теории социализма была допущена непроизвольная ошибка, капелька упрощения, не имеющая, разумеется, ничего химически общего с пролитыми впоследствии морями крови. Все теоретические наследники и единомышленники Маркса – увы, начиная от Энгельса! – стригли его под одну гребенку так называемого "марксизма", а любая гребенка тесна для его могучей, вечно непричесанной охапки волос. Живое, растущее учение они укорачивали до нужд своей эпохи, но некоей неколебимой и всегда неизменной доктрины – как бы прилизывали, гладили Маркса по волосам, а он нам дорог непричесанным, как олицетворение стихийной материальной мощи своего материализма.

Разве не правда, что второй и последующие тома "Капитала", дописанные Энгельсом за Маркса, получились не так величественны, как первый, матерый томище, которым восхищался Ленин, как и всем матерым в человечестве. А "Диалектика природы" – всегда ли и во всем она соприродна той диалектике общества, которую развил Маркс? И все труды Энгельса как бы не вполне капитальныы и в известном смысле представляют собой добавочную ренту с того огромного идейного капитала, который нажит Марксом благодаря рациональному обращению с наемной силой. Пока буржуи материально наживались на труде пролетариата, Маркс идейно обогатился на его борьбе.

К сожалению, наша наука пошла по несколько облегченному энгельсовскому пути, а махину настоящего, первозданного марксизма ей еще только предстоит осилить, чтобы неоскопленное это

учение и дальше оплодотворяло все наши помыслы и дела. В теории нам недостает трамплина, который внутри самого научного коммунизма служил бы такой же твердой площадкой отталкивания, как Маркс служит притягающим магнитом. Ведь не секрет, что прежние площадки оказались картонными, и даже сам товарищ Плеханов... Нет, кажется, не избежать товарищу Энгельсу нового партийного поручения: быть оппонентом Маркса по некоторым фундаментальным вопросам марксизма, фактически подмененного... энгельсианством.

Марксимз – в опасности! И спасти его может только Энгельс, как всегда – жертвуя собой. Была пора, когда Энгельс нарочно приуменьшал свой вклад, чтобы утвердить приоритет Маркса – но теперь стоило бы Энгельсу закрепить за собой приоритет в тех вопросах, которые мешают Марксу оправдаться перед потомками и по-прежнему вечной правотой звать из будущего. Энгельс считал себя марксистом, как Сталин – ленинцем. Но пары в процессе диалектического развития становятся противоположностями. Сталин – уже не соратник, а противник Ленина, и именно потому – спаситель ленинизма. Придется и Энгельсу стать основоположником энгельсианства, чтобы спасти марксизм и принять на себя огонь его критиков и страдания исторических жертв. Придется Энгельсу после смерти Маркса усыновить его законное детище – "научный коммунизм", как при жизни Маркса он усыновил его незаконное детище Фридриха Демута. Домашняя работница Маркса и друг его дома образовали вымышленную чету, реальный плод которой был порождением самого Маркса, – чтобы спасти от бесчестия его брак и потомство. Так и теперь Энгельс должен дать свое имя кое-какимм произведениям бурливого марксова ума, чтобы имя самого Маркса осталось свято для его духовного потомства и всех грядущих поколений.

И тогда окажется, что Сталин вовсе не был марксистом, только энгельсианцем, да к тому же опошлившим то, что уже было упрощено Энгельсом, на которого он ссылается в своих работах гораздо чаще, чем на Маркса. Через энгельсовскую стрижку остается у Сталина от всей вдохновенной шевелюры Маркса, этого священного, но вполне материального нимба, – только узкая щеточка усов. Так иссякла сила Самсона, так угас бушующий пламень у гладковыбритых наследников марксова учения. А началось это постепенное пострижение сподвижников Маркса в монахи, точнее, в евнухи марксизма – уж не с Энгельса ли?

Пора, мой друг, пора, - как бы подсказывает Маркс своему вечному соратнику. У научного социализма еще не выявлен его коренной порок, который позволил бы остаться непорочной самой социалистической науке. И если признать некое темноватое родимое пятно на теле бессмертного учения – пятно, достойное столь могучего тела, – то мне оно видится именно во вкладе

Энгельса. Пусть разделятся близнецы – и история сочинит новую, еще более потрясающую легенду об интеллектуальной дуэли, которая исподтишка велась в их дружеской переписке. И окажется, что Маркс – наш буйный мавр, наш курчавый арап – был умерщвлен на этой дуэли, но он воскреснет в темном нимбе буйных волос, в этом сияющем венце первомученика марксизма. И осудит всех говоривших от его имени, но не осудит Энгельса, потому что тот был чист душой. Мне кажется, Энгельс чего-то мучительно не понимал в Марксе, хотя очень его любил и всю жизнь старался искупить свою вину. Это был первый в мире фабрикант, который трудился на благо пролетариата. И лишь когда Маркс умер, Энгельсу показалось, что он наконец понял. Он продержался еще двенадцать лет после смерти Мавра, сделавшего свое дело с мировой буржуазией, – но уже меньше пил пива и сделался очень кротким и ласковым. И все переписывал, переписывал на свой лад бессмертные марксовы каракули, состригал с них овчину, достойную выделки, – и не его вина, что в нее обрядился настоящий империалистический волк, прикинувшийся социалистической овечкой.

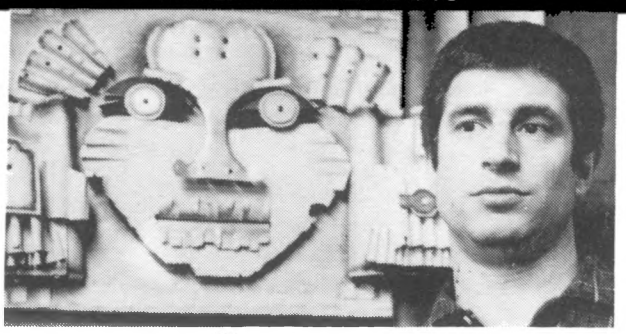
Нет, он не был мятежным ангелом, наш Энгельс, но просто ангелом, как свидетельствует его безыскусная фамилия, а Карл был человек из той могучей породы людей, которые не бывают ангелами. И еще Маркс, как напророчила ему фамилия, поднял над всем миром могучий рабочий молот, – где уж тут удержать его в ангельских крыльях. Вот почему я предлагаю только маленькую интонационную поправку, чтобы в слове "Маркс – Энгельс" тире читалось как знак живой диалектической противоположности, а не только диалектического единства. Все равно язык придет к этому с неизбежностью, чествуя в одном лице того, кого честит в другом, и переосмысленным знаком мы продвинем дело языка далеко вперед, чтобы словам в двуедином слове было по-прежнему тесно, а мыслям просторно, как требует правило хорошего стиля.

Пусть за Энгельсом останется первенство диалектики в природе, а за Марксом – диалектическое взаимодействие человека и истории, общества и природы. Пусть даже оба создадут диалектический материализм, о котором оба не подозревали, в отличие от самоучки Дицгена (вот кого еще нужно призвать на выручку Маркса!). Но пусть один создаст диалектическую, а другой – чуть метафизическую версию диалектики, за что впоследствии ухватится Сталин. Пусть диамат вообще отлепится от истмата и будут созданы два института: Маркса – Ленина и Энгельса – Сталина. В одном будет изучаться непобедимое учение, а в другом – временно победившее. В одном демократия социалистическая, а в другом диктатура пролетариата. В одном научный коммунизм и построение бесклассового общества, в другом – казарменный коммунизм и усиление классовой борьбы.

В одном свобода как осознанная необходимость, а в другом – необходимые ограничения безгранично необходимой свободы. Враг социализма заключен в нем самом, стрелка-тире, описав круг, поражает сердце самого стрелка.

Дело Маркса – Энгельса, дело Ленина – Сталина все еще не побеждает – и потому живет. В нем живет то, что мешает ему победить, но помогает оставаться главным делом жизни всех людей. Ведь главное дело мудрых и смелых – побеждать себя.

Сентябрь 1988



«УШЕДШИЙ ПЕРИОД ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ЧИСТЫМ И УНИКАЛЬНЫМ»

Беседа с Владимиром Янкилевским

Володя, мы не виделись 14 лет. Правда, была у нас мимолетная встреча в январе в Москве, но вот только сейчас у нас есть возможность поговорить. В связи с изменениями, которые произошли за время перестройки, отношение к бывшим неофициальным художникам изменилось. Кстати, еще в 1986 году успела появиться статья в «Советской культуре», где и ты, и Кабаков, и Штейнберг, обвинялись во всех смертных грехах...

Так сказать, последняя вспышка.

Да-да, арьергардные бои противника. И вот в связи с теми изменениями, которые произошли, сейчас ты и другие художники ездят, и выставки официально дозволяют устраивать, вопрос. Как это, с твоей точки зрения, сказывается на положении художников в России, свободных художников?

Вообще вопрос несколько общий, но в конце вопроса есть как бы уже и ответ. Ты сказал «художника», а потом добавил «свободного художника». Так вот, проблема свободного художника никогда не была связана с проблемой власти, с той проблемой, которая существовала как проблема отношений художника – вернее, не художника, а самого

его творчества, и того, какая погода нынче на дворе. В этом смысле внутренняя свобода художника не должна претерпевать, на мой взгляд, никаких изменений, если конечно, эта свобода действительно у художника есть. Другое дело, что есть социальная форма существования художника. Нельзя сказать, что она абсолютно не влияет на его жизнь и никак не отражается на творчестве, но отражается она несколько странным образом. Если попробовать провести прямую пропорциональную зависимость: чем лучше власть, тем лучше получаются картины, то, как показывает вся история культуры и очень наглядно – история русской культуры последних 70-ти лет, даже больше, не только при советской власти, но и конца века, что, как ни странно, чем больше был пресс, тем больше – и сопротивление внутреннее художника, тем больше сжималась пружина, которая потом создавала мощную оппозицию в виде творческого импульса. И это, возможно, явилось стимулом для работы. Не думаю, что Достоевский был бы Достоевским, если бы не было такого мощного противовеса на другом конце, то есть, если бы не было всего того зла и той скверны, которые были в России в то время. Я не думаю, что был бы Солженицын сейчас, если бы не было всей той истории, которую он пережил сам лично, в которой участвовал и которая проходила перед его глазами. Я думаю, что не было бы той Ахматовой, которую мы знаем, того Пастернака, того Мандельштама. Это, в общем, не очень оригинальная точка зрения. Я просто хочу сказать, что прямой связи между хорошей общественной ситуацией и достижениями в искусстве нет, то есть, прямо пропорциональной. Иногда это может быть наоборот, по поговорке «чем хуже, тем лучше», которая, по-моему, и родилась в России. Поэтому я думаю, что в определенном смысле для нашего поколения, для моей генерации 60-х годов, которая главные свои творческие усилия свершила в 60-е годы, возможно, изменения, которые произошли в последние годы, стали как бы подарком судьбы, компенсацией за прошлые тяготы. Сейчас мы можем поездить, посмотреть мир, посмотреть, все ли было сделано правильно, оценить свое место в том, что происходит вообще в мире. Забегая как бы вперед, или предчувствуя твой следующий вопрос, хотел бы сказать, что многое, что мы здесь увидели, не заставляет нас комплексовать по поводу того, что мы были неполноценными, или что мы что-то потеряли или что-то не увидели. Потому что внутренняя культурная жизнь в Союзе была настолько интенсивной и

настолько лишена каких-то спекулятивных моментов, которые бы заставляли художника работать на заработок, на престиж и так далее, что тот ушедший период представляется очень чистым и уникальным.

Сейчас в Москве появилось очень много новых художников. Я слышал разные точки зрения по поводу их искусства, в том числе, такую точку зрения, что раскрывшиеся двери – и аукцион Сотбис, и приезжающие галерейщики, и т.д. – многих молодых толкнули на чисто коммерческий путь. Ты согласен с подобной точкой зрения?

Вообще говоря, да. Но я бы хотел более точно ответить на этот вопрос. Дело в том, что в каждую эпоху и в каждом государстве никогда не бывает слишком много хороших художников. Это как у Булгакова: «Первой свежести» очень мало. «Второй свежести» тоже бывают, но это уже как бы не то. Так вот, московская ситуация тех годов отличается тем, что практически не было «второй свежести» художников, потому что не существовало того, что существует всегда в нормальном демократическом государстве. Это определенная художественная атмосфера, определенная художественная жизнь, официальная, свободная. А у нас существовала официальная художественная жизнь, которая обслуживала интересы аппарата, и существовала так называемая культура андерграунда, которая никак с ней не пересекалась, да даже и не боролась. она просто была совсем другой. Этот слой культуры андерграунда был ограничен только теми художниками, которые, на мой взгляд, и были художниками «первой свежести». То есть это был тот минимум, тот круг, который есть везде. Но при этом есть еще огромный круг вторичного, третичного и так далее. У нас такого почти не было. В этом была специфика. Сейчас эти круги появились: второй, и третий, и четвертый и пятый и т.д. Что же касается этой точки зрения, что нынешние художники – молодые художники, которые только начинают свой путь, превратились в коммерческих, то я бы сказал так: сейчас очень много возможностей для того и много соблазнов, чтобы превратиться в коммерческого художника. И те, кто этого хотят и на это настроены и нацелены, они это и делают. Но я уверен в том, что есть и среди этого поколения художников те, которые живут нормальной драматической жизнью художника и делают, независимо от шумного успеха Сотбис и так далее, свое искусство. Но это опять те же самые единицы, которые всегда были. Что касается общего положения, ты абсолютно прав, ситуация 60-х годов и нынешняя радикально отличаются. В

60-е годы быть неофициальным художником было не престижно, экономически невыгодно и просто опасно. Эти художники не расчитывали на бизнес. Многие даже – ты же знаешь – в то время не думали о том, что когда-нибудь они смогут показать свои вещи. Сам процесс творчества не был связан с потенциальной возможностью их показа. Это глубоко переживалось и накладывало, конечно, отпечаток на душевное состояние многих людей, отсюда – многие пили и много было больных людей, потому что это сильно давило на психику. В наше же время быть «авангардистом» – это уже престижно, это выгодно, это не опасно. Вот почему такое огромное количество людей стало заниматься искусством как делом, которое приносит эти привилегии, то есть, быть авангардистом сейчас – это значит находиться в привилегированном слое общества. А поскольку очень различны критерии оценки искусства и в Союзе. и здесь, по-моему, такой большой базар стал. что мало кто понимает, что происходит. Мало хороших критиков. Такая каша получилась. Поэтому каждый, почти каждый, кто имеет какую-то потенцию, энергию, и может это делать, выдвигается и занимает какое-то свое место. Разбираться в этом надо, видимо, потому что есть наверняка и какие-то талантливые люди, но слишком много всего, и разобраться трудно. А при этом буме, который начался после Сотбис, огромное количество разных дилеров, перекупщиков кинулось в Советский Союз покупать советское искусство для выставок на Западе. Большинство из этих перекупщиков очень плохо разбирается в искусстве и поэтому они покупают все подряд. И этим они тоже уничтожают как бы всякие критерии, потому что каждый, кого купили, считает себя уже великим художником. И сейчас как бы все перепуталось.

Я бы хотел сказать об актуальности искусства и тех качествах, которые делают его вечным, скажем так. Каждое произведение искусства, на мой взгляд, содержит в себе многие уровни. Популярностью обычно пользуются произведения, в которых очень активно выражен верхний уровень, уровень актуальности сюжета, актуального воздействия. Этот уровень очень понятен современникам, но он настолько может быть шумен, что он загораживает или заглушает все остальное, что должно быть в произведении. Вещи такого рода имеют успех, похожий на успех футболистов. Когда происходят такие события, как сейчас в Союзе, то произведения, обладающие столь понятным и актуальным сюжетом, легко воспринимаемы и кажутся полным выражением жизни. Но

на самом деле они – временщики. Они живут сегодня активной жизнью, их покупают за большие деньги, о них пишут, – но как только кончится интерес к тем проблемам и процессам, с которыми эти работы связаны, они могут просто исчезнуть. Мне кажется, наше время очень опасно в том смысле, что утеряны критерии оценки качеств, создающих произведению долгую жизнь, – качеств, из-за которых не теряют значения полотна Франческо, Марчелло и т.д. И критики тоже об этом мало пишут. Может быть, об этом трудно писать. Я понимаю, что это является прдметом очень тонкого, глубокого и проницательного анализа, а критиков, способных на такой анализ, мало. Я призвал бы к большой осторожности в оценке произведений, ориентированных на актуальный смысл. Надо всегда помнить, что есть и более глубинные слои. Есть вечный смысл в самом широком плане. Я уверен, что люди, не знающие, кто такой Брежнев или что такое серп и молот, просто не воспринимают произведения, смысл которых сосредоточен на этом. Но есть вещи, понятные всем людям – и тем, которые не знают и никогда не узнают, кто такой Брежнев и что такое серп и молот. Я и сторонник искусства, обладающего такой глубиной, и буду счастлив, если то, что я делаю, каким-то образом в себе это несет. Не мне об этом судить. Но это моя точка зрения на произведения.

Я от общих вопросов хочу перейти к твоему творчеству. Ты сам делишь его на какие-то периоды?

Если и делю, то только для того, чтобы мне как-то систематизировать свое досье. Но по настоящему, по глубинному счету для меня все, что я делаю, является внутренним саморазвитием. Это развитие одной концепции, ну, не в прямом смысле – одной, но это одно течение, одно направление. Мне трудно оценивать то, что я делаю, но мне кажется изнутри, что то, что я делаю – это одно развитие, и что по мере того, как я сам, мое представление о мире усложняется или углубляется, по мере этого происходит то же самое в том, что я делаю.

Ты можешь сказать о твоих идеях в тех работах, которые есть у меня в музее, те работы – вот у тебя цикл офортов был, «Город-маски», скажем, или «Анатомия чувств» и твои большие триптихи той поры – суть того, что ты делал. Не в смысле оценки – это хорошо или плохо – это не тебе судить, но что ты хотел выразить или выражал.

Я, пожалуй, не буду говорить о том, что я хотел выразить, потому что тут я как бы должен предлагать зрителям

уже свою концепцию разглядывания этих вещей. А я могу сказать, о своей концепции вот этого процесса, которым я занимаюсь и который называется в обычном языке искусством, что ли, изобразительным искусством. Главное, что меня всегда интересует в искусстве – это картина как некая концепция мира. Мира в полном его объеме, со всеми его столкновениями, переживаниями, мира и объективного, и субъективного. Человеческого. Каждая картина для меня является некой моделью этого мира, моделью, в которой есть универсум, есть определенное начало различных сил, которые взаимодействуют в этом мире. С этого я начинал. Я пытался создать в абстрактных вещах вот эти модели мира, где сталкиваются различные силы. как часто пишут в музыкальных рецензиях: «в третьей части симфонии силы добра или силы зла побеждают». Вот что-то в этом духе. Не совсем так, конечно, но чтобы было понятно, что я имею в виду. Я, начиная работать, начиная этим заниматься, для себя разработал определенный язык. Этот язык для меня является универсальным. На этом языке я могу разговаривать и выражать тот мир, вернее, то, что я вижу в мире и как я его понимаю. Иногда, возможно, кому-то кажется, что у меня идут очень трудно соединимые направления или тенденции, что вот я делаю абстрактную вещь, а потом вдруг я делаю фигуративную вещь. Как это можно совместить? Помню, ко мне пришел как-то один искусствовед, критик – я уже сейчас не помню – из Франции, кажется, это было лет двадцать тому назад, и увидел мой триптих № 1, который сейчас в музее в Бохуме. И он увидел вещи, которые я потом делал. Он говорил: «Я просто не понимаю. Зачем вы еще делали другие вещи? Я думаю, что, сделав этот триптих, вы могли бы всю жизнь разрабатывать эту тему и делать это до конца жизни». Он как раз и не понял того, что я это, собственно, и делаю. Произведение искусства может иметь разные формы и разную внешность, но внутренняя суть остается. Лишь одежды, в которые я наряжаю эти силы, могут быть разные. Так же, скажем, как человек – его можно изобразить в виде скелета на рентгеновском экране, можно изобразить, окутав его кровеносными сосудами, можно добавить мышечную ткань, можно добавить нервную систему, кожу, а потом можно надеть майку, трусы и так далее. Так вот, то, что я делаю, можно представить в виде то, что, скажем, я могу изобразить человека почти раздетого или совсем раздетого, или одетого – в пиджаке, пальто или шубе. Внутренне это то же самое, но внешне это может принимать различные формы.

Ты мне когда-то, лет четырнадцать назад, говорил о борьбе начал: мужского и женского в космическом пространстве, т.е. в какой-то среде. Собственно, это часть того, чем ты занимаешься и сейчас? То есть – идея та же?

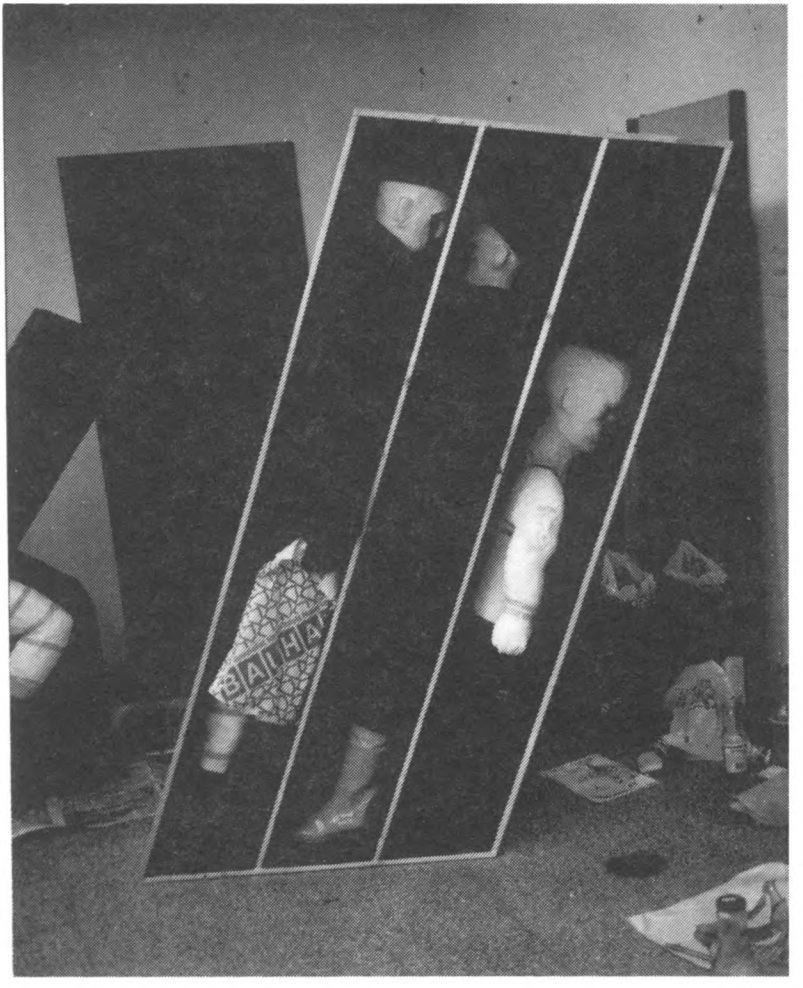
Идея все та же, потому что когда я говорю о борьбе начал и о конфликтах мира, то как бы сублимацией этой борьбы является не борьба, а взаимодействие между мужским и женским началом в мире. Это является основой всего. Она может принимать разные формы, но это основа всего. И это стало концепцией моих больших вещей, где мужское и женское начало и являются этими конфликтными сторонами, которые взаимодействуют через некую среду, которая может конкретизироваться и превращаться иногда в земной пейзаж или в линию горизонта, или в абстрактную композицию – как бы абстрактную композицию, а боковые части триптиха, которые ведут диалог через этот центр, могут быть и почти уже персонифицированными мужчиной и женщиной, но, вообще говоря, я всегда это понимал не как мужчину и женщину, эти два начала, а как два начала в мире, потому что каждый из нас – мужчина он или женщина – несет в себе оба эти начала, в большей или меньшей степени. Иногда бывает мужчина, у которого 80% женского начала, или женщина, у которой 80% мужского начала. Это именно те качества, о которых я говорил. Это основной канон или схема этих больших вещей. Они могут трансформироваться, но внутренняя схема остается. Например, когда я делаю пентаптих или полиптих – может быть еще больше частей, то, как правило, эта центральная связка остается: центр, диалог, два взаимодействующих начала, конфликтных, и, скажем, вход и выход в это произведение, как в «Атомной станции», например, это пентаптих у меня был. Или тот пентаптих, который в коллекции Нортона Доджа, который называется «Адам и Ева», который ты, может быть, видел. Там мужчина и женщина стоят в дверях, со звонками, ты видел на фотографии, стоят как бы в квартирах, с авоськами. Она есть в каталоге.

Эти работы, которые мы сегодня вопроизводим, этот цикл, он тоже продолжение той же концепции, в том же контексте?

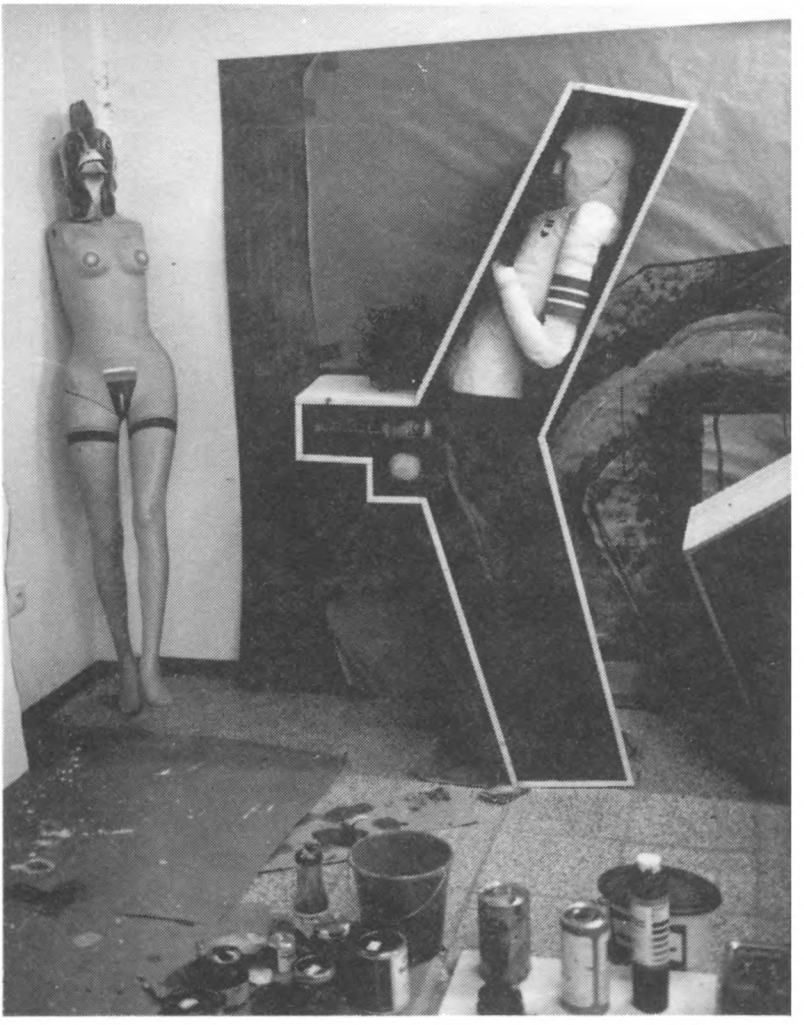
Да. Но дело в том, что когда я говорил об этой концепции, это не значит, что эта концепция выражена в каждом конкретном произведении. Под своим произведением я понимаю все, что я делаю. Я не делю на куски. Это возврат к началу, к твоему первому вопросу. Для меня это единая концепция, потому что в своих вещах и сериях я разрабатываю, как правило, одну из этих тем, которые составля-



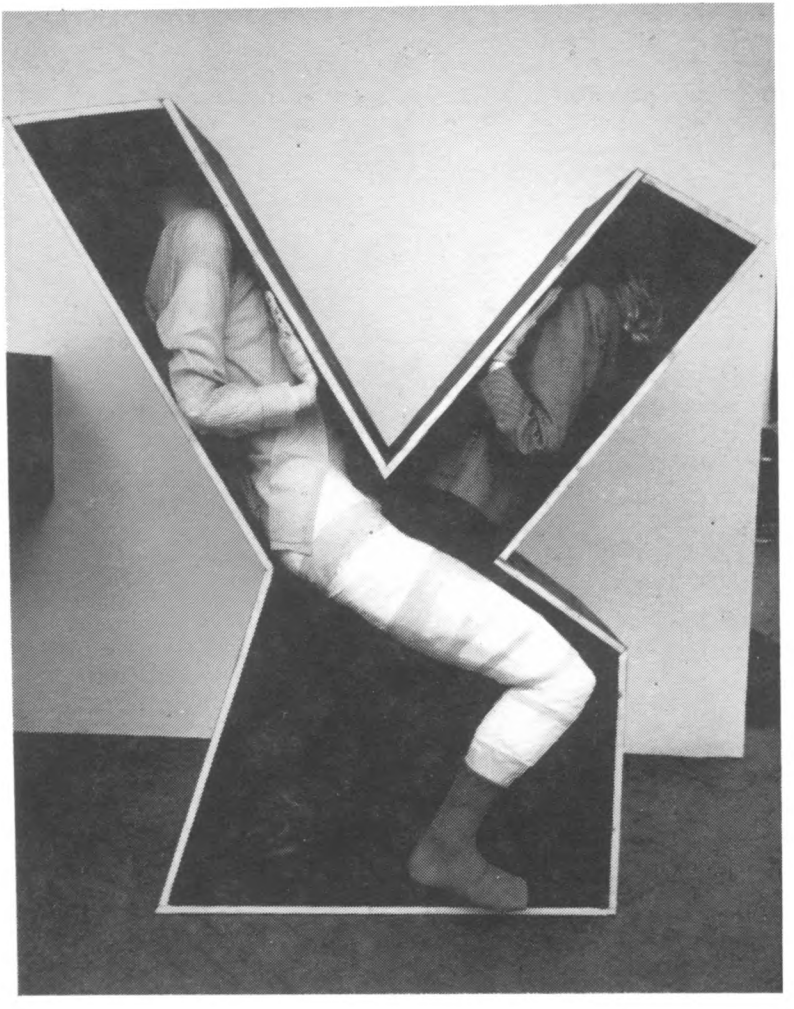
Владимир Янкилевский. Из цикла «Люди в ящиках», 1989.



Владимир Янкилевский. Из цикла «Люди в ящиках», 1989.



Владимир Янкилевский. Из цикла «Люди в ящиках», 1989.



Владимир Янкилевский. Из цикла «Люди в ящиках», 1989.

ют мою концепцию. Я могу разрабатывать отдельно тему мужского начала – это целая серия мужских портретов, пророков; женское начало – это тоже целые серии женских торсов и различных «Женщин у моря» – это большая серия. И центральная часть – конфликт, та часть, через которую идет диалог, это очень большие серии, которые я раньше называл «Борьба сил», вернее, «Пейзаж сил» это называлось, а теперь я называю это «Пространство переживаний» – те серии, которые я делаю в последнее время. Это фактически разработка темы диалога, где в абстрагированной форме идет борьба тех же самых начал. Все последние годы я делал очень много работ на эту тему, сделал большую серию маслом, и очень большую серию пастелей, которые были в Нью-Йорке и в Бохуме на выставке. Так вот, когда речь идет о последних вещах, которые я сделал в Кёльне, вот эти «Люди в ящиках», как я их называю – это и есть разработка одной из этих тем. Предполагается, что каждая из моих тем, которую я делаю отдельно, проецируется на те, другие темы, и в контексте всего творчества видно, какое место это занимает. Так же, как и разработка, скажем этих тем, которые ты упомянул, в сериях-офортах: «Анатомия чувств» и «Город-маски». «Анатомия чувств» – это очень большая серия рисунков и офортов, это огромный цикл, который включает в себя разработку темы – анализ переживаний человека, анализ адекватных переживаний. В отличие от этого, «Город-маски» – это анализ как бы неадекватной реакции человека, и это фактически образ больного общества, необязательно советского, вообще – больного общества, когда название вещи или части тела и ее функции не совпадают. Отсюда и эти руки-ноги, и... ну, ты знаешь, о чем я говорю. Оттуда вышла серия «Мутанты». В этом смысле «Люди в ящиках» являются продолжением и развитием темы «Анатомия чувств», потому что «Анатомия чувств» – это взаимодействие человека и окружающего его мира. Но уже в «Анатомии чувств» есть борьба человека с окружающим пространством и с давлением на него. Если ты помнишь, альбому предшествуют пять листов с текстами, которые являются введением в альбом. В каждом из этих листов дается некий комментарий к тем группам переживаний, которые потом в альбоме разрабатываются. Какие это переживания? Это переживания, прежде всего, интравертные и экстравертные. Переживания человеком самого себя и переживания человеком другого, не обязательно человека. Это могут быть переживания солнца, дерева, какого-то процесса, скажем, космического

излучения. Это соотношение или самоощущение человеком своей головы, своего тела, своих мыслей и своей души. «Люди в ящиках» – развитие и продолжение этой темы, потому что это здесь уже конкретизировано. Человек в ящике – это обычный человек, и каждый из нас, который всю жизнь живет в своем ящике. И у каждого тот ящик, который он как бы приспосабливает для себя, что ли. Форма этого ящика является результатом способности человека противостоять миру, потому что он постоянно испытывает давление – социальное, общественное, всякое другое, и даже личностное, в отношениях с другими людьми. Противостоя этому давлению, он и создает ту форму, которая является границей между ним и этим давлением. Эта граница и есть этот ящик. Вот как бы смысл этих вещей.

Теперь я хочу перейти к твоим ближайшим планам. Вот эта выставка в Бохуме, которая была два года назад, являлась ретроспективной?

Нет, это было год назад, в октябре 1988 года. Сначала в Нью-Йорке, у Нахамкина, а потом, уже в октябре, был Бохум.

Расскажи о своих ближайших планах.

Я хочу сейчас поехать в Нью-Йорк и работать для следующей выставки, которая, видимо, будет весной у Нахамкина. Я хочу продолжить вот эту серию, начатую мною, «Люди в ящиках», и сделать эту серию в комплексе с большими живописными вещами, потому что в экспозиции я себе представляю не отдельными объектами, а объектами, расположенными на фоне линий горизонта, каких-то других живописных влючений. То есть это должно быть очень большое пространство. Мне нужны очень большие стены, метров по двадцать, может быть. В этой же выставке я бы хотел показать и некоторые старые вещи, старые триптихи. Мне кажется, должно произойти замыкание хорошее этих старых вещей и новых. То есть я бы хотел сделать очень большую ретроспективу. То есть такая выставка уже была в Бохуме, но там не было совсем последних вещей. Теперь бы я хотел это сделать. Причем в Бохуме был перевес, в основном, на стороне старых вещей. Из новых вещей там была только графика последнего времени и одна вещь, которую купил Людвиг на выставке в Берне, это триптих «Автопортрет». Это была последняя большая вещь 1987 года. Она была и в Москве уже выставлена на выставке «Объекты». А теперь у Нахамкина я хотел бы показать много новых больших ве-

щей, которые я не мог технически сделать прежде. Они у меня задуманы уже лет пятнадцать назад, но я их не мог реализовать.

Ну что ж, я хочу выразить надежду, что мы еще не раз встретимся до этой весенней выставки и встретимся непосредственно на ней.

Взял интервью Александр Глезер
Париж, 27 сентября 1989 г.



Дмитрий КРАСНОПЕВЦЕВ

ИЗ ЗАПИСОК ХУДОЖНИКА

Как часто, казалось бы выработанные до конца, брошенные рудники скрывают новые залежи, а выброшенная на поверхность порода содержит материал еще более драгоценный, чем тот, что был выбран. Замечание это относится не только к горному делу. Так не бойся думать и говорить о том, о чем уже говорили и думали даже великие люди. Есть вещи, проблемы не только глубокие, но бездонные, и даже опускаясь на ту же глубину, на ту же длину веревки, можно увидеть нечто, чего не видели до тебя. И высказываясь и повторяя на свой лад, вглядываясь в уже известное, тебе вдруг может открыться новая грань, новый поворот, а за ним и невиданная до сих пор долина.

+++

Стандарт существовал всегда, он не был таким всеобъемлющим, таким подавляющим и бездушным как сейчас, но он был.

И всегда существовало желание в человеке уйти от стандарта, была тяга к необычному, оргинальному, чудесному (это почти синонимы). И от дикаря до современного человека – эта тяга – есть желание чуда – невозможного, невиданного – всего того, что могло бы опровергнуть наш опыт, привычку, наши стандартные представления. Вот целый пляж из камней и все разные (природа

творит вручную) и все похожи друг на друга и, вдруг – особенный непохожий, уродец – он привлечет и дикаря, который сделает его амулетом, фетишем, божком, и коллекционера, который поставит его на полку среди других редкостей. На несхожести, редкости, уникальности основано коллекционирование; предпочтение одного перед другим часто по мельчайшим отличиям, видимым только знатоку, а за всем этим глубоко заложенная в нас неприязнь к обычному и жажда чудесного. Повторимое, повторяющееся чудо очень скоро перестало бы быть чудом, его бы узаконили и интерес исчез.

+++

То, что порой приводит нас в восхищение своей живописностью, мягкостью, гармонией – все это очаровательное "сфумато" – есть, зачастую, только работа времени, которое неумолимо переписывает по-своему картины, иконы, фрески, статуи, стены домов и предметы – сглаживает контуры, высветляет и утемняет краски, наносит пятна и потеки, проводит борозды и трещины – методично, не спеша, творит свою гармонию пока не сотрет, наконец, все начисто, как бы недовольное своей работой.

Художник не должен заниматься этой работой, сразу же делать вещи старыми, покрывать их живописной патиной – это сделает за него время и, прежде чем уничтожить совсем его произведение, проведет по многим переходам своей "живописи", покроет не одним слоем лака, проведет от зеленого лета к расцвеченной всеми красками осени, чтобы забелить, наконец, все снегом.

Прошлое – единственное наше достояние. Будущее – неведомо, настоящее – неуловимо. Возникая, оно тут же становится прошедшим. Прошедшим, но не прошлым. Оно еще не устоялось – все сыро, шумно, обременено случайными деталями – это пока только лишь материал, из которого время создаст картины прошлого.

И вот они появляются – одна, другая, третья – портреты, пейзажи, интерьеры, сцены, сложные композиции – оказывается все сохранилось – воздух, свет, краски, лица людей и домов, леса и реки, зимы и весны, дни и ночи – все вплоть до запахов, до очертаний облаков. Но все пришло в порядок, отлилось в устойчивые формы. Картины развешены, вставлены в рамы, покрыты лаком – в них уже ничего не изменишь, не перепишешь – целая галерея картин – наше прошлое.

+++

Глядя на раковины, рассматривая их, я не понимаю, не знаю причин той или иной конструкции, не понимаю назначения и логики всех этих шипов, выступов, впадин, пятен и окраски, но вижу, что это удивительно красиво и гармонично. Так целесообразность неотделима от красоты и можно, не понимая первой, любоваться второй.

+++

Почтительно следовать природе, с восторгом и изумлением, – означает писать под диктовку Бога, повторять за ним некий отрывок из его великой книги. И, когда ты пишешь и говоришь в унисон, веришь, что не ошибся, тебя охватывает радость способного ученика, радость преданного раба, который понял учителя и господина своего, его волю и намерения. Это – растворение и подчинение. Но большая радость дается тем, кто не повторяет, подчас бездумно, учителя и господина, а переводит, трансформирует виденное, выбирает, комбинирует по своему, вступает в спор. Это уже диалог, это почти на равных. Почти. В этом непослушании "бунте", возможно и поражение, как в борьбе Иакова с ангелом.

Но учитель, зачастую, больше любит непокорных, но смелых, пытливых учеников, разрешает и открывает им то, чего никогда не будут знать повторяющие его слово в слово.

+++

Привязанность, быть привязанным – к человеку, дому, вещам – к кому и чему угодно – что это значит? И кто тебя привязал? Я привязался сам, то есть привязал сам себя? Тогда отвяжись и будь свободен. Нет. Я привязан крепко.

И если исчезает предмет, к которому ты привязан, рвется веревка и ты на свободе, то сетуешь на судьбу. Тебе дороги твои цепи и веревки, ты не только боишься их скинуть сам, но и потерять волею судьбы. Дорожишь ты и тем, что к тебе кто-то привязан, что и ты есть столб с веревкой и петлей на конце.

+++

Смешная и глупая забота иных художников – быть современными. Попробовали бы они не быть ими. Даже копии и те всегда современны – т.е. принадлежат тому или иному, одним словом, своему времени.

+++

Произведение искусства имеет возраст, но не знает старости.

+++

Я слышал за собой шаги, я останавливался – звук шагов исчезал. Я оглядывался и никого за собой не видел. Шел дальше и опять слышал шаги за спиной – это был звук моих шагов, это я шел за собой.

+++

Бесформенное – что это значит, что это такое?

+++

Картина тоже есть автограф, только более сложный, пространный, многослойный. И если по автографу, по почерку определяют (и не безуспешно) характер, состояние и чуть ли не болезни писавшего, если этой дешифровкой не пренебрегают даже криминалисты, то картина дает несравнено больше материала для догадок и заключений о личности автора.

Давно замечено, что портрет, написанный художником – есть одновременно и его автопортрет, – это простирается и дальше – на любые композиции, пейзажи, натюрморты, на любые жанры, а также и на беспредметное, абстрактное искусство, на все, чтобы ни изображал художник. И при любой его объективности, бесстрастии, при желании уйти от самого себя, стать безличным – ему не удается скрыться, его творение, его почерк выдаст его душу, его ум, сердце его лицо.

+++

Хваля другого, невольно хвалишь себя, особенно, если этот другой достоин похвал. Ты как бы утверждаешь, что все то хорошее, доброе, а то и великое – тебе близко, доступно, что ты можешь его ценить и понимать. То же и с осуждением. Ругая другого, ты тоже хвалишь себя, давая понять, что в тебе самом этих грехов, которые ты осуждаешь – нет.

+++

Не кровные родственные связи, а лишь родство душ порождает подлинные родственные чувства.

+++

В начале замечательного романа Стивенсона "Остров сокровищ" появляется и живет некто Билли Бонс. Отставной пират, грубиян, пьяница, наверняка убийца. Но в его походном сундуке, как выясняется после его смерти, среди денег, одежды, пистолетов, морских приборов, табака и заветной карты острова, находят несколько "причудливых раковин из Вест-Индии". Молодой человек, главный герой романа – недоумевает, – зачем этому разбойнику такие неподходящие вещи, как раковины?

Что все так и было, как написано в романе, сомневаться не приходится – писатели такого высокого полета, как Стивенсон, не ошибаются, жизнь может ошибиться, они нет, – они точнее, у них меньше случайного.

Так вот – пират, пьяница, негодяй и красота – вечная, понятная и непонятная красота.

+++

Как-то я задумал купить скрипку, не для игры, а чтобы ее рисовать.

Она могла быть с дефектами, почти сломанная, без струн – лишь бы была красивая формой. Но все красивые, на мой взгляд, скрипки оказались очень дороги, а некрасивые мне не нужны. Позже я узнал от музыкантов-скрипачей, что у красивых с виду скрипок и бывает настоящий красивый голос, а некрасивую можно и не пробовать – в ней нет звука и души.

+++

Порядок и чистота! – Но если невозможно соблюсти эти условия красоты – то порядок препочтительней. Порядок – это композиция, из порядка произошли все искусства, произошло все.

+++

Стены мастерской от пола до потолка увешены этюдами, прибитыми длинными торчащими гвоздями – очень похоже на коллекцию причудливых и ярких бабочек.

+++

Высокие деревья, высокая трава, цветы – все свежее, первозданное; уединенно, тихо, красиво, но в двух шагах от меня, в маленькой лужице плавает скомканная, размокшая газета.

+++

Если "чужая душа – потемки", как часто говорят, то что же сказать о своей душе? "Я знаю все, но только не себя", – писал Вийон. Чужая душа видней, несмотря на потемки – есть обозрение, отход, а к познанию себя отхода нет.

Завет древних – "познай самого себя" – неимоверно труден, почти неисполним. Сразу же начинаются бесконечные сделки с совестью, умом, со своими недостатками, и мы превращаемся в блистательных адвокатов, защищающих все то, что подлежит осуждению, допускаем всяческие скидки, и, уж если совесть и беспристрастие начинают побеждать, то просим о снисхождении, о помиловании – учитывая и принимая во внимание то, что не заслуживает внимания.

Когда же мы судим чужую душу, то роль прокурора, обвинителя удется нам еще лучше, чем роль адвоката.

+++

Картина – остров, независимый остров – государство, живущее по своим законам, под своим флагом.

+++

Трудно, невозможно не видеть главные черты нашего времени, не замечать этот безудержный технический "прогресс" – порождающий неисчислимые беды, ускользающий из-под контроля разума и все предполагаемое добро превращающий в зло.

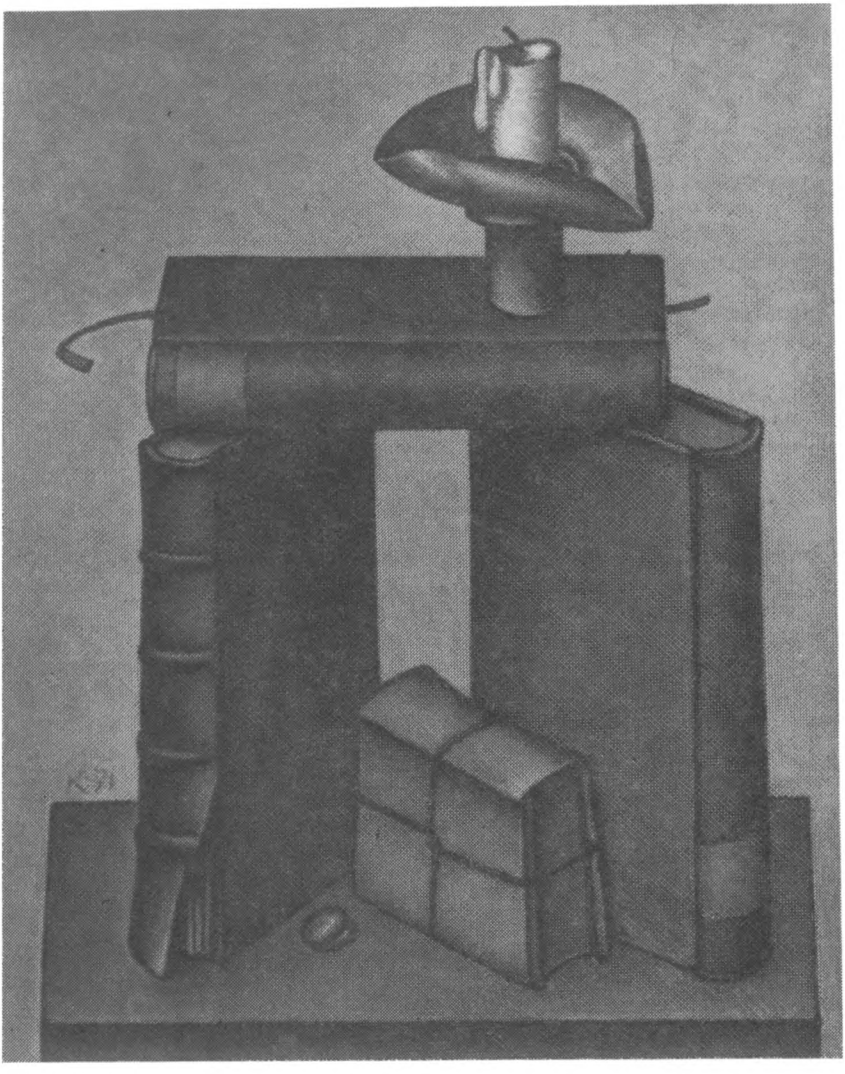
Бесконечные научные открытия и изобретения, рождаемые присущими человеку любопытством и пытливостью, при их реализации, тут же оборачиваются и становятся злом, и пагубой, и меру этого зла невозможно предвидеть.

Непомерно растущее количество людей, живущих без смысла, без веры, мешающих, портящих жизнь себе и себе подобным, производящим ненужные, бессмысленные и вредные вещи, бездумно, безжалостно потребляющие и вытаптывающие созданное до них и саму природу и уже готовые истребить себя и все вокруг.

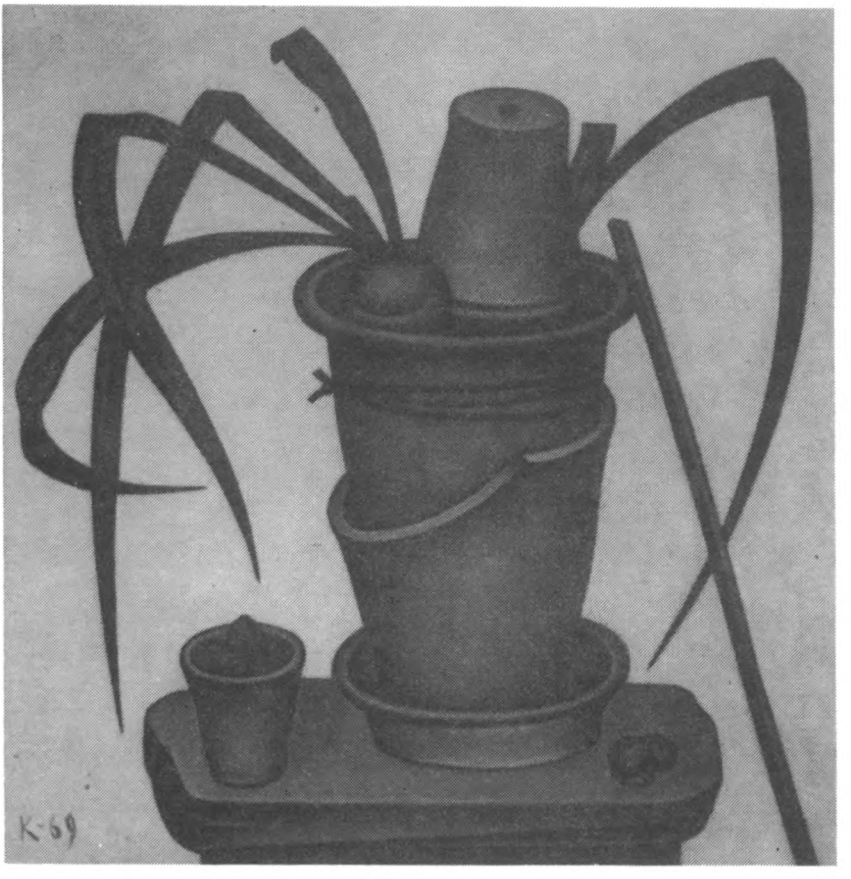
Немыслимые скорости, неравновесие, непостоянство, спешка, грязь и отрава всему и бесконечный, неутихающий, отупляющий шум. Все это растет, ширится и ползет по лицу земли – проказа "прогресса".

Многие, большинство людей, уже не могут жить вне этой одуряющей их сутолоки, спешки и шума. Они не переносят тишину, отсутствие себе подобных, не могут жить без постоянного звука радио, оглушающей "музыки", газет, мелькания телевизора, телефонных звонков, и даже отправляясь на прогулку в лес или на берег моря берут с собой портативные орущие коробки, их страшат и гнетут паузы в привычном, постоянном шуме. Они не замечают, что заражены, больны страшной болезнью, у которой нет пока имени. Но есть и другие люди, невольно втянутые в этот бешеный круговорот, они задыхаются, стремятся из него вырваться, хотя б ненадолго, чтобы иметь возможность перевести дух, осмотреться, побыть в тишине, одиночестве, сосредоточиться – увидеть небо над головой, не расчерченное проводами, звезды, как великое чудо, а не предмет космических исследований, чистую воду в чистых берегах, цветы, деревья, травы. Они стремятся, чтобы в них родилось чувство, родственное тому, какое испытывает человек, попавший из шумной людской толпы в полупустой, прохладный, величественный храм.

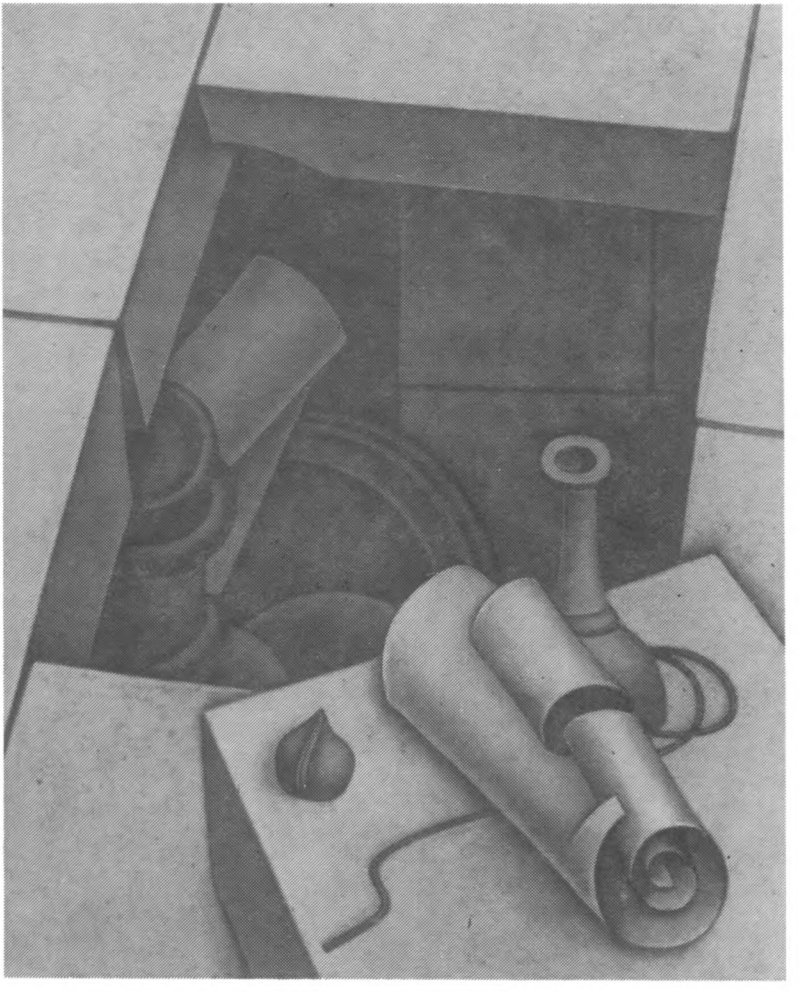
И мне кажется, нет я в этом уверен, что искусство нашего времени, в силу необходимого и желанного контраста, как никогда прежде, требует тишины. Величавое, строгое, уравновешенное оно должно пробуждать в нас чувство покоя, порядка, постоянства и прочности – всего того, чего лишены мы в этой безумной, уродующей души, повседневности.



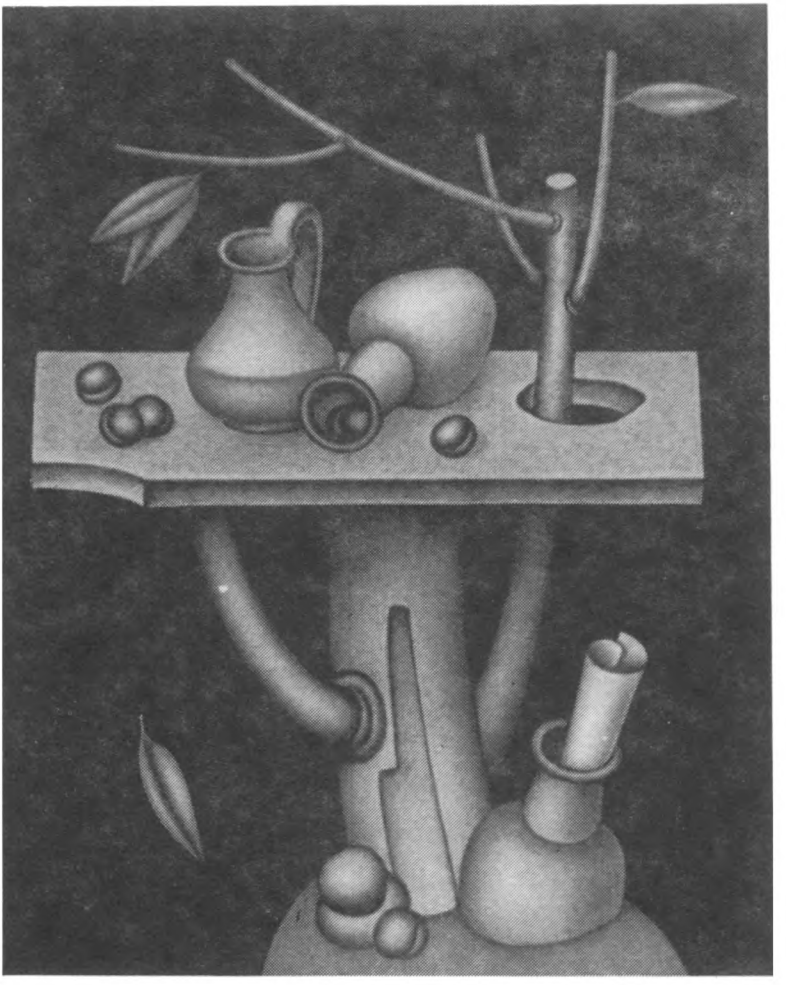
Дмитрий Краснопевцев. «Натюрморт с книгами и свечой», картон/масло, 1971.



Дмитрий Краснопевцев. «Натюрморт с кувшинами», картон/масло, 1969.



Дмитрий Краснопевцев. «Московский натюрморт», картон/масло, 1967.



Дмитрий Краснопевцев. «Натюрморт с кувшинами и ракушками», картон/масло, 1971.



Вадим КРЕЙД

ЗАГАДКА СМЕРТИ ГУМИЛЕВА

ЧИСЛО РАССТРЕЛЯННЫХ

Список казненных по Таганцевскому делу был напечатан в петроградских газетах 1 сентября 1921 г. С тех пор о Таганцевском заговоре известного главным образом потому, что среди погибших числился один из лучших русских поэтов – Николай Степанович Гумилёв. К столетию со дня рождения его имя реабилитировали, стихи стали печатать в советских журналах. Более того, "Огонёк" опубликовал "Африканский дневник", пролежавший под спудом все семьдетят лет советского режима. В другом журнале появилась пьеса Гумилёва "Охота на носорога", также ранее не печатавшаяся. Журнал "Вопросы литературы" напечатал большую статью о поэте, первую подробную публикацию о его творчестве за шестьдесят с лишним лет. К этому можно добавить статью Евтушенко в "Литературной газете", стихи и портрет Гумилёва в "Литературной России" и многое другое. Словом, о Гумилёве заговорили – но не о Таганцевском деле.

Вместе с Гумилёвым было расстреляно ещё 60 человек – и это только по официальным данным. Среди них были люди, внесшие вклад в науку и в искусство. Вспомним хотя бы имя талантливого скульптора князя Ухтомского. Ни один из участников заговора до сих пор не реабилитирован. Надежд на реабилитацию также нет. Ведь и Гумилёв по советским понятиям остается виновным. Стихи же печатаются потому, что в них не найдено ни одной строки антисоветского содержания.

Найти какие-нибудь антисоветские строки было много любителей. Ещё летом 1921 г. петроградская чека поручила молодому литературоведу Осипу Брику прочитать произведения Гумилёва под этим углом зрения. Нашёл ли что-нибудь "достойное внимания" этот приятель Маяковского, нам неизвестно. Во всяком случае, в обвинении Гумилёва его стихи не упоминаются. Евтушенко, ратовавший за реабилитацию замученного и расстрелянного поэта, также напирал на отсутствие в его наследии антисоветчины. Но в этом утверждении — только лишь полуправда. Гумилёв не писал антисоветских стихов вовсе не из осторожности. Советская реальность понималась им как антидуховная и антипоэтическая, не заслуживающая внимания истинного художника.

Публикация обвинений и списка расстрелянных по Таганцевскому делу отнюдь не была проявлением гласности — хотя бы той строго дозированной, которая наступила в начале НЭПа. И раньше списки жертв красного террора появлялись в "Известиях" и других газетах. Целью таких публикаций всегда было нагнетение страха. Сама пресса превратилась в инструмент террора. Отчёт в "Петроградской правде" от 1 сентября 1921 г. нацелен был на вымиравшую, дышавшую на ладан петроградскую интеллигенцию. Смехотворность обвинений имела в виду именно запугивание. Например, упомянутый С. А. Ухтомский, 35-летний скульптор и сотрудник Русского музея, обвинялся в том, что он готовил для передачи за границу... сведения о музейном деле в "стране советов". В сообщении ВЧК, расклеенном на каждом людном петроградском углу 1 сентября, Ухтомский ни в чём другом не обвинялся. Обвинение было гомерически смехотворным. Никакого "музейного дела" в красном Петрограде в те тифозные., вшивые, голодные годы не существовало. Но был расчёт: чем идиотичнее обвинение, тем смертельнее ужас и тем сильнее парализует он население и его способность сопротивляться.

Вызывает сомнение сама цифра расстрелянных по Таганцевскому делу. До сих пор эта цифра (61 человек) повторяется сотни раз на разных языках, т. е. практически всегда, когда речь идет либо о смерти Гумилёва, либо о кровавых подвигах чека на гребне её могущества в 1921 г. В составе органов насчитывалось тогда около четверти миллиона. Вся эта масса нахлебников стремилась демонстрировать деятельность, оправдывающую сам факт существования чека. Цифра 61 показалась бы Москве слишком несерьёзной. Железный Феликс привык к другой арифметике. Как-то во время заседания Ленин передал ему записку: Феликс Эдмундович, сколько у вас контрреволюционеров в тюрьмах? — Полторы тысячи, — написал на той же записке Дзержинский. Рядом с цифрой Ленин поставил крест и вернул записку. Дзержинский встал и вышел. Полторы тысячи были расстреляны. Однажды, напившись на новогоднем балу в Кремле, Дзержинский умолял присутствовавших и самого Ленина застрелить его тут же на месте: слишком много на нём крови, и не может он, дескать, продолжать жить. Но к 1921 г. железный Феликс стал ещё железнее. Подобных "эксцессов" за ним уже не наблюдалось. Захваченный однажды левыми эсэрами, вскоре он был отпущен и никогда не мог понять, почему они его не пристрелили. Понятие о сколько-нибудь благородном движении человеческого духа ему было решительно чуждо.

Итак, цифра 61 была для внешнего потребления. Есть все основания считать, что убитых по Таганцевскому делу было во много раз больше. Летом 1921 г. иностранные телеграфные агентства сообщили о массовых арестах в Петрограде. В некоторых сообщениях количество арестованных исчислялось в шестьсот душ. Из этого числа две трети были офицеры Балтийского флота. Приведём телеграмму агентства Гавас от 7 сентября: "Вследствие сильного увеличения красного террора — в Петрограде, Киеве, Одессе среди населения царит паническое настроение. Подтверждаются сведения о массовых расстрелах, явившихся следствием

раскрытия антисоветского заговора. Среди главных организаторов находился профессор Таганцев, расстрелянный одновременно с 60-ю другими руководителями, в числе которых находился князь Туманов и несколько советских чиновников".

Как видим, первоначально чека предполагала выдать расстрелянных за руководителей. Коли заговор имеет так много вождей, то сколь же велико число простых участников! Именно такою "логикой" руководствовались главнейшие питерские чекисты, вроде Агранова — главного следователя по Таганцевскому делу..

Примечательно, что расстрел 61 человека множество раз в советской прессе назван был "ликвидацией заговора". Но почему же и после ликвидации массовый террор, напоминающий по своему размаху геноцид, не только не прекратился, но, напротив, значительно возрос? О масштабах террора сохранилось много свидетельств. В телеграмме от 16 сентября, напечатанной в зарубежных газетах, говорилось: "Повальные аресты идут вторую неделю. Кресты (тюрьма в Петрограде) и дом предварительного заключения переполнены. Заключенных содержат в казармах. Говорят, что число расстрелянных доходит до шестисот душ". В номере от 20 сентября 1921 г. парижские "Последние новости" со ссылкой на финляндские газеты сообщили, что в действительности по делу Таганцева расстреляно не шестьдесят один, а триста пятьдесят человек.

ВОЛОДЯ-БОЛТУНИШКА И НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ

Кто же был Владимир Николаевич Таганцев и почему именно он оказался во главе такого "грандиозного" заговора, за участие в котором сотни человек поплатились жизнью?

Таганцев был приват-доцент петроградского университета. Специальностью его была география. Известен он был не столько своими собственными научными достижениями, сколько благодаря заслугам своего отца, выдающегося юриста с международным авторитетом. О нём должно быть сказано несколько слов, прежде чем говорить о его ничем не выдающемся сыне — "Володе-болтушке", как его называли за глаза знавшие его близко люди. Старший Таганцев был наставником нескольких поколений русских юристов. Он был составителем "Уголовного уложения", которым руководствовался во всех своих разбирательствах русский дореволюционный суд. Другие его работы также считались наиболее авторитетными в русской криминалистике. Труды Таганцева изучал Ленин, сдавая экзамены на юриста. Важно это заметить, ибо старик Таганцев, принципиальный противник смертной казни, избавивший от виселицы многих революционеров, обратился к Ленину с просьбой о помиловании сына. Словом, читая телеграмму, подписанную именем бывшего сенатора Таганцева Николая Степановича, Ленин должен был вспомнить очень многое — и, видимо, много такого, что не посмел бы, кажется, отказать в просьбе старику-профессору.

Когда начались столыпинские военно-полевые суды, это был именно Таганцев, кто выступил против расправы над революционерами. И не потому, что он симпатизировал этим убийцам во имя идеи. Симпатизирующих защитников и без Таганцева было хоть пруд пруди. Но колоссальный международный авторитет Таганцева делал его слово особенно весомым и осмысленным. Даже когда ему передали, что царь недоволен вмешательством в дело о смертных приговорах революционерам, Таганцев ответил, что он не может говорить царю иное, чем он говорит своим студентам в Петербургском университете. Среди студентов же он был известен как принципиальный и последовательный противник смертной казни.

После октябрьского переворота, о котором Ленин как-то сказал, что сделать это было так же просто, как поднять перышко с пола, Таганцев, несмотря на свой авторитет даже среди большевиков, жил в бедственном положении. Близко знавший его известный юрист М. Л. Гольдштейн вспоминал о нём: "И Таганцев стал жить среди неописуемых бедствий. Восьмидесятилетний старец, он бегал в стужу и мороз на Бассейную в Дом литераторов за похлёбкой и чёрным хлебом. Английский писатель Уэллс посетил Дом ученых. Фигура и лицо одного старца остановила на себе его внимание, и он спросил: кто это? Старец в ответ на это заговорил с Уэллсом на безукоризненном английском языке".

Эта встреча сочувствующего большевикам Герберта Уэллса с Таганцевым стала известна английским журналистам. Из британской периодики сведения были подхвачены и американской прессой. Как-то, листая американский "Литерари Дайджест" за 1921 г., я нашёл статью о положении ученых в советской России. Над статьей помещены три фотографии — три сымих выдающихся с американской точки зрения русских ученых того времени. На первом месте — фотография Таганцева, на втором — геолога Карпинского и на третьем — академика Павлова.

Когда сын Таганцева — Владимир, географ, приват-доцент, был арестован чекистами 5 июня 1921 г., старик Таганцев со всей своей ясной логикой, изумлявшей близко знавших его людей, не мог предвидеть столь трагического исхода.. И действительно, в начале речь шла лишь о возможности двухлетнего заключения. Его виновность ни в чём не была доказана. В виду всех этих обстоятельств старшему Таганцеву даже в голову не приходило послать телеграмму Ленину. Двухлетний срок в красном Петрограде всем казался детским, даже апостолу судебной справедливости криминалисту Таганцеву.

Но уже вскоре стало известно, что петроградская чека начала раздувать это дело, и тогда Таганцев послал телеграмму Ленину. Юрист по образованию, Ленин не мог не ответить — и ответил весьма обнадёживающим образом. Но пока шла из Москвы в Петроград теллеграмма, кто-то по поручению Ленина отправил в петроградскую чека телефонограмму, поощряющую самую жестокую расправу над молодым Таганцевым. Ленин пытался сохранить видимость благородства при скверной игре. Все обставлено было так, чтобы показать доброе сердце вождя мирового пролетариата, но увы и ах, его вмешательство, т. е. телеграмма, опоздала, придя в Петроград, когда уже всё было кончено. Старик Таганцев был убит горем. Он голодал. Известно, что он обратился в Дом литераторов с просьбой о выдаче ему "мешка и стакана". Видимо, даже таких вещей не осталось в его доме.

Этот борец против смертной казни умер в начале 1923 г., года на полтора пережив своего казненного сына.

Теперь о Владимире Таганцеве. В начале лета 1918 г. возникла антибольшевистская организация, известная под названием Национальный центр. Во время гражданской войны Национальный центр поддерживал связи с армиями Колчака, Деникина и Юденича. Есть сведения, что В. Таганцев был вовлечён в деятельность этого центра в 1919 г., по всей видимости, в тот период, когда Юденич подошёл вплотную к Петрограду, и петроградский диктатор Зиновьев, охваченный паникой, уже был готов бежать из осаждённого города. Все жители Петрограда, кроме большевиков, ждали часа своего освобождения. Вероятно, в этой атмосфере В. Таганцев разговаривал с кем-то из членов Национального центра, и контакт его ограничился разговорами вроде того, что же именно предстоит сделать, когда большевики сбегут из Петрограда.

Осенью 1919 г. последовали массовые аресты. Было арестовано гораздо более тысячи человек. Таганцев остался на свободе и, по-видимому, ни в чём не был заподозрен, не считая того факта, что всякий, кто был человеком интеллигентным и

имел несчастье жить в Петрограде в это время, находился на подозрении у властей.

Позднее говорили, что Таганцева погубила какая-то крупная сумма денег, хранившаяся у него. Возможно, при разгроме Национального центра кто-то из членов этой неудачливой организации передал деньги на хранение В. Таганцеву. При этом его кандидатура была выбрана потому, что Таганцев фактически не был замешан в деятельность Национального центра. Нашли деньги не сразу, хотя в связи с прокатившейся в Петрограде в начале 1921 г. волной забастовок и восставшим в марте Кронштадтом начались повальные обыски. Чекисты с помощью двадцати тысяч петроградских рабочих ходили от двери к двери во всех районах города главным образом в поисках оружия. Был обыск и у Таганцева.

Во время Кронштадтского восстания Гумилёва уже что-то связывало с Таганцевым. Из воспоминаний И. Одоевцевой известно, что в марте 1921 г. Гумилёв заходил на конспиративную квартиру за револьвером. Когда Гумилёв познакомился с Таганцевым — в точности не известно. Однако сам факт этого знакомства не является неожиданным. Еще в 1913 г. по командировке Российской академии наук Гумилёв ездил в Абиссинию. С тех пор и завязались его знакомства в научных кругах, связанных с географическими и этнографическими исследованиями. Вспоминая о начале 1913 г., о времени бесконечных хлопот по устройству командировки на Сомалийский полуостров, Гумилёв писал в "Африканском дневнике" о своих встречах в академических кругах: "...Я много бывал и на внутренних лестницах и в просторных, заставленных ещё не разобранными коллекциями кабинетах, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой.. Я встречал ученых, точно только что соскочивших со страниц романа Жюль Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и коцидах, и таких, чья мечта — добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в Центральной Африке, и таких, что подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде прием, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью. Принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными".

Гумилёв и Вл. Таганцев были сверстники, и тот и другой учились в Петербургском университете. Гумилёв так и не окончил университетского курса, Таганцев стал университетским преподавателем. И тот и другой считали географию самой поэтической наукой. Но и помимо этого взгляда, многое другое могло соединить этих двух в сущности очень разных людей: и общие знакомые, и университет, и интересы, частично совпадавшие, и, наконец, политические взгляды.

Современники писали в своих воспоминаниях, что Гумилёв вовлёк в заговор именно Таганцева. Но действительно ли существовал заговор в той степени, в какой Таганцев изобразил всё дело Гумилёву, не говоря уже о том масштабе, о котором сказано было в сообщении чека, опубликованном для всеобщего устрашения 1 сентября 1921 г.? Таганцев, по-видимому, изобразил Гумилёву дело таким образом, что уже существует разветвленная организация, состоящая из пятерок. Об этих пятёрках писал, в частности, и Георгий Иванов, особенно хорошо знавший Гумилёва, и жена Иванова, поэтесса И. Одоевцева (впрочем, в одном своём интервью в 1983 г. она говорила не о пятёрках, а о восьмёрках). Писали о пятёрках и другие авторы. Таганцев мог сказать Гумилёву, что руководителей пятёрок знает только он. Он же, должно быть, назначил Гумилёва руководителем несуществующей пятёрки с предложением завербовать для её осуществления четырёх человек, где Гумилёв был бы пятым. Гумилёв со всем своим прямодушием принялся за осуществление этого плана, будучи уверенным, что организация уже существует. В частности, он предложил войти в свою пятёрку Георгию Иванову. То же самое он

предложил профессору Б. П. Сильверсвану, вместе с Гумилёвым работавшим в издательстве "Всемирная литература". В отличие от Георгия Иванова, он дал согласие. В своём письме Амфитеатрову он вспоминал об обстоятельствах дела: "Он сообщил мне тогда, что организация состоит из пятёрок, членов каждой пятёрки знает только её глава, а эти главы пятёрок известны только одному Таганцеву. Вследствие летних арестов в этих пятёрках оказались пробелы, и Гумилёв стремился к их заполнению. Он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленны и захватывают влиятельные круги красной армии. Он был очень конспиративен и взял с меня честное слово, что я о его предложении не скажу никому, даже жене и матери (это я исполнил)".

Разговор с Гумилёвым имел место уже после ареста В. Таганцева. Впрочем, есть и более точные даты. Таганцев был арестован 5 июня, а разговор с Сильверсваном произошёл, как тот писал Амфитеатрову, за несколько дней до ареста Николая Степановича, очевидно, в конце июля. Именно тогда же, в конце июля, Гумилёв предложил вступить в организацию и Г. Иванову. Это совпадение в датах совершенно не случайно. Заговор большей частью существовал лишь в головах нескольких людей. Гумилёв как человек дела хотел форсировать события. Сам же он о заговоре знал лишь немногим больше, чем мог рассказать Сильверсвану или Г. Иванову. Последнему он сказал, что о нём самом как об участнике заговора знают только два человека, и он им верит как самому себе. На самом же деле, о конспиративной деятельности Гумилёва, к этому времени знали, кроме Таганцева, гораздо больше людей: Одоевцева, Г. Иванов, Сильверсван, по-видимому, ещё кое-кто из петроградских литераторов, а также все, кому следовало знать в Петроградской чека, начиная от главного следователя таганцевского дела Агранова и кончая провокатором, специально приставленным к Гумилёву.

ГОЛУБЬ, КОТОРЫЙ БЫЛ ЯСТРЕБОМ

Впрочем, был ещё один человек, который знал об участиии Гумилёва в так называемой Петроградской боевой организации, Это был Юрий Павлович Герман, молодой человек лет двадцати семи, выпускник петербургского кадетского корпуса, участник войны с 1914 г. и человек замечательной храбрости. В Петрограде он проживал под фамилией Голубь, надолго исчезал и вдруг снова появлялся, встречаясь в самых разных местах с многочисленными знакомыми. О нём довольно открыто говорили, что он знает, где перейти границу в Финляндию, сам неоднократно переходил, и повторялось, что человек он действительно отважный. Из всех людей, фигурировавших в таганцевском деле, он был единственным, кто мог бы возглавить антибольшевистский заговор. У него были связи с финской секретной службой, а главное, в отличие от многословного романтика Таганцева, Герман был человек дела.

Однажды в Доме литераторов на Бассейной улице сидели несколько человек за морковным чаем и с увлечением обсуждали разные способы перехода границы. Разговор этот был главным образом "литературный", отважиться на переход границы никто из его участников не намеревался. "Да, предатели, кругом предатели, – вздохнула сухая, придурковатого вида старушка в зеленой вязаной кофте – в недавнем прошлом кавалерственная дама. – Ну зачем же все, – возразил ей знаменитый адвокат. – Не все. Вот хотите бежать за границу – бегите с Голубем. Голубь не предаст. – Кто такой Голубь? – заинтересовался сидевший рядом Гумилёв".

При этих вот обстоятельствах, по словам Георгия Иванова, Гумилёв впервые услышал о существовании Голубя–Германа. Впрочем, Голубь был охарактери-

зован Гумилёву отнюдь не в качестве политического деятеля, но просто как контрабандист. Знаменитый адвокат сдержал своё слово и рассказал о Гумилёве Герману. И тот в феврале или в начале марта 1921 г. постучался в дверь к Гумилёву, в его квартиру на Преображенской улице, дом пять. Он явился прямо из Финляндии. Разговор был долгий, у Гумилёва Герман остался ночевать. Гумилёв любил решительных людей. Этот же человек был воплощение решимости, основанной, как это ни парадоксально, не на позитивном чувстве, не на вере, а на предельном разочаровании во всём, во что когда-то он глубоко верил.

О своих разговорах с Гумилёвым он рассказал Георгию Иванову: "Веришь ли ты, что будет когда-нибудь другое время? Я не верю... Друг твой Гумилёв, писатель, — верит. Мы с ним часто встречались, так, по одному делу, и много говорили. Он умный человек, но рассуждает, как ребёнок. Ну, романтик — всё равно. Правда, честь, Бог, прогресс, разум. Это как когда начинали войну, скакала конная гвардия в атаку — палаши наголо, в белых перчатках... Что-то в мире сломалось и исправить нельзя. Веры нет... Вот я контрреволюционер, за контрреволюцию рискую десять раз в день головой, за неё, вероятно, и погибну. Что же думаешь ты — я в контрреволюцию верю? Не больше, чем они в революцию. И все-таки они победят".

Вера Гумилёва в заговор и даже в возможный его успех покоилась отнюдь не на встречах с молодым Таганцевым. Тот был по духу своему вполне обыватель, хотя и человек ученый. Вера Гумилёва, кроме благородного идеализма, присущего его личности, основывалась на встречах с Германом, хотя тот откровенно говорил Гумилёву об обречённости их усилий. Его храбрость не могла не произвести впечатление на поэта, для которого мужественная устремлённость к цели была пафосом творчества. Герман имел избыток этой мужественности и случалось, что без нужды рисковал своей жизнью — точно так же, как и сам Гумилёв. Гумилёв вообще неоднократно ставил жизнь на карту. Его племянник Николай Сверчков, с которым Гумилёв совершил своё последнее африканское путешествие, рассказывал о своём дядюшке случаи один другого фантастичнее. Однажды караван Гумилёва подошёл к реке Узби. Переправа была устроена очень примитивная. Между двумя деревьями на противоположных берегах был протянут канат, на нём висела корзина. Путник садился в корзину, и, перебирая руками, двигался вместе с корзиной к противоположному берегу. "Заметив, что деревья подгнили и корни расшатались, — рассказывал Н. Сверчков, — он начал раскачивать корзину, рискуя ежеминутно упасть в реку, кишащую крокодилами. Действительно, едва они вылезли из корзины, как одно дерево упало и канат оборвался". Другой раз Гумилёв встретил шейха Гуссейна. Здесь для испытания греховности человека служили два больших камня, оставлявшие между собой какой-то узкий проход, вроде щели. Надо было раздеться и пролезть в эту щель. Если человек застревал, никто не имел право прийти на помощь. Кругом валялись человеческие кости. Спутник Гумилёва горячо отговаривал его, но без успеха. Тот все-таки настоял на своём и решился на безрассудный поступок. Всё кончилось благополучно. Сверчков подождал, пока Гумилёв оделся и немедленно увёл караван, чтобы не дать дядюшке времени "выдумать еще какой-нибудь опыт".

Примерно таким же образом случалось развлекаться и Ю. Герману. Как-то он вошел в здание чека, прикурил у одного следователя, поговорил с другим, затем вышёл через главные ворота, протянул часовому поддельный пропуск — и всё это в то время, когда голова его была дорого оценена, и за ним шла настоящая охота.

В 1921 г. при переходе финской границы он был неожиданно окружён. Чекисты получили задание захватить его живьём во что бы то ни стало. Герман отстреливался, уложил одиннадцать чекистов и сам был убит. Его имя упоминалось в

качестве одного из руководителей ПБО в постановлении Петроградской губернской чрезвычайной комиссии, напечатанном в "Петроградской правде" 1 сентября, в котором перечислялись расстрелянные по таганцевскому делу, в том числе и Гумилёв. О Германе говорится как о бывшем офицере, одном из трёх руководителей ПБО, оказавшем вооруженное сопротивление при аресте на финляндской границе. Был ли Герман действительно руководителем ПБО или его имя было прибавлено в чекистском постановлении к списку расстрелянных для того, чтобы таганцевское дело прозвучало сколько-нибудь серьёзнее, значительней, весомей? Точной датой смерти Германа мы не располагаем. Г. Иванов писал, что убит он был зимой 1921 г. Но это явная ошибка мемуариста, поскольку Иванов встретил Германа в Петербурге во время Кронштадтского восстания, т. е. в марте 1921 г.

По всей видимости, Герман заронил в Гумилёве мысль о побеге на Запад. Своими планами о побеге или эмиграции Гумилёв неоднократно делился со знакомыми. Андрей Левинсон, возглавлявший вместе с Гумилёвым в издательстве "Всемирная литература" отдел французских переводов, писал в 1922 г. в парижских "Последних новостях": "Тянулся к нам в эмиграцию и Гумилёв, но не успел". Писатель Немирович-Данченко вспоминал о своих разговорах с Гумилёвым незадолго до его смерти: "Я хотел уходить через Финляндию, он через Латвию. Мы помирились на эстонской границе. Наш маршрут был на Гдов, Чудское озеро. В прибрежных сёлах он знал рыбаков, которые за переброс нас на ту сторону взяли бы недорого. Ведь денег у нас обоих было мало..."

Даже более примечательно одно из признаний Гумилёва в передаче Немировича-Данченко – признание, целиком противоречащее тому, что говорил Юрий Герман Георгию Иванову: "На переворот в самой России никакой надежды", – говорил Гумилёв. "Все усилия тех, кто любит её и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-границы спасение тоже не придёт. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, – бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нём предупреждена. И готовиться к нему глупо. Всё это вода на их мельницу".

Возможно, это и не совсем противоречие. Разговор с Немировичем-Данченко происходил, должно быть, в 1920 г. Позднее мысль о какой-нибудь освободительной деятельности стала казаться Гумилёву более реалистической – не исключено, что это случилось в итоге разговоров с Таганцевым.

В пользу этого, на самом деле, менее реалистического, но более оптимистического взгляда Гумилёва, говорили другие мемуаристы, знавшие Гумилёва и дольше и лучше, чем Немирович-Данченко. Но порой встречаются и воспоминания тех, с кем у Гумилёва было, так сказать, шапочное знакомство. Поскольку доступные материалы о таганцевском деле скудны, то мы не можем игнорировать даже воспоминания этих "шапочных" знакомых. Так, Всеволод Иванов, служивший секретарём в петроградском Пролеткульте, встретился однажды с Гумилёвым. Было это, по-видимому, в начале 1921 г. Вс. Иванов перебрался из Сибири в Петроград по протекции Горького в конце 1920 г. Была зима, Гумилёв шёл в своей бросающейся в глаза оленьей дохе. Вс. Иванов слонялся без дела по огромному, опустевшему, замёрзшему зданию на Итальянской улице. Некогда здесь помещалось Купеческое собрание, теперь обосновался горьковский Пролеткульт. Поравнявшись с Ивановым, Гумилёв сказал: "Занятия производите?". "Произвожу", – ответил Иванов. "И офицеров не боитесь? Скоро они по Невскому поедут. Что же будет с вами..."

Таганцева взяли совершенно для него неожиданно 5 июня 1921 г. Была взята и его жена. Детей по указанию чекистов поместили в какой-то детский дом, так что никто не мог вспомнить, в какой именно. Заговор сводился более всего к разговорам, но с точки зрения чека кандидатура Таганцева была наиболее подходящей, чтобы из него сделать главу грандиозной антисоветской конспирации. Человек он был слабовольный, и опытный чекист Агранов, следователь по особым поручениям, имел основания ожидать, что Таганцев быстро расколется. Двадцативосьмилетний Агранов накопил к этому времени громадный кровавый опыт. В чека он подвизался с мая 1919 г. — с самого начала на крупной должности — в качестве особого уполномоченного при Президиуме этой организации. С января он получил должность особого уполномоченного в особом отделе чека и руководил следствием по делу Национального центра и следствием по делу Кронштадтских моряков. Он был полон энергии, циничен, жесток, хитёр и думал, что будет жить вечно: до его собственного расстрела оставалось восемнадцать лет, заполненных кровавыми злодеяниями.

Жаждал деятельности и председатель петроградского чека, "заслуженный чекист" 34-летний Иван Бакаев; по его приказу от 24 августа 1921 г. Гумилёв был убит. Сам же Бакаев, подписавший этим днём приговор Гумилёву, не мог ещё знать, что 24 августа окажется роковым числом в его собственной бесславной судьбе. 24 августа 1936 г. он был приговорён к расстрелу как активный член троцкистско-зиновьевского террористического центра.

Жаждал деятельности и петроградский диктатор-садист Зиновьев, существо даже более кровожадное, чем сам Бакаев. Дела, связанные с расстрелами, Зиновьев любил обсуждать в своём кабинете в Смольном. Вдохновителем террора в Петрограде был именно он. Однажды он вызвал Бакаева в свой кабинет по делу старухи, состоявшей в партии с незапамятных времён. Она как-то взяла для передачи на волю письмо одной заключённой, и была схвачена на месте "преступления". Бакаев защищал старуху, ссылаясь на её прежние заслуги. Его поддержали и другие чекисты. Зиновьев выслушал, посмотрел презрительно и коротко сказал: расстрелять. Летом 1921 г. Зиновьев всё ещё хорошо помнил Кронштадтское восстание, когда его бил панический страх. Казалось, что жизнь его повисла на волоске. Опасность грозила с двух сторон: из Кронштадта и из Москвы; и Москва была ему страшнее. По приказу Зиновьева — не только по своей инициативе — петроградская чека специализировалась на особенно массовых расстрелах. Лобное место Питера — Охтинский полигон — никогда не пустовал. Бакаев в итоге был освобожден от должности председателя петроградского чека за "излишне усердное применение массовых расстрелов" и переведен на другую высокую должность. Что же касается Агранова, то он в подражание своему питерскому шефу Зиновьеву разыгрывал из себя большого мецената, болеющего за судьбы литературы и искусства. В Петрограде он сблизился с Осипом Бриком, поручив ему найти в стихах Гумилёва указания на его антисоветскую сущность. Позднее уже в Москве Агранов держал литературный салон, в который хаживали Всеволод Иванов и Бабель, и не делился ли он с ними своими воспоминаниями о последних днях Гумилёва?

Итак, по замыслу чека, Таганцев был идеальным главой заговора. Человек он был компанейский, и, следовательно, десятки людей, с которыми он общался, легко было в чекистских протоколах объединить в антисоветскую организацию. В то же время он был человек порядочный — и это значило, что напрасно оговаривать он не станет. На информацию, выуженную из него, можно положиться. Вдобавок из-

вестно было, что Таганцев вел антисоветские разговоры, и сам по себе этот факт, с точки зрения чека, был достаточным основанием для ареста, допросов и пыток.

Взгляды Таганцева основывались на вере в интеллигенцию как силу, которая способна путём медленной целенаправленной деятельности сбросить ярмо большевизма. Если у Таганцева и был план, то состоял он не в создании боевой организации, в чём его обвиняли, а в медленной систематичечской работе над народной психологией. По свидетельству петроградского профессора Н. С. Тимашёва, Таганцев предполагал действовать в рамках советского закона, в чём он был последователем и учеником своего отца, убежденного законника. По мысли младшего Таганцева, сама незаконность советских законов должна неизбежно привести к упразднению иррациональных форм власти.

Упомянутый выше Тимашёв верил (заметим — не знал, а только верил), что Таганцев не ограничивался разговорами, что были не одни слова, но и какие-то дела. Однако писавший в 1921 г. в эмигрантской "Новой русской жизни" профессор Тимашёв ни однолго примера в пользу действий Таганцева привести не мог. "В мае, за несколько дней до ареста, — писал Тимашёв, — несмотря на недавнюю ликвидацию кронштадтского восстания, В. Н. Таганцев был в самом бодром настроении. Он указывал на ряд симптомов пробуждения народного, пробуждения не только городского пролетариата, которое было очевидно для каждого петроградского обывателя, но и крестьянских масс, понявших наконец всю безысходность положения, созданного большевиками, и не удовлетворявшихся подачкой в виде замены развёрстки натуральным налогом. Вера его была так велика, что я, по природе настроенный более скептически, готов был заразиться".

В этом рассказе видет характер, вроде тургеневского Рудина, способного произносить зажигательные речи в частной беседе и удовлетворяющийся разговором как суррогатом действия. "И долго беседовали мы, — продолжает Тимашёв, — по трудным вопросам организации будущей России, России обезбольшевиченной". Тема, как видим, самая подходящая для Рудиных — делёж шкуры неубитого медведя. "Владимир Николаевич, — далее пишет Тимашёв, — в противоположность большинству наших интеллигентов ясно сознавал всю трудность обстановки, в которой очутится новая власть. Он исходил из того положения, что Россия и раньше была бедной страной (наши "неиссчерпаемые естественные богатства" — богатства лишь возможные), а теперь после четырёхлетнего хозяйничанья Ленина и Ко, стала страной почти нищей. Он ставил поэтому совершенно определённую задачу — найти те простые организационные формы, которые были бы посильны нашему народу. И удивительно ясно, без преклонения перед трафаретными суждениями разбирался он со мною в открывшихся нашим умам возможностях".

Мы взяли здесь намеренно суждения человека, который верил а заговорщицкую деятельность Таганцева. И в цитируемой статье Тимашёв собрал все аргументы, чтобы представить Таганцева как деятеля. Но надо сказать, что ни один из аргументов не убеждает. Тимашёв не привёл ни одного примера деятельности. Их беседа, возможно, и была глубокой и захватывающей, но это была только беседа. Тимашёв и до этой беседы не поддерживал большевиков, и если Таганцев повлиял на него в чём-нибудь, то разве что в плане своего оптимизма относительно будущего России. Таганцев даже не склонял его принять участие в заговоре, и все эти выражения, как "удивительно ясно" и "без предрассудков" — звучат как пустые "рудинские" эпитеты. Они лишь подчёркивают правоту Амфитеатрова, который писал, что порядочный, благодушный, общительный, идеалистичный В. Н. Таганцев в сущности был болтунишка.

О дальнейшем ходе событий мы узнаем из воспоминаний Амфитеатрова.

Таганцев вспоминается Амфитеатрову бодрым человеком, бегавшим "с одной пайковой раздачи на другую". Всё ещё казавшийся бодрым, но уже замученный страшным бытом человек, постоянно охотившийся за ржавой пайковой селёдкой или пакетиком сахарина. В глазах озабоченность, он торопится вовремя встать в длинную очередь, пока ещё есть селёдка. У Таганцева были большие деньги, кем-то оставленные ему на хранение. Этих денег он не трогал, жил впроголодь, и, кажется, эти деньги и сгубили его. Хранение крупной суммы мучило Таганцева, и он сказал о деньгах кому-то из друзей. Вскоре его арестовали. Без всяких причин — на всякий случай, так сказать, — заодно была арестована и жена Таганцева. Таганцеву вынесли приговор — неизвестно за что, может быть, за хранение денег или просто за то, что попал в руки чека — два года каторжных работ. Жене — один год.

Но вслед за вынесением приговора что-то переменилось. Здесь возможны несколько интерпретаций. Либо петроградский диктатор Зиновьев почувствовал себя оскорблённым вмешательством в это дело Ленина, пославшего телеграмму в петроградскую чека, в которой предписывал судить Таганцева по совести, либо в его камеру был подсажен стукач, и Таганцев о чём-то неосторожно сболтнул. Возможен и ещё один вариант, Петроградское начальство, всё ещё напуганное кронштадтским восстанием, решило продемонстрировать и Зиновьеву и Москве, что теперь, после уроков Кронштадта, новых подобных событий они не допустят; теперь они, дескать, многому научились. Теперь они могут пресечь любой заговор в зародыше. И таким образом, за неимением лучшего "человеческого материала" решено было сфабриковать из таганцевского дела таганцевский заговор. Верхушке петроградского чека было известно, что Ленин вынашивал план реорганизации чрезвычайки. Её руководители имели основание ожидать больших реформ. Всеобщая ненависть к этой организации достигла своего апогея. Многие партийцы разделяли это всенародное чувство. Поговаривали даже о возможном роспуске чека. Эти слухи сбылись. В начале 1922 г. организация была распущена... на бумаге. На смену ВЧК пришло ГПУ — те же самые лица под новой вывеской. Но в середине 1921 г. не каждый из ответственных чекистов ожидал столь благополучного исхода. Действительно, если чека будет распущено, то след за этим настанет время, когда придётся ответить, если не перед народом, то перед законом за свои зверства. Нужно было срочно придумать какой-нибудь грандиозный заговор и наглядно продемонстрировать, что петроградская чека не напрасно ест хлеб.

Одна из интерпретаций этих событий принадлежит неизвестному корреспонденту "Руля", сообщавшему о настроениях в Москве, распространившихся после расстрела Гумилёва и других "заговорщиков". "Для чего, вы думаете,— писал он, — была принесена в жертву питерская гекатомба? Вы, может быть, полагаете, что это было необходимо испорченным общим развалом жрецам коммунистического Молоха? Вовсе нет. У нас ведь стёрлась всякая разница между возможным и невозможным, а поэтому Гумилёв, Лазаревский, Тихвинский были пущены "в расход", как цинично это у нас называется, только для того, чтобы напугать москвичей. Видели, дескать, чем пахнет? Теперь это уже ни для кого не секрет, ибо ЧК так просто и говорит: "Виноваты или нет — не важно, а урок сей запомните!" Так было сказано в полупубличном месте самим т. Менжинским. А ведь это не удалой матрос Балтфлота вроде Дыбенки, а человек, окончивший Петроградский университет. Инсценировка вмешательства ВЦИК для нас, тут по крайней мере, понятна. Ведь не было ещё случая, чтобы коммунисты пропустили хоть раз возможность саморекламы. А ведь тут можно одновременно показать

Европе, с одной стороны, виновность осужденных, с другой стороны, милосердие ВЦИК".

Под милосердием ВЦИК здесь подразумевается телеграмма Ленина с советом судить "по совести". И действительно, петроградская чека поступила в соответствии с *революционной совестью.* А революционная совесть требовала немедленно найти виновных, в частности, виновных в наступившем к тому времени повальном голоде. В Поволжье голод достиг невиданного размаха. Число голодающих доходило до 30 миллионов. Нужно было как можно скорее указать на виновников голода. Декрет, по которому продразвёрстка заменялась продналогом, крестьяне встретили с недоверием. Причиной этого недоверия, по логике чека, были подстрекатели, наживавшие политический капитал на народных бедствиях. Нужно было продемонстрировать центральному правительству, что петроградская чека — это организация, без которой анархичное российское население не может прожить ни одного дня. Нужно было продемонстрировать бдительность органов, без активности которых антисоветские заговоры будут расти, как мухоморы после грибного дождя.

В этом пучке причин была и ещё одна — специфически отвратительная. Чека собиралась отметить трехлетие со дня убийства Урицкого. Убийцей был поэт Леонид Каннегиссер. В память об Урицком чекисты хотели принести в жертву поэта — самого крупного, какого можно было найти в Петрограде. Блок на роль жертвы не годился. Общеизвестны были его пробольшевистские выступления, начиная с зимы 1917 — 1918 гг. Лучше Гумилёва на эту роль, по мнению чекистов, не было никого в целом Петрограде Офицер царской армии, "воспевший в своих стихах империалистическую бойню", монархист, не скрывавший своих убеждений, верующий, открыто крестившийся, когда проходил мимо церкви, человек храбрый и бодрый — уже по одному этому годящийся на роль бравого заговорщика на фоне дистрофического питерского населения. В сравнении с другими интеллигентами, анемичными, сломленными голодом, холодом, вшами, доносами, облавами, арестами, тюрьмами, цензурой, бедностью и бесперспективностью, Гумилёв казался переполненным энергией. К тому же он знал Таганцева.

А Таганцев тем временем начал выдавать. Оговаривала и его жена, у которой отобрали её маленьких детей. Ей обещали свободу при условии, что она будет играть по сценарию, написанному чекистами. Как писал один современник, "чувство матери, разлученной с малышами, оказалось сильным — и она подтверждала все, что ей подсказывали. Заговор сделали". ("Последние новости", 19 августа 1923).

В тюрьме на Гороховой улице некоторые камеры для полной изоляции были спошь обиты пробкой. Воздух в такую камеру проникал только в маленькую форточку в герметически закрытой двери. Окон не было. Круглосуточно горела лампочка под потолком. Иногда форточку в двери наглухо закрывали. Тогда в крошечной камере уже через некоторое время было нечем дышать. Человек вскоре терял сознание. Эти эксперименты с удушением проделывали и над Вл. Таганцевым. Не исключено, что Таганцев подвергался и другим пыткам. Во всяком случае, об этих пытках в городе ходили упорные слухи. О том, что Таганцев выдает, уверился и Гумилёв, но уверился слишком поздно — только во время ареста. Его логика в этом случае была проста: кроме Таганцева, привлекшего его к участию в заговоре, по мнению Гумилёва, никто больше ни о чём знать не мог.

Амфитеатров, немного знавший Таганцева, говорит о нём в более осторожных тонах: "Выдал ли Таганцев соучастников по заговору и между ними Гумилёва — дело тёмное. Это обвинение распространилось из окружения М. Горького, из источника, стало быть, не слишком достоверного. Да и глагол лучше переменить:

"выдавать" – то ведь, пожалуй, было некого и не в чём. Но что "Володя болтает" лишнее на допросах, о том слухи по городу плыли и их подкрепляло то обстоятельство, что чека арестовывала огулом знакомых Таганцева, не прикосновенных к "заговору" ни сном, ни духом..."

Могут дополнить картину и несколько строк из воспоминаний И. Одоевцевой ("Русская мысль", 3 марта 1983): "А после того, как большевики пообещали Таганцеву открытый процесс с легким исходом, он сам ездил в автомобиле с чекистами по городу и показывал им, кто где живёт".

Но воздержимся от категорической оценки. Мне в этом вопросе ближе точка зрения Амфитеатрова, писавшего: "Остережёмся бросить камень осуждения в его страдальческую, окровавленную тень. В распоряжении Семёнова, Озолина и Ко имелись достаточные средства, чтобы вымучивать признания, им желательные... Героем он не был, никто никогда и не считал его героем, а между тем, его постигло испытание, способное истощить и геройские силы... Не Таганцев болтал: болтало его устами измаянное, замученное, запуганное, ослабевшее в четырёхлетнем голодании, холодании, болезнях, непосильном физическом труде, всесторонней нужде, ежеминутном страхе – придавленное привычкою к унижениям и плачевным компромиссам "применения к подлости" – петроградское обывательство, плотью от плоти и костью от костей которого был покойный мученик большевицкой бойни".

В эмигрантской газете "Дни", № 1070, 1926, была опубликована заметка, в которой разъясняется, что же именно произошло с Таганцевым за закрытыми дверьми Шпалерной и Гороховой тюрем. "Это именно Менжинский, – говорится в заметке, – дал слово Таганцеву пощадить всех участников дела, если он назовёт их без утайки. Таганцев поверил и все были расстреляны". Менжинский был едва ли не самым образованным человеком в чека и быстро сделал карьеру, вскружившую ему голову. Он стал заведующим политического отдела, то есть правой рукой Дзержинского. Дзержинский, он да ещё Петерс и Лацис составляли верхушку организации в период военного коммунизма. Менжинский начинал как эстет, кончил как садист. Он происходил из католической семьи, его отец занимал видную должность в Пажеском корпусе. В молодости Менжинский вёл жизнь, достойную представителей золотой молодёжи. Вместе с тем писал стихи, мечтал о славе писателя. В 1905 г. в альманахе "Зелёный сборник" напечатана была его супердекадентская, невразумительная повесть. Кое-кем она была замечена, но не по собственным достоинствам, а потому что в том же сборнике были напечатаны стихи Блока.

Как это неоднократно бывало в истории, неудачник от искусства, сжигаемый честолюбием, бросается в политический радикализм. Самый известный пример – Гитлер. Одним словом, писателя из Менжинского не получилось, и виновным в этой неудаче оказался весь мир и в особенности Россия. Он жил в Швейцарии, встречался с Лениным, вынашивал планы мести. Одновременно он заканчивает Петербургский университет, но добрых чувств к своей алма матер никогда не питал. Мы видим, что в числе "таганцевцев" был Лазаревский, проректор университета, и университетские профессора. Менжинский не пощадил их. По словам современника, именно Менжинский "дал добро" на запрос петроградской чека о расстреле проректора Лазаревского, профессора Тихвинского, приват-доцента Таганцева и "коллеги" Гумилёва. Гумилёв ведь тоже был в прошлом студентом Петербургского университета, а чувство коллегиальности у обычных петербургских студентов было развито чрезвычайно. Таганцев поверил честному слову "коллеги" и назвал имена тех, с кем когда-либо разговаривал на политические темы. Таким способом и был составлен список заговорщиков и состряпан сам заговор.

ИСТОРИЯ С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ

Что же всё-таки известно о деятельности Гумилёва как заговорщика? Тщательный анализ мемуарной литературы показывает, что деятельность эта была незначительной и более напоминала игру в заговор, чем участие в "боевой организации". Если бы в реальности, а не в воспалённом воображении палачей 61 активист действительно что-то сделал для создания такой организации, то, в конце концов, что-нибудь просочилось бы на поверхность. Ведь многие, знавшие хотя бы одного человека из группы расстрелянных таганцевцев, оказались за рубежом. И тем не менее в зарубежную прессу не попало никаких бесспорных данных о существовании заговора.

Возможно даже, что Гумилёв был одним из двух-трёх человек, кто хоть в некоторой степени *действовал*. В большинстве случаев остальные оказались ни в чём не повинными жертвами, привлечёнными просто для арифметического счёта. Среди расстрелянных было, например, 16 женщин, а одна из них – Ольга Сергеевна Лунд была посажена в тюрьму на Шпалерной зимой 1920 – 1921 гг. и с тех пор не выходила. Там, на Шпалерной, встретил её посаженный в начале 1921 г. писатель Амфитеатров, впоследствии неоднократно говоривший о заговоре как о "полупризраке".

Вспоминая о всех своих встречах с Гумилёвым, Амфитеатров мог отметить только один случай, в какой-то мере напоминающий заговорщицкую деятельность. Он рассказал о памятной ему истории "с переодеванием". "Такую "штуку с переодеванием," – писал Амфитеатров, – устроил Гумилёв в день бунта работниц на Трубочном заводе, когда был избит и прогнан с позором известный большевицкий оратор-агитатор Анцелович. Ради этого маскарада он опоздал на весьма важное свидание, назначенное ему у меня в доме. "Человек из подземелья" подождал-подождал и ушёл, весьма обозлившись, что понапрасну его обеспокоили (был иногородний), и мы его потеряли. А Гумилёв потом, когда я стал ему пенять на его неаккуратность, отвечал сконфуженно: "Тем досаднее, что вышло глупо. Узнают по первому взгляду – и никакого доверия. Ещё спасибо, что не приняли за провокатора. – Да извините, Николай Степанович, но, с позволения сказать, какой чёрт понес вас на эту гамру? – Увлекся. Думал, что "начинается". Ведь лишь бы загорелось, а пожару быть время".

О подобной же истрии с переодеванием писали ещё два мемуариста. Но скорее всего оба описывают тот же самый случай, связанный с "хождением в народ" на взбунтовавшийся Трубочный завод. Одно из воспоминаний принадлежит Георгию Иванову. "В кронштадтские дни, – писал он в "Современных записках", – две молодые студистки встретили Гумилёва, одетого в картуз и потёртое летнее пальто с чужого плеча. Его дикий вид показался им очень забавным, и они расхохотались. Гумилёв сказал им фразу, смысл которой они поняли только после его расстрела: "Так провожают женщины людей, идущих на смерть".

О том же самом случае с переодеванием рассказала в своих воспоминания Одоевцева, бывшая как раз одной из тех "студисток", которые упоминаются Г. Ивановым. Оказывается, эта встреча с переодетым Гумилёвым произошла не много не мало как в Доме литераторов, т. е. в месте чрезвычайно людном, где у Гумилёва было множество знакомых. "Вид его так странен, что все недоумевая смотрят на него".

Как же он одет? – "В каком-то поношенном рыжем пальтишке, перетянутом ремнём в талию, в громадных стоптанных валенках, на макушке вязаная белая шапка, как у конькобежца, и за плечами большой заплатанный мешок". По словам

Одоевцевой, там же присутствовал и Михаил Кузмин, спросивший у Гумилёва в своей обычной манере – уж не на маскарад ли он собрался. Гумилёв отвечал с достоинством: "Я, Мишенька, спешу. Я иду на Васильевский остров агитировать и оделся так, чтобы внушить пролетариям доверие". Сцена забавная, конспирация действительно оборачивается маскарадом. Всё это походит на игру. Все присутствующие именно так и воспринимают, и от души хохочут – все, кроме Гумилёва. Он смотрит холодно и серьезно, и это только усиливает эффект. И тогда-то, обернувшись к Одоевцевой и другой студистке – Ольге Арбениной – Гумилёв сказал: "Так провожают женщины героя, идущего на смерть". Вряд ли он сказал о себе "героя" – это, конечно, отсебятина Одоевцевой. Но сам факт не вызывает сомнений.

В рассказах Одоевцевой и Иванова есть одно существенное противоречие. Иванов рассказывает со слов "студисток". Одоевцева же говорит, что при этой сцене присутствовал и сам Иванов. Но, по её словам, в тот момент в Доме литераторов находились и другие свидетели сцены: Мандельштам, Зоргенфрей, Юркун. Вся эта конспирация очень уж напоминает "театр для себя". Похоже даже, что Гумилёв зашёл в Дом литераторов без всякой определенной цели: вошёл с улицы, сразу бросился в глаза многочисленным знакомым, поговорил, насмешил и ушёл. Трудно себе представить, что Гумилёв, человек благородного характера, мог бы подобным широковещательным маскарадом рисковать кем бы то ни было, кроме самого себя. Если в это время он был связан с "Петроградской боевой организацией, мог ли бы он говорить столь открыто, что идёт на Васильевский остров агитировать среди рабочих?

Итак, если поверить мемуаристам, этот случай произошёл в марте. А в апреле Одоевцева обнаружила ещё одну "улику". Однажды, сидя в кабинете Гумилёва в его квартире на Преображенской, Одоевцева выдвинула ящик его письменного стола и "громко ахнула". Ящик "был туго набит пачками кредиток". "Гумилёв вскочил с дивана, шагнул ко мне и с треском задвинул ящик, чуть не прищемив мне пальцы". И затем, "уже овладев собой", сказал, что участвует в заговоре и эти деньги "для спасения России". Примечательно, что этими сведениями он не ограничился, но тут же доверил Одоевцевой, что организация состоит из пятёрок, что он стоит во главе ячейки и что эти деньги он раздаёт её членам. История не слишком правдоподобная. Ещё до того как она была рассказана Одоевцевой, на ту же тему, т. е. о необходимости денег для заговора, писал Амфитеатров. По его словам, чтобы вести агитацию, особенно среди красноармейцев, прежде всего нужна была водка. "Я дважды добывал ему спирт для предстоящих каких-то офицерских собраний, – писал Амфитеатров, – добывал через знакомых эстонцев, даром, но в таком ничтожном количестве, что не хватило бы не только на целое офицерское собрание, но и на одного серьёзно относящегося к питейному делу штабс-капитана... Какая же это "организация" с рукописными прокламациями, почерком автора и без гроша в кошельке на компанейство?"

Логика Амфитеатрова звучит убедительнее, чем факты, представленные Одоевцевой. Как раз в это время, т. е. в начале 1921 г., Гумилёв издавал рукописный литературный журнал "Новый Гиперборей". Публиковать этот журнал обычным путём, т. е. типографски, у Гумилёва не было ни малейшей возможности. Вышло четыре номера журнала – и все рукописные. Действительно, можно лишь повторить риторический вопрос Амфитеатрова: какой же это заговор, какая же это "боевая организация" без малейшей возможности печатанья листовок?

ЕДИНСТВЕННАЯ УЛИКА

О листовках говорилось неоднократно. Точнее — о какой-то одной листовке. Даже в постановлении петроградской чека сказано о Гумилёве: "активно содействовал составлению *прокламации* контрреволюционного содержания". Даже с точки зрения чека это "активное содействие" в написании листовки, которая, очевидно, так и не была никогда размножена, казалось делом незначительным. Чекисты, писавшие о таганцевском заговоре, вскоре вообще перестали упоминать о прокламации. Так в книге Н. Зубова "Ф. Э. Дзержинский. Биография" (1963) о таганцевском деле сказано следующее: "Во главе петроградского заговора стоял бывший помещик Таганцев — в прошлом участник антисоветской организации, созданной английским шпионом Полем Дюксом. Многие участники заговора были связаны с иностранными разведками, располагали взрывчаткой, оружием, фальшивыми документами и финансировались зарубежными реакционными кругами". О листовках — ни полслова. И, однако, именно за черновик прокламации Гумилёв поплатился жизнью. Во всяком случае, эта написанная его рукой листовка была единственной документальной и вещественной уликой против Гумилёва в распоряжении палачей. Он обвинялся также в том, что "*обещал* связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании. Третье и последнее официальное обвинение состояло в том, что он "получал от организации деньги на технические надобности". О деньгах мы уже говорили. Особенно показательны в этом отношении, как помнит читатель, воспоминания Амфитеатрова, доставлявшего для Гумилёва бесплатный спирт. Но есть ещё одно мнение, к которому стоит прислушаться. Его высказала Надежда Мандельштам, читавшая воспоминания Одоевцевой, видевшей в письменном столе в кабинете Гумилёва "пачки кредиток". "Кто поверит такой ерунде, — писала Мандельштам во "Второй книге", — или тому, что ей говорил Гумилёв... или денег, наваленных грудой в ящик стола. Нужно иметь безмерную веру в разрыв двух миров, чтобы писать подобные вещи". Ещё более скептична и самонадеянна Н. Мандельштам "по поводу воззвания, которого никто никогда не находил". Действительно, его "никто никогда не находил, даже сам Гумилёв, однако черновик воззвания был найден на Преображенской, 5, в квартире Гумилёва при производимом чека обыске. "И вот о прокламации, — писал в 1932 г. Георгий Иванов в рижский газете "Сегодня". — Однажды Гумилёв прочёл мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то о "Гришке Распутине" и "Гришке Зиновьеве". Написана она была довольно витиевато, но Гумилёв находил, что это как раз язык "доступный рабочим массам". Я поспорил с ним немного, потом спросил: "Как же ты так свою рукопись отдаешь? Хоть бы на машинке переписал. Ведь мало ли куда она может попасть". — "Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. У нас это дело хорошо поставлено". Впрочем, о ротаторе никаких других сведений не имеется. Как раз незадолго до этого разговора, максимум недели за три, Гумилёв готовил свой рукописный сборник стихов "Персия". Переписан он был в одном единственном экземпляре. Ни о каком ротаторе речи не шло. Ротатором в те предэповские времена Гумилёв не преминул бы воспользоваться. Найти издателя или просто типографию было делом сложнейшим. Петроград испытывал бумажный голод. Все типографии давно уже были реквизированы. Большинство из них не работало. Те, которые как-то уцелели, работали на большевиков.

Но вот продолжение рассказа Иванова: "Месяца через два, придя к Гумилёву, я застал его кабинет весь разрытым. Бумаги навалены на полу, книги вынуты из

шкафов. Он в этих грудах рукописей и книг искал чего-то. — Помнишь ту прокламацию? Рукопись мне вернули. Сунул куда-то — куда не помню. И вот не могу найти. Пустяк, конечно, но досадно. И куда я её мог деть? — Он порылся ещё, потом махнул рукой, улыбнулся. — Чёрт с ней! Если придут с обыском, вряд ли найдут в этом хламе. Раньше все мои черновики придется перечитать. Терпения не хватит".

"Нашли, значит, — продолжает Г. Иванов. — Или, может быть, один из тех двух, о которых Гумилёв говорил: "верю как самому себе". И где теперь этот проклятый клочок бумаги, который в марте 1921 года держал я в руках, споря с Гумилёвым о том, доступно или недоступно "рабочим массам" его содержание".

Этот поиск черновика прокламации имел место в конце мая или в начале июня 1921 г. Гумилёв переезжал в Дом Искусств на углу Невского и набережной Мойки. Квартира на Преображенской улице сохранилась за ним. Город в этот первый год нэпа ещё не испытывал, в отличие от Москвы, настоящего жилищного кризиса: петербургское население вымирало. До революции население Петрограда исчислялось в два с половиной миллиона, в 1921 г. — семьсот сорок тысяч.

К этому времени вернулась в Петроград жена Гумилёва. До этого она жила в Тверской губернии, в Бежецке, вместе с матерью поэта и с детьми.

Переезд на новую квартиру был для Гумилёва поводом просмотреть свои вещи и книги в поисках затерявшейся прокламации. Именно в этот день на Преображенскую зашёл к Гумилёву Георгий Иванов, а несколькими часами позднее пришла И. Одоевцева. Она застала Гумилёва "за странным занятием". Он стоял перед книжной полкой и перелистывал книгу за книгой. "Неужели вы собираетесь брать все эти книги с собой?" — спрашиваю я. Он трясёт головой. — И не подумаю. Я ищу документ. Очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл в какую... — А это важный документ? Он кивает. — И даже очень. Черновик кронштадтской прокламации". Эта прокламация и попала в руки чека в начале августа — чекисты искали более профессионально. По уверениям советского историка, имеющего доступ в чекистские архивы, подобные "летучки и воззвания" печатались тогда в Стокгольме и затем переправлялись в Петроград.

ПЕРЕД АРЕСТОМ

Активность Гумилёва как поэта и организатора литературной жизни Петрограда была невероятна в последние месяцы его жизни. В издательстве "Всемирная литература" скопились сотни страниц его переводов, ожидавших издания. Он писал стихи, переводил, редактировал, писал предисловия, выступал с чтением стихов в Доме литераторов, в Доме искусств, в Союзе поэтов. Он преподавал в разных студиях, проводил целые часы на заседаниях во "Всемирной литературе", руководил Союзом поэтов, учредил Дом поэта (на Литейном проспекте), был синдиком возрожденного им Цеха поэтов, редактировал альманахи этого кружка. Он подготовил к изданию сборники стихов "Шатёр" и "Огненный столп", готовил второе издание "Эмалей и камей" Теофиля Готье в своих переводах, выпустил четыре номера самиздатного журнала "Новый гиперборей", участвовал в организации издательства "Мысль", подготовил третье издание своего раннего сборника "Жемчуга". И всё это в течение нескольких месяцев 1921 года. Но и гораздо больше. К тому же нашёл время раз или два съездить в Бежецк — навестить родных. Загадочно в высшей степени — когда он находил время участвовать в заговоре.

В конце июня в поезде командующего морскими силами Гумилёв поехал в Севастополь. Об этой поездке — последней в жизни Гумилёва — известно крайне

мало. С моряками, приятелями отца, он был знаком с детства. Гумилёв родился в морской крепости – в Кронштадте, был крещён в Морской военно-госпитальной церкви. Отец его был военно-морским врачом, совершившим не раз кругосветные путешествия, о которых охотно рассказывал своим двум сыновьям. Мать Гумилёва была родная сестра адмирала Л. И. Львова. Затем примем во внимание морские путешествия Гумилёва в Африку и прежде всего его стихи о моряках – главным образом знаменитые "Капитаны" и поэму "Открытие Америки". Все это вместе взятое так роднит образ Гумилёва с морем, что создалась даже легенда о том, что, окончив гимназию, Гумилёв около года проучился в морском училище. Эта легенда была всерьёз повторена совсем недавно специалистом по Гумилёву А. И. Павловским в серьёзном журнале "Вопросы литературы". Как бы там ни было, Гумилёв и после революции имел знакомства в морской среде. Благодаря этим связям он приглашён был в июне 1921 г. поехать в Крым в поезде адмирала Немица. Вспоминая рассказы Гумилёва, Георгий Иванов идёт, должно быть, слишком далеко, утверждая, что сам Немиц или кто-то из ближайшего окружения состоял в том же заговоре. "Гумилёв и его товарищи по заговору, – писал Г. Иванов, – заводили в крымских портах среди уцелевших офицеров и интеллигенции связи, раздавали кому надо привезенное в адмиральском поезде из Петербурга оружие и антисоветские листовки".

Можно сказать с уверенностью, что если бы петроградская губернская чека знала хотя бы намёк на подобный факт раздачи оружия, листовок и пропаганды среди моряков Черноморского флота, эта организация палачей ухватилась бы за такой намёк зубами и руками. Но ничего подобного нет ни в постановлении чека, ни в позднейших писаниях чекистов о таганцевском заговоре. Писания эти обычно полны огромных преувеличений, в основу которых все-таки положены некоторые извращенные и раздутые, но все же факты. Напомним, что, кроме 61 расстрелянного по делу Таганцева, было арестовано еще минимум двести человек. Эта цифра – более двухсот душ – отнюдь не отрицается современными советскими официальными историками. На самом же деле арестованных и допрошенных было значительно больше. Должно быть, в итоге всех этих допросов чека не располагало никакими данными о контрреволюционной деятельности Гумилёва по время его поездки на юг. Повторяем, что, если бы какая-то деятельность была, она отразилась бы в кривом зеркале чекистских документов, опубликованных в газетах – тем более, что Немица в этой поездке сопровождал провокатор, агент чека.

Более осторожна в своих выводах Одоевцева. Вот что она писала об этом путешествии: "Мне известно, что Гумилёв во время своего черноморского плаванья действительно старался распропагандировать матросов и вёл "недопустимые" разговоры с некоторыми крымчаками. Но вряд ли это было связано с Таганцевским заговором. Просто Гумилёв, как всегда, был очень неосторожен в словах и не считал нужным скрывать свои мнения".

"Недопустимые разговоры" были всегда общим местом в советском быту. Ведь даже Ленин признавал, что в 1921 г. от коммунистов "отвернулось" большинство крестьян и рабочих. Год был страшнейший, никто уже не питал иллюзий. Голод ежедневно косил новые и новые тысячи. Общеизвестны были случаи людоедства. Голодным мором оказались охвачены многие районы страны. Введенный в том же году НЭП явился вынужденной уступкой: для узурпаторов власти выбора просто не существовало.

Об этой поездке Гумилёва достоверно известно лишь несколько фактов. В Крыму он встретился с Волошиным, с которым у него с 1909 г. не было решительно никаких связей. В ноябре 1909 г. два поэта стрелялись из дуэльных пистолетов на Черной речке. Таким образом был положен конец их близким отношениям. В Крыму

в 1921 г., – вспоминал Волошин, – нас представили друг другу, не зная, что мы знакомы; мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилёв торопился уходить". Ещё об одном факте, связанном с этой поездкой, писал художник Юрий Анненков. Он вспоминал, что по пути в Севастополь Гумилёв останавливался в Ростове и смотрел в представлении группы местных молодых актёров свою "Гонллу". На обратном пути в Петроград Гумилёв на два-три дня задержался в Москве. Читал стихи в "Кафе поэтов" – "чуть глуша голос, придавая ему особую торжественность, скрестив руки, вернее, обхватив локти и чуть приподняв плечи". Читал он, в частности "Молитву мастеров":

Нам может нравиться прямой и честный враг,
Но эти каждый наш выслеживают шаг...

К цитированным строкам (из московских воспоминаний Г. Лугина) можно ещё прибавить рассказ о том, как здесь же, в "Кафе поэтов" кто-то стал читать стихи Гумилёва "одно за другим". Это был "человек удивительной внешности: кожаная куртка, галифе казенного сукна, крепко пришитая к плечам голова, черная борода и кривые ноги, будто согнувшиеся под тяжестью тела. Это был Блюмкин, убийца германского посла, графа Мирбаха. Гумилёв взволновался:

– Вы тот самый?

– Да, тот самый.

– Я рад, когда мои стихи читают воины и сильные люди.

Эта встреча отразилась в одном из последних стихотворений Гумилёва:

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошёл пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Гумилёв вернулся в Петроград "загорелый, поздоровевший и очень довольный", – писал Г. Иванов, которому Гкмилёв сказал, что именно теперь в его жизни "наступила счастливая полоса". Казалось, что всё ему удавалось, всё само шло в его руки. Открывшиеся в начале НЭПа издательства заключили с ним договоры. В одном собирались издать собрание его стихотворений, другой издатель хотел опубликовать его прозу. Имя Гумилёва уже называли наравне с именем Блока, их противопоставляли одного другому, как двух крупнейших поэтов эпохи. "С уверенностью могу сказать, – писал Г. Иванов, – что ничто или почти ничто не омрачало этих последних дней Гумилёва. Он был здоров, полон надежд и планов, материально и душевно всё складывалось для него именно так, как ему хотелось. Это ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости сказалось и в заглавии, которое он тогда придумал для своей будущей книги: "Посередине странствия земного". Прибавлю, что в эти тёплые, ясные августовские дни Гумилёв был влюблён – и это была счастливая любовь".

Где тут заговорщицкая деятельность? Где время для неё? Сам Г. Иванов верил, что Гумилёв участвовал в заговоре, но он же многократно приводил аргумент, который почти списывает со счетов те реальные шаги, которые Гумилёв предпринимал как заговорщик. В рижской газете "Сегодня" Г. Иванов напечатал краткие воспоминания под заголовком "Блок и Гумилёв". В заключение этого очерка говорится: "Известно, что Гумилёва предупреждали в день ареста об опасности, которая ему грозит и советовали бежать. Известен и его ответ: "Благодарю вас – только бежать мне незачем..." И это сказал человек, который

часто думал о побеге, не как заговорщик, которому грозит арест, а как человек, которому российская жизнь под советским господством обрыдла до предела.

Мы уже упоминали о плане побега, который Гумилёв за несколько месяцев до своей смерти обсуждал с писателем Немировичем-Данченко. Весной 1921 г., не оставляя мечты о побеге, Гумилёв сказал своему знакомому Соломону Познеру: "Вот наступит лето, возьму в руки палку, мешок за плечи и уйду за границу; как-нибудь проберусь". Сказано это было при прощании; отъезд Познера в эмиграцию всколыхнул в Гумилёве с новой силой жажду свободы. У многих петроградских писателей край терпения переполнился. Летом хлопотал об отъезде — на лечение в Финляндию — Александр Блок. Сологуб с женой Анастасией Чеботаревской ездил в Москву хлопотать об эмиграции. В середине июля 1921 г. Политбюро ЦК на своём заседании под председательством Ленина обсуждало вопрос отпустить или не отпустить Блока в Финляндию. На том же заседании рассматривался вопрос "о выезде за границу писателя Ф. Сологуба". О легальной эмиграции Гумилёв не думал. В отличие от больного Блока и пожилого и износившегося в бедствиях Сологуба, Гумилёв был полон сил и уверен в своих физических возможностях.

О том, что Гумилёва предупреждали о грозящей ему опасности в самый день ареста, Г. Иванов говорил неоднократно. Через два года после публикации в газете "Сегодня" очерка "Блок и Гумилёв" он снова писал об этом в "Современных записках": "Говорят, что Гумилёва предупреждали об опасности и предлагали бежать. Передают и его ответ: "Благодарю вас, но бежать мне незачем".

Точная дата возвращения Гумилёва в Петроград из поездки на юг неизвестна. Очевидно, он приехал в двадцатых числах июля. Мы знаем лишь, что 27 июля он читал свои стихи в петроградском Союзе поэтов. Затем 29 июля он подписал договор со "Всемирной литературой" на редактирование романа А. Мюссе "Исповедь сына века (в переводе Г. Иванова).

За несколько дней до ареста Гумилёв встретился с Адамовичем, оставившим краткие воспоминания об этой встрече: "Это был, пожалуй, мой самый долгий разговор с ним за всё время, что я его знал. Участвовал в беседе и Георгий Иванов. Не помню в связи с чем Гумилёв заговорил об Иннокентии Анненском, назвал его неврастеником и сказал, что ошибался, признав его великим поэтом. В новых его планах и мечтах с Анненским ему было не по пути, как и с Блоком".

Около 30 июля утром Гумилёв зашёл к своему брату Дмитрию. Как раз были привезены из Бежецка письма от матери Гумилёва. Заговорившись с братом и его женой Анной Гумилёвой, он ушёл, забыв письма. Позже в тот же день Анна Гумилёва принесла их ему. Вдвоём они гуляли в Таврическом саду, и между ними произошел откровенный разговор. Гумилёв, по словам своей невестки, "говорил о тех минутах одиночества, когда уйдя в себя, он думает о Боге".

Первого или второго августа Гумилёв виделся с Ходасевичем. Сам Ходасевич относил эту встречу в Доме Искусств к 3 августа, что вряд ли возможно. Вероятно, эта встреча была именно второго августа. Третьего Ходасевич намерен был уехать в деревню, а накануне вечером пошёл проститься со своими соседями по Дому Искусств, где тогда жили и сам Ходасевич и Гумилёв. Известно, что во вторник, 2 августа, Гумилёв преподавал в Студии Дома Искусств. "Уже часов в десять, — писал Ходасевич, — постучался к Гумилёву. Он был дома, отдыхал после лекции. "Гумилёв очень обрадовался приходу соседа, был очень оживлён, "высказал какую-то особую теплоту". "Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царско-сельском лазарете, о государыне Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилёв стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — "по

крайней мере до девяноста лет". Он всё повторял: непременно до девяноста лет, уж никак не меньше".

Из числа людей, оставивших воспоминания, последней, кто видел Гумилёва до ареста, была Н. Н. Берберова. В среду 3 августа Гумилёв проводил занятия в кружке "Звучащая раковина". Вернулся он к себе около двух часов ночи. Около Дома Искусств стоял автомобиль. Те, кто приехал на нём, устроили в его квартире засаду.

После ареста ещё были живы многочисленные связи с волей. На следующий день было условлено свидание с Ю. Анненковым, который, собираясь рисовать портрет Гумилёва, напрасно прождал его на Литейном проспекте в Доме Поэтов. На пятницу, 5 августа, у Гумилёва было назначено любовное свидание. Помимо этих встреч, у него было намечено много другого. Анненков писал о нём, что был он всегдда чрезвычайно точен и сдерживал свои обещания. Другой мемуарист отмечал, что Гумилёв "любил порядок, расписание в жизни".

Одним из парадоксов его трагической судьбы явилась эта фактически предсмертная встреча с Н. Берберовой, "благоразумной, взрослой, серьёзной и скучной" – по словам Гумилёва – молодой женщиной. Эти безрадостные встречи с Гумилёвым продолжались, в соответствии с мемуарами Н. Берберовой, с 27 июля по 3 августа. Досадно, что воспоминания о последних днях Гумилёва (в книге "Курсив мой") с фактической стороны не безупречны. В частности, здесь говорится, что в "Звучащей раковине" 2 августа читалась рецензия на "Огненный столп" Гумилёва. Однако хорошо известно, что книга эта вышла в свет уже после ареста Гумилёва. "Я чувствовала себя неуютно ...рядом с этим человеком, которому я не смела сказать ни ласкового, ни просто дружеского слова".

АРЕСТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О точном времени ареста остались самые противоречивые сведения. Н. Берберова писала, что Гумилёв был арестован на рассвете 3-го августа. В. Ходасевич считал, что Гумилёва взяли в ночь на 3 августа. По его словам, он просидел у Гумилёва часов до двух нобчи, а затем, зайдя к нему на следующее утро (3 августа), узнал, что Гумилёв арестован. П. Лукницкий, первый биограф Гумилёва, считал, что арест произошёл в ночь с 3 на 4 августа и, по-видимому, это и есть наиболее точная дата. Вряд ли после того, как около двух Ходасевич ушёл из комнаты Гумилёва (до революции служившей как предбанник в доме купца Елисеева), Гумилёв выходил из своей комнаты. В то же время известно, что чека устроила в его комнате засаду. Это, очевидно, не могло случиться в ночь, описанную Ходасевичем, когда Гумилёв уверял, что доживёт до девяноста дет. Известно также, что в засаду попало несколько знакомых Гумилёва, решивших его навестить, – в том числе Лозинский, поэт и переводчик, один из ближайших друзей Гумилёва.

По словам И. Одоевцевой, вечером, 3 августа, она проходила с Георгием Ивановым мимо Дома Икусств и обратила внимание на ожидавший у подъезда автомобиль. Машина принадлежала петроградской чека. Н. Иванов также писал о последних часах Гумилёва на свободе: "Гумилёв в день ареста вернулся домой около двух часов ночи. Он провёл этот последний вечер в кружке преданно влюблённой в него молодежи... Несколько барышень и молодых людей пошли Гумилёва провожать. У подъезда... ждал автомобиль. Никто не обратил на это внимание – был НЭП, автомобили перестали быть как в недавние времена военного коммунизма одновременно и диковинкой и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались на завтра. Люди, приехавшие в стоявшем у

подъезда автомобиле с ордером чека на обыск и арест, ждали Гумилёва в его квартире."

Возникает вопрос, почему чека решила арестовать Гумилёва именно в ночь на 3 или в ночь на 4 августа? Один из возможных ответов состоит в следующем. Таганцев, арестованный в начале июня, держался стойко. Москва требовала жертв. Необходимо было обвинить кого-то в охватившем страну голоде. Реакцией Дзержинского на голод были новые и новые расстрелы. Член коллегии ВЧК Менжинский в конце июля лично пообещал Танганцеву, что расстрелов не будет. И только тогда измученный Таганцев стал "кооперировать" с палачами. Косвенное подтверждение этой последовательности событий находим в книге Д. Голинкова "Крушение антисоветского подполья в СССР". Голинков пишет, что Таганцев "долго и упорно отказывался давать объяснения, скрывая правду. В конце июля от него все же удалось получить нужные сведения".

В чём они состояли? Сначала работа следователей была направлена в сторону раскрытия "Объединенной организации кронштадтских моряков". После обещания, данного Таганцеву Менжинским, в соответствии с официальной современной советской версией, Таганцев признался, что существуют ещё две группы – профессорская и офицерская. Неизвестно, к какой именно из этих двух групп отнесли Гумилёва в своём воспаленном воображении пламенные чекисты. Во всяком случае, Гумилёв был арестован буквально через несколько дней, возможно, через три-четыре дня после того, как от Таганцева "всё же удалось получить нужные сведения".

Арест Гумилёва связывают также с приставленным к нему провокатором. Известно об этом провокаторе главным образом из рассказов Ходасевича и Георгия Иванова. Имён ни тот, ни другой не называет. Одна фамилия названа в воспоминаниях Н. Мандельштам: "Фамилия юноши была Павлов. Ничего хорошего про него сказать не могу. Думаю, что под давлением он подписал бы что угодно для спасения своей шкуры. Он тоже был арестован, но вышел невредимым."

Ходасевич рассказал, каким именно образом Павлов возник на гумилёвском горизонте. "На Пасхе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он как птица небесная, говорил – что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули: про писателей от него можно было узнать всё, что нужно. Из Москвы привёз он нового своего знакомца. Знакомец был молод, приятен в обхождении, щедр на небольшие подарки: папиросами, сластями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться... Гумилёву он очень понравился. Новый знакомец стал у него частым гостем. Помогал налаживать Дом Поэтов (филиал Союза), козырял связями в высших советских сферах. Не одному мне казался он очень подозрителен. Гумилёва пытались предостеречь – из этого ничего не вышло. Словом, не могу утверждать, что этот человек был главным и единственным виновником гибели Гумилёва, но после того, как Гумилёв был арестован, он разом исчез, как в воду канул".

Определить, был ли Павлов провокатором – крайне трудно. То, что после ареста Гумилёва он "разом исчез", Ходасевич знал лишь с чужих слов, так как 3 августа он надолго уехал в Бельское Устье – колонию Дома Искусств. "Человек большого таланта и большого легкомыслия", с которым Павлов приехал в Петроград, был Осип Мандельштам. Отсюда понятно, почему в своей "Второй книге" Надежда Мандельштам столь горячо нападает на Ходасевича. "Ходасевич – человек старой школы. Он верил в необходимость провокации для уничтожения человека. Кроме того, он отдал дань современному стилю, и в каждом встречном подозревал провокатора". В этой горячечной самозащите трудно понять – то ли

Ходасевич человек старой школы, то ли новой. Затем в этих воспоминаниях идут признания Н. Мандельштам в ненависти к Петербургу: "в Петербурге эта мания – видеть во всех стукачей – достигла самого высокого уровня. Она отравляет жизнь людям и сейчас. Петербург – проклятый город". Как будто дело было в городе и будто по всей стране не распространилась та же самая петербургская "мания"! К тому же Ходасевич был москвич, в Петербурге прожил всего лишь года полтора с перерывами, да и всегда ощущал себя москвичём. Точность воспоминаний Ходасевича во многом превосходит воспоминания Надежды Мандельштам , в которых она к тому же непрерывно сводит счёты. Недавно это было ещё раз доказано блестящим исследованием Э. Г. Герштейн "Новое о Мандельштаме". Писать об этом необходимо, поскольку репутация Надежды Мандельштам, сохранившей для нас стихи своего мужа, великого поэта, непропорционально высока. Доводы Надежлы Мандельштам – неосновательны. Выдающийся поэт, Осип Мандельштам, в человеческих отношениях был, как писал Ходасевич, "человеком большого легкомыслия".

Об этом же свойстве говорил и знавший его нимного лучше Ходасевича Г. Иванов. Но в своём рассказе о приставленном к Гумилёву стукаче Иванов избегает упоминания о том, что Мандельштам приехал в Петроград вместе с Павловым. "Роль Мандельштама в этом деле проста, – писала Н. Мандельштам: он узнал, что в Ленинград едет от Немица человек приглашать Гумилёва в Крым, и попросил раздобыть и для него билет в штабной вагон. Павлов исполнил просьбу, и Мандельштам съездил в Петербург проститься с отцом перед "экспедицией" на Кавказ". Далее следуют нападки на Ходасевича и на Петербург. Было что-то роковое в том, что провокатора привёз Мандельштам, столь ценивший всю свою жизнь Гумилёва и написавший однажды Ахматовой, что "беседа с Колей", т. е. с Гумилёвым, никогда не прекращалась. Добавимм ещё, что, в соответствии с Н. Мандельштам, "вовсе не значит, что Павлов был подослан".

О провокаторе писал и Г. Иванов: "Он был высок, тонок, с весёлым взглядом и открытым юношеским лицом. Носил имя известной морской семьи и сам был моряком – был произведен в мичманы незадолго до революции. Вдобавок к этим располагающим свойствам этот "приятный во всех отношениях" молодой человек писал стихи, очень недурно подражая Гумилёву".

Имел ли Г. Иванов в виду именно Павлова? Одоевцева в своих воспоминаниях не исключает возможность, что около Гумилёва и в самом деле увивался стукач, но, по её словам, "предположение Ходасевича настолько фантастично, что на нём даже останавливаться не стоит". Одоевцева считала, что Иванов и Ходасевич в своих воспоминаниях имели в виду не одно и то же лицо. Скорее всего их действительно было два, не считая других стукачей, встречавшихся на жизненном пути Гумилёва более или менее временно.

О роли провокатора в эпоху красного террора писал один из крупнейших советских палачей (впоследствии раскаявшийся) – нарком юстиции И. З. Штейнберг). Он, пожалуй, лучше других – на основании своего богатейшего опыта – сформулировал механизм красного террора: в отношении *всех* допустимы *любые* пути насилия. Террор, по Штейнбергу, состоит не только в массовых смертных казнях, но и "в хитроумных, дьявольски изобретательных приёмах сыска и *провокации*". Идея провокации состоит в том, чтобы каждый член общества имел своего собственного провокатора, а чем-нибудь выдающийся член общества – более чем одного. Надежда Мандельштам, пережившая репрессии, странным образом игнорировала этот сердцевинный принцип советского строя, на практике не вполне осуществимый, но весьма приближённый к идеалу.

В ТЮРЬМЕ

В автомобиле, который несколько часов ждал у подъезда Дома Искусств, Гумилёва отвезли на Гороховую. Вместе с ним забрали попавшего в засаду М. Лозинского, возможно, и ещё кого-то. Лозинскому повезло, его выпустили на другой день. Здесь определенно был фактор везения. Террор был классовый. Задача советской власти состояла в ликвидации образованных классов. Как писал виднейший чекист Лацис – "не ищите... доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти; первый вопрос, который вы должны ему предложить – к какому классу он принадлежит". Этот вопрос, – писал далее Лацис, – и должен "определить судьбу обвиняемого".

Путь от Дома Искусств в штаб-квартиру чека на Гороховой улице был недолог. Здесь и пешком-то пять минут неторопливой ходьбы. У подъезда стоял часовой. Вошли в подъезд. Гумилёв шёл впереди, арестовавшие его чекисты сзади. Обычно арестованного вели на второй или на третий этаж по начищенной и отполированной лестнице в кабинет следователя. Георгий Иванов рассказывал, что Гумилёва допрашивал Якобсон, но обычно следователи менялись: один и тот же заключенный, арестованный по политическому делу, допрашивался по очереди несколькими следователями. Допросы проходили большей частью ночью, но на Гороховой конвейер инквизиции работал непрерывно 24 часа в сутки. Типичный первый вопрос, задававшийся при расследовании узнику, был наподобие следующего: вы, конечно, знаете, почему вы здесь? Если заключенный отвечал отрицательно, следователь говорил ему: "Вы человек образованный, неужели же вы не понимаете?" Затем, если ответ был опять отрицательным, следователь выкладывал на стол какие-нибудь улики, если таковые в редких случаях имелись. В случае Гумилёва, возможно, это была та злосчастная прокламация, которую чека нашла при обыске его квартиры на Преображенской улице.

"Допросы Гумилёва, – писал Г. Иванов, – больше походили на ученые диспуты, где обсуждались самые разнообразные вопросы – от "Принца" Маккиавели до "красоты православия". Следователь Якобсон... был настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убеждённостью маньяка. Более опасного следователя нельзя было бы выбрать, чтобы подвести под расстрел Гумилёва. Если бы следователь испытывал его мужество или честь, он бы, конечно, ничего от Гумилёва не добился. Но Якобсон Гумилёва очаровывал и льстил ему. Называл его лучшим русским поэтом, читал наизусть гумилёвские стихи, изощрённо спорил с Гумилёвым и потом уступал в споре, сдаваясь или притворяясь, что сдался перед умственным превосходством противника".

Вряд ли первый допрос длился долго. Для следователя это была только рекогносцировка – с целью нащупать болевые точки жертвы. Затем заключённого, в соответствии с ритуалом Гороховой охранки, вели по длинным коридорам в какую-то большую и слабо освещённую комнату. Конвойный отсюда рапортовал по телефону начальнику конвоя о "доставке" заключённого. Являлся другой конвойный, обыскивал заключённого и либо вёл его в камеру здесь же на Гороховой, либо сопровождал его в чекистский ДПЗ – в тюрьму на Шпалерной улице.

Некоторые арестованные по прибытии на Гороховую долго томились в приёмной. Делалось это и чтобы сломить волю, и по причине "перегруженности" следователей делами. Следователей нехватало, петроградские тюрьмы были всегда переполнены. Многие в приёмной заполняли анкету, состоящую из десятков вопросов. После фамилии, имени, отчества следовала графа о социальном происхождении, затем о национальности.

Нам неизвестно, сколько дней или часов пробыл Гумилёв на Гороховой. Вскоре его перевели на Шпалерную. Передачи ему приносили именно туда. Шпалерная и до революции была тюрьмой предварительного заключения, однако главным образом для уголовников. Политических здесь сидело не много. Стены камер были исписаны, надписи – датированы. Дореволюционные надписи принадлежали, что было видно и по слогу и по содержанию, уголовникам. Пореволюционные – сделаны людьми образованными.

С Гороховой на Шпалерную арестованные шли по одному или небольшой группой в сопровождении конвойного с револьвером в руке. Чаще эти перегоны делались ночью, но случалось и днём. Если у заключённого были деньги, ехали на извозчике, расплачивался заключённый. Одних только конвойных, сопровождавших арестованных из тюрьмы в тюрьму или из Петрограда в другой город, было тогда в Петрограде около четырёх тысяч – два специальных чекистских полка.

На машине, на извозчике или пешком сворачивали с Литейной (теперь Литейный проспект) на длинную прямую улицу, на которой обычно не видно было ни пешеходов, ни транспорта, и останавливались у подъезда огромного пятиэтажного здания с зарешеченными окнами. Конвойный звонил, открывалась маленькая дверь, и тюрьма проглатывала очередную жертву.

Приёмная находилась на втором этаже. За столом сидел чекист, вооружённый револьвером и шашкой. Сопровождающий передавал ему бумаги заключённого, которому тут же выдавалась анкета, включающая провокационные вопросы, например, следующего рода: "В чём вы обвиняетесь?" Что, например, мог написать человек, которого обвиняли в намерении убить разом Зиновьева, Красина и... Горького – причём обвиняли человека, который и в ночном кошмаре не помышлял об убийстве. А ведь тех, кто проходил по таганцевскому делу, кроме сотен других преступлений, обвиняли именно в этих злоумышлениях. О намерении убить Горького в постановлении чека говорилось, в частности, для самого Горького – чтобы знал, кого защищать. О планах убийства Зиновьева сказано было, в частности, для самого Зиновьева, чтобы петроградский диктатор не надумал бы смягчить участь хотя бы одного из таганцевцев. О намерении убить Красина говорилось главным образом для Красина, чтобы последний, знавший близко профессора М. М. Тихвинского, шедшего по таганцевскому делу, не вздумал бы вмешаться со своим непрошенным человеколюбием.

Гумилёв заполнил анкету, состоявшую из многих вопросов. Возможно, что она сохранилась в чекистских архивах. Ведь нашёл же советский официальный литературовед, академик Вл. Орлов анкету Блока, заполненную им в конце 1919 г., когда поэт был доставлен чекистом Булацелем в чекистскую приёмную на улице Гороховой, дом два.

Из приёмной путь был или вниз или вверх по лестнице, в зависимости от режима, на который следователь хотел посадить в "предвариловке" своего подследственного. Спустившись вниз, пройдя через железные двери, у которых стоял часовой, заключённый в сопровождении порой шестнадцатилетнего вооруженного мальчишки из беспризорных или бывшей проститутки в чекистской форме попадал в длинный коридор, конца которого не было видно, так как освещался этот пассаж в ад несколькими тускло горевшими под потолком лампочками. Наконец, коридор упирался в решётку, у которой также стоял на страже вооруженный чекист. За решёткой начинался другой длинный подземный коридор и перпендикулярно ему по левую руку начинался ещё один; чтобы войти в него надо было спуститься по нескольким каменным ступенькам вниз. Над этим проходом слева возвышалась стена с пятью железными галереями одна над другой: пять этажей окованных железом дверей, ведущих в тюремные камеры. Справа был один ряд

камер, расположенных вдоль этого полуподвального прохода. Окна в эти камеры были заставлены щитами, чтобы не проникал в одиночки даже тусклый свет, при котором совершенно не было видно потолка над пятой, а считая вместе с полуподвальной, – шестой галереей.

Арестованного затем вводили в комнату без окон, освещённую тем же желтоватым полуживым светом тусклой лампочки. Здесь заключённого раздевали догола. Его одежду – каждый шов и каждую складку – тщательно и методично прощупывал сидевший в этой комнате-склепе чекист. Стояла тишина, иногда нарушаемая звонкими шагами и внезапным голосом: примите заключённого. Звуки из камер сюда не доносились. В коридорах также стояла мёртвая тишина, время от времени прерываемая шагами. После медленного осмотра жертву торопили одеться, отнимали всё остальное имущество и вели в предназначенную ему камеру. Внизу располагались камеры усиленного режима. Многие из них были склепами-одиночками. Дверь за арестованным захлопывалась, слышался поворот ключа, и человек оставался в каменном гробу наедине с судьбой вполне не ясной. Ясно лишь было – даже редкостным оптимистам – что лучше уже не будет. Осюда вела дорога или на Соловки, или в другой подобный лагерь замедленного уничтожения, или на расстрел.

Войдя в камеру, заключённый видел всё ту же тусклую лампочку, которую в полуподвальном кругу ада обычно часто и надолго выключали, и заключённый оставался в полной темноте, так как маленькое окошко под потолком снаружи было затемнено. Пол в камере был асфальтовый и, казалось, никогда не подметавшийся. У одной стены стоял железный столик, прикреплённый к полу, с табуреткой, тоже железной и прикреплённой. У другой стены была железная койка, на которую бросали набитый соломой матрац. Подушки не полагалось. В камере было очень сыро, воздух был затхлый. Более свежий воздух попадал только когда открывалась дверь в коридор, и заключённому утром давали хлеб и пустой кипяток, а на обед суп, пахнувший вонючей рыбой. Рядом со столом стоял рукомойник и за ним дыра в полу, означавшая туалет. Была и батарея отопления, но в этих полуподвальных камерах всегда было холодно и сыро, так как здесь не топили даже зимой.

В камере было тихо, но время от времени в эту тишину врывалось хлопанье дверями или чей-то отчаянный крик, стон или ругань. Но иногда можно было разобрать ритмическое постукиванье: перестукивались заключённые. Впрочем, все этажи этой секции Шпалерной тюрьмы были полны заключёнными, посаженными на усиленный режим. Верхние этажи отличались только тем, что в некоторых камерах в холодную погоду бывало чуть-чуть теплее; в иных камерах окна не были снаружи занавешены, и иногда удавалось увидеть пробившийся луч солнечного света. Зато верхние камеры были обычно перенаселены.

Огромное количество людей, шедших по таганцевскому делу, сидело в этой части Шпалерной тюрьмы с лета 1921 г. Одних расстреливали, других посылали в концлагерь, нескольких, кажется, выпустили, многих перевели временно в московские тюрьмы. Но прибывали всё новые, так что даже в 1924 г. сидело около 200 человек, обвинявшихся в таганцевской конспирации. Но здесь мы сделаем лучше, если процитируем наш источник: "Один из невидимых людей, с которым я перестукивался, был человек, сидевший в камере на третьем этаже, прямо над моей камерой. Его фамилия была Редкозубов. До революции он был адвокат и миллионер. Он находился в этой специальной секции тюрьмы уже более года, подозреваемый в том, что принимал участие в так называемом таганцевском контрреволюционном заговоре". Это писал финский гражданин Борис Цедерхольм, посаженный на Шпалерную в начале 1924 г. Далее он продолжает: "Более двухсот

человек сидело тогда в нашей тюрьме по этому же делу, и говорили, что в Москву было отправлено даже ещё большее количество. Всех участников таганцевского дела разбирали не судебным, а административным порядком, т. е. исключительно через чека. Расследование таганцевского дела к началу 1924 г. было почти закончено, и многие из тех, кто шёл по этому делу, были переведены в общие камеры Шпалерной — на умеренный режим, как это здесь называлось. Но Редкозубов и несколько других всё ещё оставались на усиленном режиме в нашей секции тюрьмы".

Из этого можно заключить, что практически каждый, кто обвинялся по таганцевскому делу, в том числе и Гумилёв, сидели в камерах, вроде той, что мы описали выше, реконструируя подробности по воспоминаниям заключённых начала двадцатых годов. Умеренный режим в одном отношении раликально отличался от усиленного: здесь разрешали передачи. Гумилёву, по крайней мере, некоторое время передачи приносили, и администрация тюрьмы их принимала.

Ему также разрешено было написать, по крайней мере, одно письмо. Оно часто пересказывалось. Письмо адресовано было Анне Гумилёвой, на которой поэт, разведясь с Ахматовой по настоянию последней, женился в 1918 г. Г. Иванов несколько раз цитировал это письмо в своих воспоминаниях: "Не беспокойся, я здоров, пишу стихи и играю в шахматы". В другом месте Иванов цитировал это же письмо несколько иначе: "Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы. Пришли мне сахару и табаку". И. Одоевцева, говоря об этом единственном ей известном письме из тюрьмы, добавляла, что Гумилёв просил жену прислать ему Платона. В тюрьму он взял с собой Евангелие и "Одиссею". Видимо, зная, что его ждёт, он решил перед смертью перечитать "Апологию Сократа" — это пронзительно волнующее повествование Платона о том, как мужественно умирал его учитель Сократ.

Неизвестно, с кем сидел Гумилёв в камере, с кем он играл в шахматы, с кем делился сахаром и табаком. Известно нам, что на допросах он был исключительно спокоен — "так же спокоен, как когда стрелял львов, водил улан в атаку, говорил о "верности своему Государю" матросам Балтфлота".

А ночные допросы, поскольку мы знаем об обычаях на Шпалерной в начале двадцатых годов, случались один за другим. "Легко себе представить, — писал Г. Иванов, — как, незаметно для себя, Гумилёв попал в расставленную ему Якобсоном ловушку. Как незаметно в отвлечённом споре о принципах монархии, он признал себя убеждённым монархистом. Как просто было Якобсону после диспута о революции вообще установить и запротоколить признание Гумилёва, что он непримиримый враг октябрьской революции. Вернее всего, сдержанность Гумилёва не изменила бы его судьбы. Таганцевский процесс был для петербургской чека предлогом пересмотреть перед чека всероссийской свою самостоятельность и незаменимость".

Иногда заключённых приводили на допрос в кабинет начальника тюрьмы. Кожаные кресла, дорогие ковры, плюшевые шторы, мягкий свет лампы под зелёным абажуром — всё это должно было, по замыслу палачей, воздействовать на истощённые и напряжённые нервы заключённого: признайся — и ты вернешься домой, в свою домашнюю обстановку, в свой уют. Прямо здесь или в другом кабинете начиналось избиение. "Я не раз был свидетелем, — писал один заключённый Шпалерной тюрьмы, — той потрясающей жестокости, с которой следователи обращались с подследственными, в особенности с евреями. Лицо разбито в кровь, зубы выбиты рукояткой пистолета, а грязнейшие ругательства были вполне ординарными особенностями любого допроса".

Изощрённые пытки, психологические и физические, практиковались чрезвычайно широко. Главным палачом на Шпалерной был Богданов. В начале 1917 г. он дезертировал с фронта. В том же году с истинным удовольствием участвовал в разбойных уличных беспорядках в Петрограде. Вскоре, видимо, в самом начале 1918 г., ему предложили поступить в чека. Затем он работал в специальном отряде карателей, получившем право расстреливать на месте людей, заподозренных в контрреволюции. Около 1920 г. или, может быть, в первой половине 1921–го его назначили главным палачом на Шпалерной, хотя эта должность на чекистском жаргоне называлась как-то иначе. На своём посту он столь преуспел, что начальство выдвинуло его на должность начальника тюрьмы, но это случилось уже после гибели Гумилёва. В то время, когда Гумилёв сидел на Шпалерной, главным палачом там был Богданов – человек весьма недалёкий во всех отношениях, но дьявольски изобретательный в своём ремесле. Раз или два в неделю, обычно по четвергам, но бывало и в другие дни, приговорённых к смерти вели в тюремный подвал, наспех читали приговор и расстреливали. Дело своё Богданов знал и любил. На левой руке у него нехватало мизинца, и он охотно рассказывал, при каких обстоятельствах потерял его. В подвале приведенный на расстрел заключённый, у которого были связаны руки, бросился на Богданова и откусил ему палец. Историю эту Богданов рассказывал с той же гордостью, с какой иные люди говорят о ранах, полученных в бою.

Подробности сидения Гумилёва в Шпалерном ДПЗ – Доме пролетарских забав – как в шутку расшифровывали эту аббревиатуру – практически не сохранились. Известно, что в четвёртой секции, где сидели многие из обвиненных по таганцевскому делу, часто происходили самоубийства. Доведенные до отчаянья люди нередко бросались вниз головой с галереи четвертого или пятого этажа. Один из заключенных вспоминал, что за четыре с половиной месяца, проведенных им на Шпалерной, было двадцать девять случаев самоубийства, причём только в одной – четвертой – секции тюрьмы.

Некоторых заключённых возили на допрос на Гороховую. Заключённого будили среди ночи и вели по длинным коридорам в тюремный двор. Сама эта поездка бывала обставлена таким образом, что человек никогда не знал, куда его ведут. Оказавшись в тюремном дворике-колодце, окружённом тюремными корпусами, видя внезапно перед собой автомобиль и вооружённых чекистов, человек обычно думал, что его везут на расстрел или, может, вообще никуда не повезут, а включив мотор, чтобы не было слышно выстрелов, тут же расстреляют. На Гороховой некоторых заключённых принимал сам Бакаев, начальник Петрочека, которого на этой дожности в ноябре 1921 г. сменил Станислав Мессинг, также много занимавшийся допросами по таганцевскому делу. Гумилёв был взят на Гороховую за несколько дней до казни. Возможно, именно там он провёл свои последние дни. Во всяком случае передачи ему теперь носили на Гороховую. Об этом писал Николай Оцуп: "Несколько молодых поэтов и поэтесс, учеников и учениц Гумилёва, каждый день носили передачу на Гороховую. Уже по вторник передачу не приняли".

Трудно сказать, имел ли в виду Оцуп вторник 23 августа или вторник 30 августа. Датой расстрела Оцуп считал среду 24 августа, но его собственное описание сопутствующих обстоятельств противоречит этой дате. "В среду, после звонка в чека, – писал он, – молодой поэт Р. и я бросились по всем тюрьмам искать Гумилёва. Начали с Крестов, где, как оказалось, политических не держали. На Шпалерной нам удалось проникнуть во двор, мы взошли по лестнице во флигеле и спросили сквозь решётку какую-то служащую: где сейчас находится арестованный Гумилёв? Приняв нас за кого-нибудь из администрации, она

справилась в какой-то книге и ответила из-за решётки: "Ночью взят на Гороховую". Мы спустились, все больше и больше ускоряя шаг, потому что сзади уже раздавался крик: "Стой, стой, а вы кто будете?" Мы успели выйти на улицу. Вечером председатель чека сделал в закрытом заседании Петросовета доклад о расстреле заговорщиков: проф. Таганцева, Гумилёва и других".

Однако доклад этот был сделан 31 августа, и если Гумилёв был взят на Гороховую в ночь с 29-го на 30-е, то соответственно дата расстрела, принятая Оцупом, как и многими другими, не верна. Но к этой теме мы ещё вернемся. Передачи, принимаемые на Гороховой, объясняются либо тем, что чека скрывала, что Гумилёв сидел на Шпалерной, либо — что менее вероятно — он провёл на Гороховой несколько дней в двадцатых числах августа. Затем, по-видимому, в ночь на 30-е, т. е. более чем за сутки до того, как чекист Семёнов выступил с докладом на закрытом заседании петроградского губернского совета, Гумилёв был отвезён на Гороховую в камеру смертников.

В единственном письме, отправленном Гумилёвым из Шпалерной тюрьмы, сказано было, что он пишет стихи. Одно стихотворение, приписываемое Гумилёву, неоднократно печаталось. В "Антологии петербургской поэзии эпохи акмеизма" (Мюнхен, 1973) составители прибавили от себя заголовок — "Последнее стихотворение Гумилёва". Однако никто достоверно не знает, было ли оно последним, предпоследним или вовсе не принадлежит Гумилёву.

В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград.
И горит над рдяным диском
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.

Я не трушу, я спокоен,
Я моряк, поэт и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным.
Знаю — сгустком крови чёрной
За свободу я плачу.

За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
Знаю, строгий город мой,
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезёт меня домой.

Каждый, кто умеет вчитываться в стихи, признает это стихотворение весьма слабым. Гумилёв же в это время был уже подлинным мастером, ученический период остался далеко позади. В любом случае очевидно, что это стихотворение Гумилёв не включил бы в свой сборник "Посредине странствия земного", который он задумал незадолго до ареста.

КАЗНЬ

Какого же именно числа и при каких обстоятельствах был убит выдающийся поэт Николай Степанович Гумилёв? Официальная дата его смерти — 25 августа 1921 г. Логика в данном случае простая: если приговор был подписан 24-го, значит в исполнение он был приведен на следующий день. Анна Ахматова также считала датой смерти 25 августа. Николай Оцуп, поэт и друг Гумилёва, более других хлопотавший о смягчении его участи, считал, что поэт был расстрелян 24-го. Георгий Иванов, встречавшийся с Гумилёвым в последний период его жизни особенно часто, неоднократно писал, что убит он был 27-го. Биограф Гумилёва П. Лукницкий считал датой смерти 25-е. Вероятно, ему же принадлежит неподписанная статья о Гумилёве в словаре русских писателей под редакцией Б. П. Козьмина. Во всяком случае, здесь также названо 25-е, как дата расстрела. С этой датой был согласен и Сергей Маковский, знавший Гумилёва в течение восьми лет до революции, а затем в эмиграции неоднократно писавший о нём. Ту же дату приняла как непреложный факт и родственница поэта Анна Гумилёва, писавшая в своих воспоминаниях: "25 августа 1921 года трагически погиб наш талантливый поэт Николай Степанович Гумилёв. Мы узнали об этом из газет". О 25-ом августе как о роковой дате писал Леонид Страховский, знаток и большой поклонник поэзии Н. Гумилёва. Ходасевич называет другую дату — 27-е августа. Художник Юрий Анненков, хорошо знавший Гумилёва в последние его годы и также живший в это время в Петрограде, узнал о расстреле Гумилёва, как и большинство людей, из газет 1 сентября. В газетах говорилось о постановлении Петроградской губернской чека от 24 августа. Эту дату Анненков понял как указание на свершившийся факт и считал, что Гумилёв был казнён 24-го, но не расстрелян, а забит прикладами до смерти. Юрий Терапиано, много изучавший творчество и жизнь поэта и все доступные обстоятельства, сопутствовавшие его гибели, считал, что убийство произошло в ночь на 31 августа.

Об обстоятельствах убийства ходили разные слухи. Передавали, в частности, что приговоренным к смерти сообщили о казни лишь за короткое время до расстрела. В день казни им объявили, что повезут в Москву, и действительно повезли на Николаевский вокзал. Погрузили в вагоны, поезд тронулся, но вместо следования в южном направлении, свернул на восток, пересёк Неву, и тогда заключённые поняли, что их везут за Неву на Охтинский полигон, известный жителям Петрограда как место массовых расстрелов.

Когда поезд остановился и вагон открыли, многие отказались выходить. Их солдаты вытаскивали силой. Затем их заставили рыть себе могилу, выстроили в шеренгу и расстреляли, раненых добивали прикладами. Говорили и о многих иных подробностях, но люди знавшие об этих подробностях, умерли, не оставив воспоминаний. Некоторые воспоминания, вероятно, всплывут на поверхность в будущем. Например, Андрей Левинсон, работавший вместе с Гумилёвым во "Всемирной литературе", писал, что поэт был "замучен и убит". Он же писал, что Гумилёв незадолго до казни "грезил на яву об обращении за защитой к писателям всего мира", но не успел. Писатель В. И. Немирович-Данченко, лично знавший Гумилёва и эмигрировавший через несколько месяцев после его расстрела, выступил с речью перед журналистами в Берлине 12 мая 1922 г. Говорил он о положении писателей в Петрограде. Сказал он, в частности, что после гибели Гумилёва "в Петрограде ходили кошмарные подробности казни". Он же сказал, что на другой день после расстрела в Александровском театре шла пьеса Гумилёва "Гондла".

Несколько позднее Немирович-Данченко писал: "Как Гумилёв провёл канун обычной в советском раю казни? Я рисую себе застенок вшивой тюрьмы, где вместе с ним метались измученные пытками смертники. Думаю, что он оставался так же спокоен, как всегда, мечтая в последние минуты о счастливых солнечных далях. О раннем утре перед кошмаром этого содомского убийства, о тех истязаниях и муках, которым подвергали обречённых агенты чрезвычайки, передают *нечто невероятное.* Я воздерживаюсь приводить здесь слухи, тогда волновавшие Петербург. Всё равно нет тайного, что со временем не сделалось бы явным. Пусть их расскажут другие".

Тому, что над приговорённым к расстрелу было проделано *нечто невероятное,* очень легко поверить. Ибо особая садистическая изобретательность, в которой соревновались чекисты, изобретая пытки, была хорошо известна петроградцам. Приговорённых к казни в Петрограде всегда было великое множество, и чекисты изощрялись как хотели. В одном только июне 1921 г., по официальным чекистским данным, и, следовательно, неполным, в Петрограде было казнено 216 человек. При этом Петроград далеко уступал Москве, в которой в июне 1921 г. было казнено 748 человек — по тем же, прошедшим советскую цензуру, данным. Уже на третий год советской власти смертность превосходила рождаемость в шесть раз. В 1921 г. этот разрыв между числом смертей и рождений значительно увеличился. "Под *условным расстрелом* живёт теперь вся Россия", — писал Марк Вишняк. Он же цитировал недоступный нам чекистский журнал "Красный меч", № 1 от 18 августа 1919 года: "Нам *всё дозволено,* — писал автор-чекист, — ибо мы первые подняли в мире меч не ради крепощения и подавления, но во имя всеобщей свободы". Это "всё дозволено", о котором внушали рядовым чекистам все эти дзержинские, лацисы, петерсы, уншлихты, приводило к тому уровню надругательства над человечностью, который не снился ни одному жандарму в дореволюционной России.

О гибели Гумилёва передавали и другие подробности. Говорили, в частности, что в аресте и гибели Гумилёва был в известной мере повинен чекист Ф. Раскольников (впоследствии невозвращенец). Его мотивом была ревность. Он не мог забыть о давнем романе Гумилёва и Ларисы Рейснер, ставшей впоследствии его женой. Слух о том, что сама Рейснер пыталась помочь арестованному Гумилёву, не выдерживает критики. Рейснер в это время находилась в качестве коммунистического агента влияния в Афганистане, и о гибели Гумилёва узнала много позднее.

Один слух о подробностях гибели поэта дошёл через поколения до наших дней. Мне о нём написал поэт Михаил Юпп, который в свою очередь узнал об этом от ленинградского писателя Леонида Борисова, умершего несколько лет назад. Я знал Борисова, встречался с ним не раз. Память у этого человека была замечательная. Мне казалось, что в своем развитии он остановился где-то в двадцатых годах, и всё, что касалось двадцатых годов, хорошо знал и помнил. Вот этот рассказ Борисова в изложении М. Юппа: "Случилось, в одной из довоенных ленинградских распивочных познакомился я с матёрым мужланом. Время было после кировской чистки. Не то что друг друга, тени собственной боялись. А этот ко всем приставал с разговорами один жутче другого...

— Служил, значит, я в красногвардейцах... Как сейчас помню, стою это я на часах, поэта сторожу, Кольку Гумилёва — контру белую. А он, ничего... со мной, крестьянским сыном, всжливо разговаривал. А сидел этот Гумилёв в одном из казематов Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. А там, в этом бастионе, кровавый царизм люк такой хитрый соорудил, что когда вода в Неве поднимается, то люк наполняется, а когда убывает вода, то с диким урчанием

уволакивает все за собой... Вот и Кольку этого Гумилёва после приговора мы пустили в расход, а после изуродовали тело до неузнаваемости и в этот люк..."

"Я не знаю подробностей его убийства, – писал Алексей Толстой, ещё тогда не перекинувшийся на сторону палачей, – но зная Гумилёва, знаю, что стоя у стены он не подарил палачам даже взгляда смятения и страха". И это было общее мнение всех, кто лично знал Гумилёва. "Не сомневаюсь, что умер он с тем же достоинством, – писал Г. Адамович, – с тем же мужеством и с той же простой, крепкой верой, которой проникнута его поэзия". Георгий Иванов в своих воспоминаниях передавал слова С. Боброва, "футуриста и кокаиниста, близкого к ВЧК". Этот Бобров незадолго до смерти Гумилёва пытался сорвать его выступление в Москве. После смерти поэта, встретив его ближайшего друга Михаила Лозинского, Бобров сказал ему, "дёргаясь своей скверной мордочкой эстета-преступника":

– Да... Этот ваш Гумилёв... Нам это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу. Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвёл впечатление. Пустое молодечество, но всё-таки крепкий тип. Мало кто так умирает".

"Эту жуткую болтовню, – продолжает Г. Иванов, – дополняет рассказ о том, как себя держал Гумилёв на допросах, слышанных лично мною уже не от получекиста, как Бобров, а от чекиста подлинного... Дзержибашева... Дзержибашев говорил о Гумилёве с неподдельной печалью, его расстрел он назвал "кровавым недоразумением"... Впрочем, Дзержибашев был человек загадочный. Возможно, что должность следователя была маской. Тогда объясняется и необъяснимая симпатия, которую он внушал, и его неожиданный "индивидуальный" расстрел в 1924 году".

Панихида по Гумилёву, по словам Ходасевича, отслужена была в Казанском соборе; по словам Одоевцевой – "в часовне на Невском". Людей собралось мало. Страх сковал город. Расстрелы продолжались. Дата панихиды осталась неизвестной, ясно только, что отслужена она была после 1 сентября, когда на петроградских улицах были расклеены газеты со списком расстрелянных. Фамилия Гумилёва стояла на тридцатом месте.

Вадим КРЕЙД

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ "СОВЕТСКАЯ РОССИЯ"

В феврале 1970 года в газете "Вечерняя Москва" появился фельетон обо мне, в котором я обвинялся в многоженстве, в пропаганде идеологически чуждого искусства и, конечно, в антисоветской деятельности. Тот давний фельетон назывался "Человек с двойным дном"... А вот как заканчивается вновь повященный мне фельетон, опубликованный в газете "Советская Россия" 31 августа сего года: "...Мы готовы к плодотворному сотрудничеству с теми нашими соотечественниками на Западе, кто искренне выступает за развитие дружеских контактов, культурных и иных связей в поддержку перестройки. И право же, этому процессу не смогут помешать разного рода миссионеры "с двойным дном", прикрывающие громкими фразами о перестройке свои темные дела".

Фамилия автора очередного клеветнического опуса обо мне – Семенюк. Словосочетание "двойное дно" он не даром заковычил (ярлык-то чужой), а вот судя по тексту фельетона, с моим прошлым, с моей эмигрантской и доэмигрантской биографиями господин Семенюк ознакомился самолично и лишь потом принялся фантазировать на эту тему. Вот он представляет меня читателям "Советской России": "Зовут респектабельного господина Александр Глезер, в прошлом гражданин СССР, с некоторых пор – лицо без гражданства. Главный редактор издающегося в Париже литературного альманаха "Стрелец", владелец эмигрантского издательства "Третья волна", двух картинных галерей (Музеев современного русского искусства – А.Г.) во Франции и США. А с ноября 1988 года – президент Международной ассоциации интеллигенции в поддержку перестройки и гласности".

И тут же, после этакого перечисления моего послужного, что-ли, списка следует иронический пассаж:"Тернистым был путь А.Глезера к нынешнему президенству. Еще в шестидесятые годы, стремясь сделать себе имя, Глезер начинает коллекционировать произведения художников-авангардистов, создает в своей квартире "музей", который посещают в основном иностранные дипломаты и корреспонденты. В 1975 году выезжает на постоянное жительство за рубеж. При этом вывозит с собой около двухсот картин и на этой "базе" с помощью соответствующих французских "спонсоров", подобравших ему помещение в Монжероне, закладывает "Музей современного русского искусства"...

Постойте, постойте, господин Семенюк, очень уж легко у вас получается: делал себе имя, уехал, открыл музей под Парижем, стал владельцем эмигрантского издательства и т.д. ...

Что значит стал владельцем – перекупил, что-ли, захватил издательство? Вы же знаете, что это издательство я и основал. А что значит – собирал картины, чтобы сделать себе имя, потом взял да и уехал с картинами из СССР? Вы же знаете, что в Москве у меня был в квартире музей русского неофициального искусства, вам известно, что я был одним из организаторов печально знаменитой "бульдозерной" выставки 1974 года в Москве, что вскоре после нее меня арестовали гебисты и, практически насильственно, выкинули из страны. Зачем же вводить в заблуждение читателей газеты?

Собственно говоря, обвиняете вы меня в двух вещах и могли бы обойтись клеветой в не столь широких масштабах. Впрочем, перейдем к фактам. В январе нынешнего года, после четырнадцатилетнего изгнания, я три недели пробыл в Москве. Вы, господин Семенюк, правильно излагаете, что я побывал и в советском Фонде культуры, и в "Огоньке", и в "Юности", и в журналах "Наше наследие" и "Искусство"... Но, перескакивая затем в Париж, вы снова начинаете выдумывать. Зачем-то пишете о каких-то таинственных, зловредных спонсорах, которые помогли мне открыть Музей современного русского искусства в Монжероне, хотя, видимо, знаете, что никаких таинственных спонсоров не было, а была русская эмигрантская ассоциация "Фонд помощи", которая предоставила для музея место в принадлежавшем ей Монжеронском замке, а уж оборудовал я там почти все за свой счет, с помощью друзей. Но вернемся в Москву. Итак,будучи там, я, что вполне естественно, побывал у моих друзей-художников. У трех из них я приобрел шесть картин, Владимир Немухин подарил мне один свой рисунок, еще восемнадцать графических работ передал в дар парижскому Музею современного русского искусства московский поэт Владимир Алейников.

Зная, что за вывоз картин из СССР нужно платить пошлину, я обратился в художественный салон гостиницы "Националь" (в этой гостинице я жил) с вопросом :"Где можно оформить приобретенные и подаренные мне работы на вывоз?". Мне было отвечено: "У нас или в министерстве культуры". Министерство культуры занималось этим только по вторникам, и мне, естественно, было проще решить все эти вопросы по месту жительства. Я передал в салон названия картин и фамилии художников, показал сами работы.

В конце концов, мне пришлось заплатить пошлину не только за картины, которые я купил, но и за графику, которая мне была подарена. Сертификаты на каждую работу были готовы, к сожалению, только минут за двадцать до отъезда в аэропорт. Среди 18-ти гуашей, подаренных мне, было 14 работ Владимира Яковлева и 4 Анатолия Зверева. Лишь уже на таможне Шереметьева 2, открыв работы и передав сертификаты, дежурившей там представительнице министерства культуры, я с удивлением услышал от нее: "Странные сертификаты – это же Зверев, а не Яковлев". Действительно, странные, но при чем тут я? Оформлял-то сертификаты советский работник, так что все претензии к нему.

Интересно, что таможня задержала не только четыре работы Зверева, но и все остальные, за которые мною было уплачено и в советских рублях, и валютой. Я обратился к представителю министерства культуры, сказав: "Вы говорите, что сертификаты составлены неправильно. Но не все же?! И вообще – меня провожают дочь и друзья. Предположим, эти картины нельзя вывозить из-за плохого оформления документов. Но все-таки эти работы принадлежат мне. Поэтому передайте их провожающим меня. Когда я приеду в Москву снова, то пойду в министерство культуры и оформлю все еще раз.

Однако все мои просьбы и требования были отклонены. Единственно, мне обещали изучить дело, а потом вернуть работы моей дочери. "Пришлите ей доверенность, заверенную в советском консульстве в Париже", – сказал мне на прощанье начальник таможни. Я так и сделал, но картины моей дочери не передали, а один из руководителей шереметьевской таможни, Ванин Михаил Валентинович, которому я несколько раз звонил из Парижа, неизменно повторял: "Дело еще разбирается, дело еще разбирается..." И лишь в конце июня я получил письмо от заместителя начальника Главного управления государственного контроля СССР В.К.Скрипника, в котором до моего сведения доводилось, что все изъятые у меня картины "конфискованы таможней как предметы контрабанды". В.К.Скрипник информировал меня также о том, что при несогласии с решением таможни я могу обратиться в суд, что, кстати, я и собираюсь сделать.

Второе обвинение автора фельетона и вовсе удивительное. Ему, понимаете ли, непонятно, что из себя представляет созданная недавно мною Международная ассоциация интеллигенции в поддержку перестройки и гласности и кто в нее входит. На всякий случай, чтобы очернить ассоциацию, господин Семенюк почему-то сообщает, что в Ассоциацию не входят профессора-слависты Жорж Нива и Ренэ Герра. Они и действительно не входят в Ассоциацию, , и я нигде не писал, что входят. Правда, Ренэ Герра входит в редколлегию моего альманаха "Стрелец", но это не имеет к Ассоциации никакого отношения. Зато в Ассоциацию входят многие русские художники, писатели, поэты, по обе стороны государственной границы СССР – Андрей Вознесенский, Вячеслав Калинин, Борис Мессерер, Юрий Мамлеев, Юрий Купер, Борис Тираспольский, Михаил Крепс и многие другие. Если же господина Семенюка особенно беспокоят слависты, то, пожалуйста, есть в Ассоциации известный американский славист профессор Присцилла Майер, недавно, кстати, побывшая в Москве. К слову сказать, коль М.Семенюк или редакция газеты "Советская Россия" пожелают, то я могу прислать (дабы удовлетворить их любопытство) полный список всех членов Ассоциации с указанием профессии и места жительства каждого.

Хотелось бы мне отметить и такой момент сочинения М.Семенюка. Он пишет: "Прошлой осенью, после консультации, с так называемым "Толстовским фондом", Глезер объявляет о создании международной ассоциации..." Слышал фельетонист

звон, да не знает, откуда он. Прошлой осенью я брал интервью у советской писательницы Татьяны Толстой (интервью опубликовано в альманахе "Стрелец" №1 за 1989 год). Во время нашего разговора у меня неожиданно и возникла мысль о необходимости поддержки интеллигенцией процессов гласности и перестройки, о чем, кстати, я Татьяне Толстой и сказал. Под пером фельетониста Семенюка, писательница-москвичка Татьяна Толстая превратилась в "Толстовский фонд". Смешно и противно...

В заключение, я хотел бы только сказать, что как раз сейчас в парижском Музее современного русского искусства проходит Международная выставка антиспид, которую организовала Международная ассоциация интеллигенции в поддержку гласности и перестройки. Все деньги от проданных на выставке работ, будут перечислены на благотворительный валютный счет "Антиспид" при журнале "Огонек".

Это к вопросу, чем занимается Ассоциация.

Александр Глезер

Париж, 23 сентября 1989

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Игорь Холин
Барачные стихи 5

Борис Фальков
Уроки патанатомии. Повесть 9

Леонид Эпштейн
«Не здесь ты любил, тосковал, пировал... 90

Сергей Юрьенен
Жена нападающего. Рассказ 97

Марина Темкина
Новые стихи 112

Валерия Нарбикова
Видимость нас. Повесть 119

Петр Вегин
«Язык, спаси свой народ...» Стихи 136

Эдвин Минке
Короткие рассказы 143

Илья Кутик
Четыре стихотворения 149

Михаил Лемхин
Замок. Повесть 155

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. Браиловский
«...А ведь и я когда-нибудь умру» 195

Александр Ткаченко
Зимний сад Вадима Крейда 198

Александр Златкин
Добрая весть 201

И. Служевская
Между двух Ерофеевых 207

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Михаил Андреенко
Нераскрытое дело. Рассказ 210

ВОСПОМИНАНИЯ

Майя Муравник
«Миги». Из книги воспоминаний 223

ЭССЕ

Михаил Эпштейн
Ленин - Сталин 238

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Беседа с художником Владимиром Янкилевским. «Ушедший период представляется очень чистым и уникальным». 258
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Дмитрий Краснопевцев
Из записок художника 272
ПАМЯТЬ
Вадим Крейд
Загадка смерти Гумилева 282
ПРИЛОЖЕНИЕ
Александр Глезер
Открытое письмо в редакцию газеты «Советская Россия» 314



С 14 сентября по 21 октября в Парижском Музее современного русского искусства проходила Международная выставка «АнтиСПИД». Эта экспозиция была организована Международной ассоциацией в поддержку перестройки и гласности, в ответ на призыв журнала «Огонек». На ней было представлено сорок семь работ (картины, акварели, гуаши, рисунки) тридцати пяти живописцев и графиков — французов, испанцев, итальянцев, но, конечно, прежде всего и больше всего, русских. Десять работ передал выставке парижский Музей современного русского искусства, восемь — автор этих строк, несколько работ — коллекционеры Мари-Терез Кошен и Вадим Нечаев. Все остальные произведения организаторы выставки получили непосредственно от художников, в том числе от москвича Вячеслава Калинина, нью-йоркца Сергея Голлербаха, парижан Бориса Заборова, Юрия Жарких, Владимира Титова, Олега Лягачева и других.

Все деньги, полученные от этой выставки, за вычетом небольших расходов на нее, будут перечислены на благотворительный валютный счет «АнтиСПИД», открытый журналом «Огонек» во Внешторгбанке СССР.

А. Г.